

В И К Т О Р

Ш Е Л Е В И Н

Ж Е Л Т А Я
С Т Р Е Л А

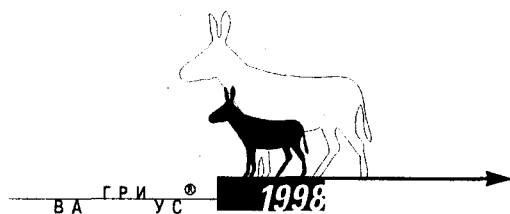
ВУКТОР ПЕЛЕВУН - САМЫИ:
ТЪМЪГЕХ: ОМОН РА: 9LXMBRM:
ЖУЗНЬ НАКЕКОМЫХ: ТЪСРН: Т
МЪСЛ: ЧАПАЕВ И ПУКТОТА: С
МЪС: ВСТАВУТ: УМ: СМТ: КРУТО:
МЪСХ: И НАВСЕГДА: МЪСМЪ



МЪ: РЕМ: НРМА

В И К Т О Р П Е Л Е В И Н

ЖЕЛТАЯ СТРЕЛА



*Охраняется законом РФ об авторском праве.
Воспроизведение всей книги или любой ее части
запрещается без письменного разрешения издателя.
Любые попытки нарушения закона будут
преследоваться в судебном порядке.*

ISBN 5-7027-0568-8

© Издательство «ВАГРИУС», 1998

© В.Пелевин, автор, 1998

© В.Яковлев, дизайн, 1998

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

Желтая стрела

9

Затворник и Шестипалый

57

Принц Госплана

96

РАССКАЗЫ

Хрустальный мир

147

Вести из Непала

171

Проблема верволка в Средней полосе

190

Онтология детства

222

Происхождение видов

233

Синий фонарь

247

Мардонги

259

Бубен верхнего мира

265

Ухряб

280

Иван Кублаханов

292

Оружие возмездия

302

Девятый сон Веры Павловны

314

Зигмунд в кафе

335

Спи

342

Ника

360

Реконструктор

374

Встроенный напоминатель

381

День бульдозериста

385

Тарзанка

414

ПОВЕСТИ

ЖЕЛТАЯ СТРЕЛА

12

Андрея разбудил обычный утренний шум — бодрые разговоры в туалетной очереди, уже заполнившей коридор, отчаянный детский плач за тонкой стенкой и близкий храп. Несколько минут он пытался бороться с наступающим днем, но тут заработало радио. Заиграла музыка — ее, казалось, переливали в эфир из какой-то огромной общепитовской кастрюли.

— Самое главное, — сказал невидимый динамик совсем рядом с головой, — это то, с каким настроением вы входите в новое утро. Пусть ваш сегодняшний день будет легким, радостным и пронизанным лучами солнечного света — этого вам желает популярная эстонская певица Гуна Тамас.

Андрей свесил ноги на пол и нащупал свои ботинки. На соседнем диване похрапывал Петр Сергеевич — судя по энергичным рывкам его спины и зада, прикрытого простыней с треугольными синими штампами, он собирался провести в объятиях Морфея еще не меньше часа. Было видно, что Петру Сергеевичу нипочем ни утренний привет Гуны Тамас, ни коридорные голоса, но другим его воздушная кольчуга помочь не могла, и новый день для Андрея бесповоротно начался.

Одевшись и выпив полстакана холодного чая, он сдернул с крючка полотенце с вышитым двухголовым петухом, взял пакет с туалетными принадлежностями и вышел в коридор. Последним в туалетной очереди стоял бородатый горец по имени Авель — на его большом круглом лице отчего-то не было обычного благодушия, и даже зубная щетка, торчавшая из его кулака, казалась коротким кинжалом.

— Я за тобой, — сказал Андрей, — а пока покурить схожу, ладно?

— Не переживай, — мрачно сказал Апель.

Когда за Андреем защелкнулась тяжелая дверь с глубоко вцарапанной надписью «Локомотив — чемпион» и небольшим заплеванным окошком, он вспомнил, что сигареты у него кончились еще вчера. К счастью, сразу за дверью сидел наперсточник, вокруг которого стояло несколько человек. Андрей стрельнул штуку «дорожных» у одного из зрителей и встал рядом.

Наперсточник был старым и морщинистым, похожим на умирающую обезьяну, и пустая пивная банка для милостыни пошла бы ему куда больше, чем три коричневых стаканчика из пластмассы, которые он медленно водил по куску картона. Впрочем, это мог быть патриарх и учитель — ассистенты у него были очень внушительные и крупногабаритные. Их было двое, в одинаковых рыжих куртках, сшитых китайскими политзаключенными из на редкость паршивой кожи; они довольно правдоподобно ссорились, пихали друг друга в грудь и по очереди выигрывали у наставника новенькие пятитысячные бумажки, которые тот подавал им молча и не поднимая глаз.

Андрей отошел в сторону и прислонился к стене у окна. Радио угадало — день был и правда солнечный. Косые желтые лучи иногда касались приподнимающейся лысины наперсточника, клочковатые остатки седых волос на его голове на миг превращались в сияющий нимб, и его манипуляции над листом картона начинали казаться священнодействием какой-то забытой религии.

— Эй, — сказал один из ассистентов, поднимая голову, — ты чего дымишь? Тут и так воздух спертый.

Андрей не ответил. Можно письмо в газету написать, подумал он, — мол, братья и сестры, слышал я, у нас и воздух сперли.

— Глухой? — окончательно выпрямляясь, повторил ассистент. Андрей опять промолчал. Ассистент был не прав по всем понятиям — территория здесь была чужая.

— Кручу, верчу, много выиграть хочу, — вдруг прокрипел наперсточник.

Видимо, это был условный знак — ассистент все по-

нял, дернул головой и сразу же вернулся к прерванной перебранке с напарником. Андрей последний раз затянулся и кинул окурок им под ноги.

Очередь как раз подошла. Авель куда-то исчез, и перед Андреем осталась только женщина с грудным ребенком на руках. Против ожиданий они управились очень быстро.

Закрыв за собой дверь, Андрей включил воду, поглядел на свое лицо в зеркале и подумал, что за последние лет пять оно не то что повзросло или постарело, а, скорее, потеряло актуальность, как потеряли ее расклешенные штаны, трансцендентальная медитация и группа «Fleetwood Mac». Последнее время в ходу были совсем другие лица, в духе предвоенных тридцатых, из чего напрашивалось множество далеко идущих выводов. Предоставив этим выводам идти туда в одиночестве, Андрей почистил зубы, быстро умылся и пошел к себе.

Петр Сергеевич уже проснулся и сидел у стола, почесываясь и перелистывая старый номер «Пути», который Андрей выменял вчера у цыгана на банку пива, но так и не стал читать.

— С добрым утром, Андрей! — сказал Петр Сергеевич и ткнул пальцем в газету. — Вот пишут: существование снежного человека можно считать документально доказанным.

— С добрым утром, Петр Сергеевич, — сказал Андрей. — Ерунда это. Вы сегодня опять всю ночь храпели.

— Врешь. Правда, что ли?

— Правда.

— А ты свистел?

— Свистел, свистел, — ответил Андрей. — Еще как. Только без толку. Вы когда на спину переворачиваетесь, сразу начинаете храпеть, и потом уже все бесполезно. Лучше б вы себя привязывали, чтобы на боку лежать все время. Помните, как вы в прошлом году делали?

— Помню, — сказал Петр Сергеевич. — Я тогда моложе был. Сейчас мне так не уснуть. Ой, беда какая. Это все нервы у меня. Я ведь раньше, Андрюша, до реформ этих ебанных, никогда не храпел. Ну ничего, придумаем что-нибудь.

— Чего еще пишут? — кивая на газету, спросил Андрей. Пока Петр Сергеевич не начал вспоминать о том, что было до реформ, его мыслям надо было дать какое-нибудь направление.

Водя пальцем по зеленоватому листу и однообразно матерясь, Петр Сергеевич принялся пересказывать передовую статью, а Андрей, кивая и переспрашивая, стал обдумывать свои планы на день. Сперва предстояло идти завтракать, а потом надо было зайти к Хану — к нему имелось какое-то смутное дело.

11

В ресторане, длинном и узком помещении с десятком неудобных столиков, было еще пусто, но уже пахло горелым, причем казалось, что сгорело что-то тухлое. Андрей сел на свое обычное место у окна, спиной к кассе, и, шуря от солнца, поглядел в меню. Там были только пшенка, чай и «коньяк азербайджанский». Андрей поймал взгляд официанта и утвердительно кивнул. Официант показал пальцами что-то маленькое, граммов на сто, и вопросительно улынулся. Андрей отрицательно помотал головой.

Горячий солнечный свет падал на скатерть, покрытую липкими пятнами и крошками, и Андрей вдруг подумал, что для миллионов лучей это настоящая трагедия — начать свой путь на поверхности солнца, пронестись сквозь бесконечную пустоту космоса, пробить многокилометровое небо — и все только для того, чтобы угаснуть на отвратительных останках вчерашнего супа. А ведь вполне могло быть, что эти косо падающие из окна желтые стрелы обладали сознанием, надеждой на лучшее и пониманием беспочвенности этой надежды — то есть, как и человек, имели в своем распоряжении все необходимые для страдания ингредиенты.

«Может быть, я и сам кажусь кому-то такой же точно желтой стрелой, упавшей на скатерть. А жизнь — это просто грязное стекло, сквозь которое я лечу. И вот я падаю, падаю, уже черт знает сколько лет падаю на стол перед тарелкой, а кто-то глядит в меню и ждет завтрака...»

Андрей поднял глаза на телевизор в углу и увидел какое-то примелькавшееся лицо, беззвучно открывающее рот перед тремя коричневыми микрофонами. Потом камера повернулась и показала двух человек, которые яростно толкались у другого микрофона, с бесстыдным русским фрейдизмом хватая друг друга за одинаковые рыжие галстуки.

Подошел официант и поставил на стол завтрак. Андрей посмотрел в алюминиевую миску. Там была пшенка и растаявший кусок масла, похожий на маленькое солнце. Есть совершенно не хотелось, но Андрей напомнил себе, что следующий раз попадет сюда в лучшем случае вечером, и стал стоически глотать теплую кашу.

Появились первые посетители, и ресторан стал постепенно заполняться их голосами — у Андрея было такое ощущение, что на самом деле тишина оставалась ненарушенной, просто помимо нее появилось несколько притягивающих внимание раздражителей. Тишина была похожа на пшенку в его миске — она была такой же густой и вязкой; она деформировала голоса, которые звучали на ее фоне отрывисто и истерично. За соседним столом громко говорили о снежном человеке, которого будто бы видела вчера какая-то сумасшедшая старуха. Андрей сначала прислушивался к разговору, а потом перестал.

Напротив него уселся румяный седой мужчина в строгом черном кителе с небольшими серебряными крестиками на лацканах.

— Приятного аппетита, — сказал он, улыбнувшись.

— Да бросьте вы, — сказал Андрей.

— Что это вы такой мрачный? — удивленно спросил сосед.

— А вы чего такой веселый?

— Я не весел, — ответил сосед, — я радостен.

— Ну и я тоже, — сказал Андрей, — не мрачен, а задумчив. Сажу и размышляю.

Доев кашу, он придвинул к себе стакан с чаем и принялся размешивать в нем сахар. Сосед продолжал улыбаться. Андрей подумал, что сейчас он опять заговорит, и стал крутить ложечкой быстрее.

— Думать, а иногда и размышлять, — сказал сосед,

сделав дирижирующее движение рукой, — разумеется, полезно и в жизни весьма часто необходимо. Но все зависит от того, откуда этот процесс берет, так сказать, свое начало.

— А что, — спросил Андрей, — есть разные места?

— Вы сейчас иронизируете, а они между тем действительно есть. Бывает, что человек пытается сам решить какую-то проблему, хотя она решена уже тысячи лет назад. А он просто об этом не знает. Или не понимает, что это именно его проблема.

Андрей допил чай.

— А может, — сказал он, — это действительно не его проблема.

— У всех нас на самом деле одна и та же проблема. Признать это мешает только гордость и глупость. Человек, даже очень хороший, всегда слаб, если он один. Он нуждается в опоре, в чем-то таком, что сделает его существование осмысленным. Ему нужно увидеть отблеск высшей гармонии во всем, что он делает. В том, что он изо дня в день видит вокруг.

Он ткнул пальцем в окно. Андрей поглядел туда и увидел лес, далеко за которым, у самого горизонта, поднимались в небо три огромных, коричневых от ржавчины трубы какой-то электростанции или завода — они были такими широкими, что больше походили на гигантские стаканы. Андрей засмеялся.

— Чего это вы? — спросил сосед.

— Знаете, — сказал Андрей, — я себе сейчас представил такого огромного пьяного мужика с гармошкой, до неба ростом, но совсем тупого и зыбкого. Он на этой своей гармошке играет и поет какую-то дурную песню, уже долго-долго. А гармошка вся засаленная и блестит. И когда внизу это замечают, это называется отблеском высшей гармонии.

Сосед чуть поморщился.

— Все это, знаете, не ново, — сказал он. — Иерархия демиургов, несовершенный уродливый мир и так далее, если вас интересует историческая параллель. Гностицизм, одним словом. Но ведь счастливым он вас никогда не делает, понимаете?

— Еще бы, — сказал Андрей, — слово-то какое страшное. А что меня сделает счастливым?

— К счастью путь только один, — веско сказал сосед и ковырнул вилкой в миске, — найти во всем этом смысл и красоту и подчиниться великому замыслу. Только потом по-настоящему начинается жизнь.

Андрей хотел было спросить, чьему именно замыслу надо подчиниться и какому из замыслов, но подумал, что в ответ на этот вопрос собеседник обязательно всучит ему какую-нибудь брошюру, и промолчал.

— Может, вы и правы, — сказал он, вставая из-за стола, — спасибо за беседу. Извините, у меня просто с утра настроение плохое. Вы, я вижу, очень образованный человек.

— Так у меня работа такая, — сказал сосед. — Спасибо вам. А вот это возьмите на память.

Сосед протянул ему маленький цветной буклет, на обложке которого было нарисовано неправдоподобно розовое ухо, в которое влетала сияющая — видимо, с отблеском высшей гармонии — металлическая нота с двумя крылышками, примерно двенадцатого калибра. Поблагодарив, Андрей сунул буклет в карман и пошел к выходу.

Торопиться было некуда, но все равно он шел быстро, время от времени с извинениями задевая кого-нибудь из множества людей, бродивших, как и всегда в это время дня, по узким коридорам. Они глядели в окна, улыбались, и на их лицах дрожали пятна солнечного света. Отчего-то было необычно много молодых, но уже растолстевших женщин в турецких спортивных костюмах — вокруг них крутились молчаливые дети, занятые бессистемным изучением окружающего мира. Иногда рядом появлялись мужья в майках навыпуск; у многих в руках было пиво.

Андрей чувствовал, что наступивший день уже взял его в оборот и принуждает думать о множестве вещей, которые его совершенно не интересуют. Но сделать ничего было нельзя — голоса и звуки из окружающего пространства беспрепятственно проникали в голову и начинали перекатываться внутри, как шарики в лотерейном барабане, становясь на время его собственными мыслями. Сначала

все заполняли несущиеся из невидимых динамиков inferнальные частушки, потом пришлось думать о какой-то Надежде, к которой придут после отбоя, потом стали передавать прогноз погоды, и Андрей начал коситься в проплывающие мимо окна, за которыми должен был усиливаться южный ветер. Несколько раз он обходил кучки людей, склонившихся перед походным алтарем очередного наперсточника, — больше всего поражало то, что все наперсточники и их ассистенты были очень похожи друг на друга и даже изъяснялись с одним и тем же южным выговором, словно это была особая народность, где с детства изучали искусство прятать под грязным ногтем большого пальца поролоновый шарик и передвигать по картонке три перевернутых стакана. Прошло еще несколько минут, и Андрей наконец остановился у двери из желтоватого пластика с цифрой «XV» и царапиной, похожей на обращенную вверх стрелу.

Хан был один — он сидел за столом, прихлебывал чай и глядел в окно. На нем, как обычно, был черный тренировочный костюм с надписью «Angels of California», который всегда вызывал у Андрея легкие сомнения по поводу калифорнийских ангелов. Еще Андрей заметил, что Хан давно не брился и стал похож на Тосиро Мифунэ, входящего в очередной образ, — похож тем более, что из-за примеси монголоидной крови глаза у него были такими же раскосыми.

— Привет, — сказал Андрей.

— Привет. Закрой дверь.

— А если соседи вернутся?

— Не вернутся, — сказал Хан.

Андрей закрыл дверь, и никелированный замок громко шелкнул. У него мелькнуло какое-то нехорошее предчувствие — шелчок замка напоминал звук передергиваемого затвора. Потом собственный страх показался ему смешным.

— Садись, — сказал Хан, кивая на место напротив.

Андрей сел.

— Что нового? — спросил Хан.

— Так, — сказал Андрей. — Ничего. Ты когда-нибудь думал, куда делись последние пять лет?

— Почему именно пять?

— Цифра не имеет значения, — сказал Андрей. — Я говорю «пять», потому что лично я помню себя пять лет назад точно таким же, как сейчас. Так же шатался тут повсюду, глядел по сторонам, думал то же самое. А ведь еще пять лет пройдут, и то же самое будет, понимаешь?.. Чего ты на меня так смотришь странно?

— Эй, — сказал Хан, — приди в себя.

— Да я вроде в себе.

Хан покачал головой.

— Скажи-ка мне быстро, — проговорил он, — что такое желтая стрела?

Андрей удивленно поднял глаза.

— Вот странно, — сказал он. — Я сегодня в ресторане как раз думал о желтых стрелах. Точнее, не о желтых стрелах, а так. О жизни. Знаешь, там скатерть была грязная, и на нее свет падал. Я подумал...

— Ну-ка встань.

— Зачем?

— Встань, встань, — повторил Хан и вылез из-за стола.

Андрей поднялся на ноги, и Хан довольно грубо схватил его за воротник и несколько раз тряхнул.

— Вспомни, — сказал он, — почему ты сюда пришел?

— Убери руки, — сказал Андрей, — что ты, одурел? Я просто так зашел.

— Где мы находимся? Что ты сейчас слышишь?

Андрей отодрал его руки от своей куртки, недоуменно наморщился и вдруг понял, что слышит ритмично повторяющийся стук стали о сталь, стук, который и до этого раздавался все время, но не доходил до сознания.

— Что такое желтая стрела? — повторил Хан. — Где мы?

Он развернул Андрея к окну, и тот увидел кроны деревьев, бешено пронесшиеся мимо стекла слева направо.

— Ну?

— Подожди, — сказал Андрей, — подожди.

Он схватился руками за голову и сел на диван.

— Я вспомнил, — сказал он. — «Желтая стрела» — это поезд, который идет к разрушенному мосту. Поезд, в котором мы едем.

— Ты сейчас помнишь, что с тобой было? — спросил Хан.

— Уже плохо, — сказал Андрей. — Только в общих чертах. Вроде ничего особенного и не произошло. Как меня зовут, я знал, из какого я купе — тоже. Но это как будто был совсем не я. Я себя очень странно чувствовал — словно есть разница, в каком вагоне ехать. Словно у всего происходящего появилось бы больше смысла, если бы скатерть в ресторане была чистой. Или если бы по телевизору показывали другие хари, понимаешь?

— Можешь не объяснять, — сказал Хан. — Ты просто стал на время пассажиром.

Андрей отвернулся от окна и поглядел на стену тамбура, где была панель с двумя пыльными циферблатами и надписью «проверять каждые...» (далее был пропуск).

— Я и сейчас пассажир, — сказал он. — И ты тоже.

— Нормальный пассажир, — сказал Хан, — никогда не рассматривает себя в качестве пассажира. Поэтому, если ты это знаешь, ты уже не пассажир. Им никогда не придет в голову, что с этого поезда можно сойти. Для них ничего, кроме поезда, просто нет.

— Для нас тоже нет ничего, кроме поезда, — мрачно сказал Андрей. — Если, конечно, не обманывать самих себя.

Хан усмехнулся.

— Не обманывать самих себя, — медленно повторил он. — Если мы не будем обманывать самих себя, нас немедленно обманут другие. И вообще, сумеешь обмануть то, что ты называешь «самим собой», — очень большое достижение, потому что обычно бывает наоборот — это оно нас обманывает. А есть ли что-нибудь другое, кроме нашего поезда, или нет, совершенно не важно. Важно то, что можно жить так, как будто это другое есть. Как будто с поезда действительно можно сойти. В этом вся разница. Но если ты попытаешься объяснить эту разницу кому-нибудь из пассажиров, тебя вряд ли поймут.

— Ты что, пробовал? — спросил Андрей.

— Пробовал. Они не понимают даже того, что едут в поезде.

— Какой-то бред получается, — сказал Андрей. — Пассажиры не понимают того, что едут в поезде. Услышал бы тебя кто-нибудь.

— Но ведь они и правда этого не понимают. Как они могут понять то, что и так отлично знают? Они даже стук колес перестали слышать.

— Да, — сказал Андрей, — это точно. Это я на себе почувствовал. Я, когда в ресторан зашел, еще подумал — как тихо, когда нет никого.

— Вот именно. Тихо-тихо. Даже слышно, как ложечка в стакане звенит. Запомни, когда человек перестает слышать стук колес и согласен ехать дальше, он становится пассажиром.

— Нас никто не спрашивает, — сказал Андрей, — согласны мы или нет. Мы даже не помним, как мы сюда попали. Мы просто едем, и все. Ничего не остается.

— Остается самое сложное в жизни. Ехать в поезде и не быть его пассажиром, — сказал Хан.

Дверь в тамбур распахнулась, и вошел проводник. Андрей узнал своего соседа по столику в ресторане — только теперь он был в фуражке, а его китель с петлицами, на которых серебрились какие-то скрещенные молотки или разводные ключи, был расстегнут на выпуклом животе, и виднелась вязаная малиновая жилетка, надетая поверх форменной черной рубахи. Он рассеянно крутил вокруг ладони веревку с символом своей должности — ключом, маленьким никелированным цилиндром с крестообразной ручкой, который использовался в качестве кастета при общении с пьяными пассажирами или для открывания бутылок. Проводник тоже узнал Андрея, широко улыбнулся и приложил три сложенных шепотью пальца к козырьку.

— Чего это он скалится? — спросил Хан, когда проводник скрылся в вагоне.

— Так. За столом разговорились. А что делать, если это опять случится?

— Что? — спросил Хан. — Ты про проводника?

— Нет. Если я опять стану пассажиром.

— Надо просто перестать им быть, и все. Это со всеми нами иногда бывает.

— Что значит — со всеми нами? Нас что, здесь много?

— Я думаю, да, — сказал Хан. — Должно быть много, только мы друг друга не знаем. Раньше точно было много.

— Скажи, а от кого ты про все это первый раз узнал?

— Не знаю, — сказал Хан, — я их не видел.

— Как это? Как ты мог что-то узнать от тех, кого ты не видел?

— А вот так, — сказал Хан, и Андрей понял, что тот не собирается дальше развивать эту тему.

— Ну а где они сейчас? — спросил он.

— Я думаю, что они там, — сказал Хан и кивнул за окно, где плыло бесконечное поле, заросшее травой, по которой, как по воде, шли волны от ветра.

— Они умерли?

— Они сошли. Однажды ночью, когда поезд остановился, они открыли дверь и сошли.

— По-моему, ты что-то путаешь, — сказал Андрей. — «Желтая стрела» не останавливается никогда. Это все знают.

— Послушай, — сказал Хан, — опомнись. Пассажиры не знают, как называется поезд, в котором они едут. Они даже не знают, что они пассажиры. Что они вообще могут знать?

9

Как только Андрей открыл дверь, он понял, что в его вагоне что-то произошло. У входа в одно купе стояло несколько человек в темных костюмах; плакала пожилая женщина в черной шали. Радио не работало, зато из купе, где жил Абель, неслась тягостная музыка: играл маленький магнитофон. Андрей вошел к себе.

— Что случилось? — спросил он Петра Сергеевича.

— Соскин умер, — сказал Петр Сергеевич, откладывая книгу. — Сейчас похороны.

— Когда это?

— Вчера ночью. К Авелю теперь очередника поделяют.

— Вот он чего такой мрачный был, — сказал Андрей и посмотрел на книгу, которую читал Петр Сергеевич. Это был Пастернак, «На ранних поездах».

— Да, — сказал Петр Сергеевич, — верно. Не получи-

лось у него. Он сюда брата хотел переселить. Ты же понимаешь, один черножопый зацепится где-нибудь, а потом всех своих тащит. А бригадир документы посмотрел и говорит — он и так в купейном едет, а у нас в общих и плацкарте очередников полно. Хотя что-то я не очень верю, что он сюда кого-нибудь из плацкарты вселит. Просто Амель сунул мало. Или не тому — вот ему прикурить и дали.

Андрей вспомнил, что так и не купил сигарет.

— Про что книжка? — спросил он.

— Так, — ответил Петр Сергеевич. — Про жизнь.

Он опять погрузился в чтение. Андрей вышел в коридор. Из купе уже выносили тело, и он остановился у окна — протискиваться мимо скорбящих было не принято. Впрочем, процедура обычно не затягивалась.

Из открытой двери показался бледный профиль усопшего над краем оргалитового листа, который держали два проводника. Оргалитовый лист, специально использовавшийся для этих случаев, был с обеих сторон покрашен красной краской, обведен по краю черной каймой и больше всего походил на траурное знамя, так что было загадкой, почему в народе его прозвали подстаканником.

Покойник был по горло прикрыт старым малиновым одеялом. Откуда-то взявшийся Амель засуетился у окна, открывая его, — оно не поддавалось, и пара мужиков пришла ему на помощь. Вместе они оттянули раму вниз, и образовался просвет сантиметров в сорок. Женщина в темной шали сразу же стала громко кричать, и ее под руки увели в купе. Проводники осторожно подняли подстаканник, выдвинули его край за окно и стали выталкивать покойника наружу — делали они это медленно, чтобы не оскорбить присутствующих суетливостью. Был момент, когда Соскин чуть было не застрял — зацепилось одеяло на груди.

Сквозь окно, возле которого стоял Андрей, была видна мертвая голова с бешено развевающимися на ветру волосами — она неслась в трех метрах над насыпью, и ее наполовину закрытые глаза были обращены к небу, которое постепенно затягивали высокие синие тучи. Отодвигаясь от желтой стены вагона, голова несколько раз дернулась и

стала медленно клониться вниз. Потом за стеклом мелькнул малиновый край одеяла, и внизу глухо стукнуло. Еще через секунду мимо окна пролетели подушка и полотенце — по традиции их выбросили вслед за покойником.

Можно было идти за сигаретами, но Андрей все стоял и глядел в окно. Прошло несколько секунд. Вдруг зеленый склон оборвался, удары колес о стыки рельсов стали звонче, и мимо окна понеслись ржавые балки моста, за которыми была видна широкая голубая полоса неизвестной реки.

8

В ресторане играла музыка, та самая вечная кассета, где в конце был записан обрывающийся на середине «Bridge over troubled waters». За одним из столиков Андрей заметил своего старого приятеля Гришу Струпина в модном твидовом пиджаке, к лацкану которого была прицеплена крылатая эмблема МПС — стояла она бешеных денег, но у Гриши они были. Еще при коммунистах он приторговывал по тамбурам сигаретами и пивом, а сейчас развернулся совсем широко. Напротив Гриши сидел какой-то коротко стриженный иностранец и ел из алюминиевой миски гречневую кашу с икрой. Заметив Андрея, Гриша призывно замахал руками, и через минуту Андрей втиснулся на свободное место рядом с ними. Гриша за последнее время стал еще более пухлым, веселым и кудрявым — или, может быть, так казалось, потому что он был уже немного пьян.

— Здорово, — сказал он. — Знакомьтесь. Андрей, друг зловещего детства. Иван, товарищ зрелых лет и партнер по бизнесу.

Это, значит, парень из эмигрантов, понял Андрей. Они молча пожали руки. Андрей огляделся по сторонам в поисках знакомых лиц. Их не оказалось, зато вокруг, как всегда по вечерам, было много пьяных финнов и арабов.

— Выпьем? — спросил Гриша. Андрей кивнул, и Гриша налил из графина три большие рюмки «Железнодорожной особой».

— За наш бизнес, — поднимая рюмку, сказал Иван.

— Точно, — сказал Гриша и подмигнул Андрею. — Что это такое — бизнес, догадываешься?

— Догадываюсь примерно, — сказал Андрей, чокаясь. — По звучанию. «Бить», «пизда» и «без нас». А вообще я последнее время много всяких слов слышу. Бизнес, гностицизм, ваучер, копрофагия.

— Кончай интеллектом давить, — сказал Гриша, — пей лучше.

— Да, Григорий, — сказал Иван, выпив и выдохнув, — совсем забыл. Слушай. Предлагают большую партию туалетной бумаги с Саддамом Хусейном. Она после войны осталась, а спрос упал. Очень дешево. Сколько она у вас может стоить?

— Стоить-то она может много, — сказал Гриша. — Но я тебе, Иван, могу сразу сказать, что заниматься этим нет мазы. Реальный рынок для туалетной бумаги очень маленький — только СВ. Из-за этого даже братья не стоит.

— А общие и плацкарта? — спросил Иван.

— В сидячих она вообще никогда не шла, а сейчас из-за инфляции плацкарта тоже на газеты переходит.

— Ну хорошо, — сказал Иван, — с плацкартой понятно. А купе? Ведь там тоже...

— Пока да, — ответил Гриша. — Но нам это без разницы. Никто новый, я тебе отвечаю, туда не втиснется.

— Почему? — спросил Иван. — А если ты дешевле продавать будешь?

— Да как же я смогу, Ваня? Ты бы «Файненшл таймс» пореже читал. Если я хоть один рулон дешевле продам, меня в окно живьем выбросят. Я говорю, мазы нет.

— Но нельзя же всю жизнь сигаретами и пивом заниматься, — закуривая, сказал Иван. — Надо на что-то крупнее переходить. Ты насчет алюминия выяснил?

— Да, — ответил Гриша. — Это, кажется, реально.

— Какая схема? — спросил Иван.

— Валюта-рубли-валюта-валюта-валюта, — сказал Гриша.

Иван на секунду сощурил веки, словно смотрел на что-то далекое и ослепительное.

— Ага, — сказал он, вынул из кармана маленький калькулятор и погрузился в вычисления.

— Это как? — тихо спросил Гришу Андрей. — Что за схема?

— Как, как. Платишь старшему проводнику, а он чайные ложки списывает. Это человек серьезный — берет только валютой. Условие такое — ложки надо переломать, потому что целые за погрантамбур не пропустят. И вообще, с ними проблемы могут быть. Стало быть, нужны ломшики. Берут они рублями, примерно десять процентов от того, что возьмет старший проводник. Эта часть называется валюта-рубли. И еще три раза надо валюту платить — в штабном вагоне, на погрантамбуре и рэкету.

— А как он считает? — прошептал Андрей, кивая на Ивана. — Откуда он знает, сколько кому надо платить?

— Так курс же печатают каждый день, — сказал Гриша. — Покупки и продажи. Ты вообще где живешь, а? У меня такое чувство, что ты из реального мира давно куда-то выпал. Тусуешься все с этим Ханом — это, кстати, кличка у него или имя?

— Имя, — сказал Андрей. — А кличка у него, если тебе интересно, Стоп-кран.

— Что это такое?

— Это такая штука на титане, — сказал Андрей, — чтобы пар выходил. Он раньше на титане работал, воду кипятил.

— Господи, — сказал Гриша, — на титане. Ты бы еще с официантом подружился.

Иван поднял голову.

— Нормально, — сказал он. — Будем делать. А как по латуни?

— Тяжелее, — ответил Гриша. — В принципе схема та же, но только все подстаканники на номерном учете. На каждый нужен отдельный акт по списанию. Это надо заместителю бригадира платить, а у меня на него прямого выхода нет. Я с одним его секретарем говорил, но он осторожный очень. Как про подстаканники услышал, сразу с базара съехал.

— По понятиям его провел? — спросил Иван.

— Нет пока. Он, похоже, ботаник.

— Ну хорошо, — сказал Иван. — С ложками начинай прямо завтра, а насчет латуни потом решим.

Он встал, вежливо попрощался и пошел к выходу. Гриша проводил его взглядом и повернулся к Андрею.

— Я у него в гостях был недавно, — сказал он. — Представляешь, в вагоне только три купе, и в каждом отдельная ванна. Уровень жизни, конечно...

— А что это такое, — спросил Андрей, — уровень жизни?

— Брось, Андрей, — поморщившись, сказал Гриша. — Чего я не люблю, так это когда ты дураком прикидываешься. Давай лучше накатим.

— Давай. Слушай, скажи мне, только честно, — тебе подстаканниками не страшно заниматься?

Гриша открыл было рот, чтобы ответить, но вдруг задумался и даже полуприкрыл глаза. Его лицо на несколько секунд стало неподвижным и мертвым — только кудрявые волосы шевелились в струе влетающего в открытое окно воздуха.

— Нет, не страшно, — сказал он наконец. — А чернуху, Андрюша, я от себя гоню.

7

— Хан, — сказал Андрей, — все-таки объясни мне. Как ты мог что-то узнать от тех, кого ты никогда не видел?

— Чтобы узнать что-то от человека, не обязательно его видеть. Можно получить от него письмо.

— Ты что, получил такое письмо?

Хан кивнул.

— Ты можешь мне его показать? — спросил Андрей.

— Могу, — сказал Хан. — Но это надо долго идти.

С каждым вагоном на восток коридоры плацкарты становились все запущеннее, а занавески, отделявшие набитые людьми отсеки от прохода, — все грязнее и грязнее. В этих местах было небезопасно даже утром. Иногда приходилось перешагивать через пьяных или уступать дорогу тем из них, кто еще не успел упасть и заснуть. Потом начались общие вагоны — как ни странно, воздух в них был чище, а пассажиры, попадавшие навстречу, — как-то

опрятнее. Мужики здесь ходили в тренировочной затрапезе, а женщины — в застиранных бледных сарафанах; сиденья были отгорожены друг от друга самодельными ширмами, а на газетах, расстеленных прямо на полу, лежали карты, яичная скорлупа и нарезанное сало. В одном вагоне сразу в трех местах пели под гитару — и, кажется, одну и ту же песню, гребенщиковский «Поезд в огне», но разные части: одна компания начинала, другая уже заканчивала, а третья пьяно пережевывала припев, только как-то неправильно — пели «этот поезд в огне, и нам некуда больше жить» вместо «некуда больше бежать».

— Кстати, насчет писем, — сказал Хан, подныривая под очередную веревку с бельем. — Ты и сам много раз их получал. Можно даже сказать, что ты их получаешь каждый день. И все остальные тоже.

— Не понимаю, о чем ты, — сказал Андрей. — Лично я никаких писем не получал.

— Ты когда-нибудь думал, почему наш поезд называется «Желтая стрела»?

— Нет, — ответил Андрей. — Я тебе, знаешь ли, пове-рил на слово.

— Подумай.

Голоса за разноцветными занавесками постепенно изменялись, стал заметен южный акцент. После тюремного вагона, где мимо запертых дверей ходил вооруженный проводник в ватнике и фуражке, начались полупомойки-полутаборы в невероятно переполненных общих вагонах, кишаших грязными цыганскими детьми, а потом пошли пустые вагоны — говорили, что раньше и в них кто-то ехал, но теперь там остались только голые лавки, изрезанные перочинными ножами, и стены с дырами от пуль и следами огня. Половина стекол в них была перебита, из дыр бил холодный ветер, а полы были завалены мусором — старой обувью, газетами и осколками бутылок. Андрей хотел уже спросить, долго ли еще идти, когда Хан обернулся.

— Почти пришли, — сказал он, — следующий тамбур. Так почему наш поезд так называется?

— Не знаю, — сказал Андрей. — Наверно, это что-то мифологическое. Может быть, ночью, когда все его окна горят, он со стороны похож на летящую стрелу. Но тогда

должен быть кто-то, кто увидел его со стороны, а потом вернулся в поезд.

— Он похож на стрелу не только со стороны.

Они вышли в тамбур. Хан шагнул влево и молча открыл дверку, за которой зиял черный зев ржавой печки и изгибалась труба с манометром, на котором висела окостеневшая сухая тряпка. В последних вагонах перед границей уже давно не было горячей воды, а эту печку, было похоже, не топили лет десять, с самого начала Перещепки.

— В углу, — сказал Хан, — на стене. Зажги спичку.

Андрей втиснулся в темное узкое пространство и зажег спичку. На стене была выцарапанная на краске надпись, очень старая и еле заметная. Это были несколько предложений, написанных крупными печатными буквами, столбиком, словно стихи:

ТОТ, КТО ОТБРОСИЛ МИР,
СРАВНИЛ ЕГО С ЖЕЛТОЙ ПЫЛЬЮ.

ТВОЕ ТЕЛО ПОДОБНО РАНЕ,
А САМ ТЫ ПОДОБЕН СУМАСШЕДШЕМУ.

ВЕСЬ ЭТОТ МИР —
ПОПАВШАЯ В ТЕБЯ ЖЕЛТАЯ СТРЕЛА.

ЖЕЛТАЯ СТРЕЛА, ПОЕЗД, НА КОТОРОМ
ТЫ ЕДЕШЬ К РАЗРУШЕННОМУ МОСТУ.

— Кто это написал? — спросил Андрей.

— Откуда я знаю, — сказал Хан.

— Но ты хотя бы догадываешься?

— Нет, — сказал Хан. — Да это и не важно. Я же говорю, писем вокруг полно — было бы кому прочесть. Например, слово «Земля». Это письмо с таким же смыслом.

— Почему?

— Подумай. Представь себе, что ты стоишь у окна и смотришь наружу. Дома, огороды, скелеты, столбы — ну, короче, как интеллигенты говорят, культара.

— Культура, — поправил Андрей.

— Да. А большая часть этой культуры состоит из по-

койников вперемешку с бутылками и постельным бельем. В несколько слоев, и трава сверху. Это тоже называется «земля». То, в чем гниют кости, и мир, в котором мы, так сказать, живем, называются одним и тем же словом. Мы все жители Земли. Существа из загробного мира, понимаешь?

— Понимаю, — сказал Андрей. — Как не понять. Слушай, а ты когда-нибудь думал, откуда мы едем? Откуда идет этот поезд?

— Нет, — сказал Хан. — Мне это не особо интересно. Мне интересно узнать, как с него сойти. Ты у проводников спроси. Они тебе объяснят, откуда он идет.

— Да, — задумчиво сказал Андрей, — они объяснят, это точно.

— Идем назад?

— Я здесь постою немного. Догоню тебя минут через пять.

Когда Хан вышел, Андрей повернулся к окну. В этих местах он был первый раз. Странно, но из-за того, что вокруг не было людей, ему в голову приходили необычные мысли, которые никогда не посещали его где-нибудь в ресторане, хотя все необходимое для их появления было и там.

То, что он видел в окне, когда смотрел назад, — участок насыпи, украшенный каким-нибудь уносящимся в прошлое кустом или деревом, — был точкой, где он находился секунду назад, и если бы вагон, в котором он ехал, был последним, то там осталась бы только пустота и покачивающиеся ветки по бокам от рельсов.

«Если бы все то, что существовало миг назад, не исчезало, — думал он, — то наш поезд и мы сами выглядели бы не так, как мы выглядим. Мы были бы размазаны в воздухе над шпалами. Мы были бы чем-то вроде переплетающихся друг с другом змей, а вокруг этих змей тянулись бы бесконечные ленты пластмассы, стекла и железа. Но все исчезает. Каждая прошлая секунда со всем тем, что в ней было, исчезает, и ни один человек не знает, каким он будет в следующую. И будет ли вообще. И не надоест ли Господу Богу создавать одну за другой эти секунды со всем тем, что они содержат. Ведь никто, абсолютно никто не

может дать гарантии, что следующая секунда наступит. А тот миг, в котором мы действительно живем, так короток, что мы даже не в состоянии успеть ухватить его и способны только вспоминать прошлый. Но что тогда существует на самом деле и кто такие мы сами?»

Андрей увидел в стекле свое прозрачное отражение и попытался представить себе, как оно исчезает, а на его месте появляется другое, и так без конца.

«Я хочу сойти с этого поезда живым. Я знаю, что это невозможно, но я этого хочу, потому что хотеть чего-нибудь другого просто сумасшествие. И я знаю, что эта фраза — «я хочу сойти с поезда живым» — имеет смысл, хотя слова, из которых она состоит, смысла не имеют. Я даже не знаю, кто такой я сам. Кто тогда будет выбираться отсюда? И куда?»

Он снова поглядел в окно. Уже почти стемнело. По краям пути иногда возникали белые километровые столбики, отчетливо видные в сумраке и похожие на маленьких каменных часовых.

6

Андрей развернул свежий «Путь» на центральном развороте, где была рубрика «Рельсы и шпалы», в которой обычно печатали самые интересные статьи. Через всю верхнюю часть листа шла жирная надпись:

ТОТАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

Устроившись поудобнее, он перегнул газету вдвое и погрузился в чтение:

«Стук колес, сопровождающий каждого из нас с момента рождения до смерти, — это, конечно, самый привычный для нас звук. Ученые подсчитали, что в языках различных народов имеется примерно двадцать тысяч его имитаций, из которых около восемнадцати тысяч относится к мертвым языкам; большинство из этих забытых звуко сочетаний даже невозможно воспроизвести по сохранившимся скудным, а часто и нерасшифрованным записям. Это, как сказал бы Поль Саймон, *songs, that voices*

never share. Но и существующие ныне подражания, имеющиеся в каждом языке, конечно, достаточно разнообразны и интересны — некоторые антропологи даже рассматривают их на уровне метаязыка, как своего рода культурные пароли, по которым люди узнают своих соседей по вагону. Самым длинным оказалось выражение, используемое пигмеями с плато Каннабис в Центральной Африке, — оно звучит так:

«У-ку-лэ-лэ-у-ку-ла-ла-о-бэ-о-бэ-о-ба-о-ба».

Самым коротким звукоподражанием является взрывное «п», которым пользуются жители верховьев Амазонки. А вот как стучат колеса в разных странах мира:

В Америке — «джинджерэл-джинджерэл».

В странах Прибалтики — «па-дуба-дам».

В Польше — «пан-пан».

В Бенгалии — «чуг-чунг».

В Тибете — «дзог-чен».

Во Франции — «клик-клик».

В тюркоязычных республиках Средней Азии — «бир-сум», «бир-сом» и «бир-манат».

В Иране — «авдаль-халлаж».

В Ираке — «джалал-идди».

В Монголии — «улан-далай». (Интересно, что во Внутренней Монголии колеса стучат совсем иначе — «унгер-хан-хан».)

В Афганистане — «накшбанди-накшбанди».

В Персии — «карнак-зебуб».

На Украине — «тріх-тарарух».

В Германии — «вриль-шрапп».

В Японии — «додеска-дзен».

У аборигенов Австралии — «тулуп».

У горских народов Кавказа и, что характерно, у басков — «дарлан-бичесын».

В Северной Корее — «улду-чу-чхе».

В Южной Корее — «дулду-кван-ум».

В Мексике (особенно у индейцев уичотль) — «тональ-нагваль».

В Якутии — «тыдын-тыгыдын».

В Северном Китае — «цао-цао-тан-тиен».

В Южном Китае — «дэ-и-чань-чань»,

В Индии — «бхай-гхош».

В Грузии — «коба-цап».

В Израиле — «таки-бац-бубер-бум».

В Англии — «клик-о-клик» (в Шотландии — «глюк-о-кдок».)

В Ирландии — «бла-бла-бла».

В Аргентине...»

Андрей перевел взгляд в самый низ страницы, где длинные столбцы перечислений заканчивались коротким заключительным абзацем:

«Но, конечно, красивее, задушевнее и нежнее всего колеса стучат в России — «там-там». Так и кажется, что их стук указывает в какую-то светлую зоревую даль — там она, там, ненаглядная...»

В дверь постучали, и Андрей рефлексивно схватился за рукоять замка, чуть не свалившись с унитаза.

— Скоро ты там? — спросил голос в коридоре.

— Сейчас, — сказал Андрей и смял газету в неровный ком.

«Там-там, — стучали колеса под мокрым заплеванным полом, — там-там, там-там, там-там, там-там, там-там, там-там, там-там...»

В соседнем вагоне была пробка — там шли похороны. Мимо пропускали, но толпа двигалась очень медленно, подолгу застывая на месте.

— Бадасов умер, — сказал рядом чей-то голос.

Перед Андреем стояла беспокойная девочка с огромными грязными бантами в волосах. Стуча кулаком в стекло, она глядела в окно, иногда поворачиваясь к стоящей рядом матери, одетой в турецкий спортивный костюм.

— Мама, — спросила вдруг она, — а что там?

— Где там? — спросила мама.

— Там, — сказала девочка и ткнула кулаком в окно.

— Там-там, — с ясной улыбкой сказала мама.

— А кто там живет?

— Там животные, — сказала мама.

— А еще кто там?

— Еще там боги и духи, — сказала мама, — но их там никто не видел.

— А люди там не живут? — спросила девочка.

— Нет, — ответила мама, — люди там не живут. Люди там едут в поезде.

— А где лучше, — спросила девочка, — в поезде или там?

— Не знаю, — сказала мама, — там я не была.

— Я хочу туда, — сказала девочка и постучала пальцем по стеклу окна.

— Подожди, — горько вздохнула мать, — еще попадешь.

Пьяные проводники наконец управились с подстаканником, труп шмякнулся о землю, подпрыгнул и покатился вниз по откосу. Вслед полетели подушка, полотенце, два красных венка и мраморное пресс-папье — покойный, судя по всему, был человек заметный.

— Я хочу туда-а, — пропела девочка на несуществующий мотив, — там-там, там-там...

Мать дернула ее за руку, приложила палец к губам и, сделав страшные глаза, кивнула на толпу скорбящих. Заметив, что Андрей смотрит на девочку, она подняла на него глаза и чуть выгнула брови, как бы приглашая на вершину годов, прожитых неким абстрактным Вахтангом Кикабидзе, чтобы снисходительно улыбнуться оттуда трогательной детской наивности.

— Чего это вы на меня так смотрите, — сказал женщине Андрей, — я, может, тоже туда хочу.

— Это что, — спросила женщина, — в снежные люди, что ли?

Андрей вспомнил цепочку следов на снегу за окном, которую год назад видел из окна ресторана, — это явно были отпечатки ботинок, несколько десятков метров тянувшиеся вдоль пути, а затем совершенно неожиданно прервавшиеся, словно тот, кто их оставил, растворился в воздухе.

5

Над столом горела лампа, и Петр Сергеевич пил свой вечерний чай. Он подносил к губам аккуратно обмотанный вафельным полотенцем стакан, дул в него и громко

чмокал губами. Чай он всегда пил с легким отвращением, словно целовался с женщиной, которую уже давно не любит, но не хочет обидеть невниманием.

— Судить их надо, — вдруг сказал он. — Судить надо этих сволочей, вот что я тебе скажу.

— Кого? — спросил Андрей. Он лежал на своем месте, заложив руки за голову, и глядел в потолок, по которому ползла какая-то живая черная точка.

— Всех, — сказал Петр Сергеевич и почему-то перешел на шепот. — Весь штабной вагон начиная с бригадира. Ты посмотри, что делается. Ложек уже нет, привыкли. Ладно. А теперь подстанники. Где подстанники, а? Скажи мне, где подстанники?

— Украл, надо думать, — сказал Андрей.

— А воры кто? — вскричал Петр Сергеевич тоном Чацкого, устраивающего очередное разоблачение в тамбуре вагона Фамусовых. — Да и не просто воры уже. Это раньше воровали. А теперь — знаешь, как это называется? Родинной торгуют, вот что.

— Да бросьте вы, — сказал Андрей. — Вы же не в подстаннике родились. И не в ложе.

— Не в ложе. Да ты что думаешь, мне ложек твоих жалко? Мне девочек жалко, чистых наших девочек, ласточек этих синеглазых, которые в плацкарте себя всякой мрази продают, понял?

Андрей промолчал.

— Воруют нагло, — сказал Петр Сергеевич, успокаиваясь. — Ничего не боятся. Власть потому что ихняя.

— Такого, чтоб не воровали, тут никогда не было, — сказал Андрей. — Нынешние хоть в окна живыми никого не кидают.

В запертую дверь купе сильно постучали.

— Кто там? — спросил Андрей.

— Андрей, это я, — крикнул голос из-за двери. — Открой быстрее!

Голос был Гришин. Андрей вскочил на ноги, открыл дверь, и Гриша, скользя внутрь, сразу же запер ее за собой. Его лицо было в крови, а пиджак испачкан в нескольких местах. Андрей заметил, что на его лацкане уже нет крылатой эмблемы МПС, а на ее месте зияет рваная дыра.

— Что случилось? — спросил он, усаживая Гришу на диван.

— Напали, — сказал Гриша. — Иду я, значит, из ресторана, один. Уже почти до дома дошел, и тут — представляешь? В переходе между вагонами. Четверо их было. Двое спереди и двое сзади. А у одного, сука, ложка заточенная.

— Много отняли-то?

— Много, — сказал он, — не спрашивай. Сегодня с Иваном расчет был — все забрали. Козлы. Ботаники.

Андрей намочил из графина вафельное полотенце и протянул его Грише.

— Что, — спросил он, — не заплатил вовремя?

— Да при чем тут это, — сказал тот, прикладывая полотенце к скуле. — Это урла какая-то залетная. Не знают, на кого наехали. Ну да я завтра всех тут на уши поставлю.

— Может быть, навел кто-нибудь?

— Ты что, — сказал Гриша. — Кроме Ивана, никто про это и не знал. А ему это незачем. Я же тебе говорю, просто урла.

Петр Сергеевич, до этого деликатно прятавший лицо за газетой, высунулся и сказал:

— Вот так, Андрей. Вот так. Говоришь, нынешние из окон не кидают? А надо кидать. Вот именно как раньше делали — руки-ноги вязать и головой вниз на шпалы. Публично. Тогда и чай будет сладкий, и вежливость в коридоре. И друга твоего никто тронуть не посмеет.

— А вы не боитесь, что вас самого выкинут? — спросил Андрей.

— Меня-то за что? Я всю жизнь честно работал. Ты пройди по купейным вагонам — половина дверей вот этими руками поставлена. Я при всякой власти нужен.

— Двери? — оживился Гриша. — Простите, вас как звать? Петр Сергеевич, очень приятно. А я Григорий Струпин, директор совместного предприятия «Голубой вагон».

Петр Сергеевич пожал протянутую ему руку, улыбнулся и поправил воротник.

— Извините за мой внешний вид, — сказал Гриша, широко улыбаясь разбитым ртом и косясь на свой изуродо-

ванный лацкан, — так обстоятельства сложились. Мне как раз нужна небольшая консультация насчет дверей. Понятно, не бесплатная — потом по договору проведем.

— Ну, если смогу, — проговорил Петр Сергеевич.

— Скажите, а замки на дверях действительно из никеля?

— Нет, — сказал Петр Сергеевич, — понимаете ли, никелевое только покрытие. А сами замки...

— Слышь, Гриша, — сказал Андрей. — Вы тут поговорите пока, а я по коридору пройду. Посмотрю на всякий случай, ждет тебя кто-нибудь или нет.

Он закрыл за собой дверь. Коридор был безлюден. Андрей дошел до его конца и выглянул в тамбур — там никого не оказалось. С другой стороны вагона было то же самое. Он вернулся к двери в свое купе и услышал за ней оживленный голос Гриши и уклончивое хмыканье Петра Сергеевича. Несколько секунд постояв у порога, он пошел по вагону дальше, остановился у плексигласового кармана на стене и вытащил из него неизвестную брошюру. На обложке была фотография автора, усатого мужчины, похожего на сильно похудевшего, поумневшего и протрезвевшего Ницше, а называлась брошюра «Путеводитель по железным дорогам Индии». В ней не хватало примерно половины страниц, вырванных с мясом со скрепок. Андрей остановился на освещенной площадке перед тамбуром, поставил ногу на треугольную крышку мусорного бака, прислонился плечом к окну и стал читать тот лист, которому предстояло покинуть книгу следующим:

«советовал мне преподобный Шри Бававсенаху, я задал себе этот вопрос. Ответ пришел почти сразу — сколько я себя помню, больше всего в жизни я люблю подолгу стоять у открытого окна в коридоре, поставив ногу на треугольную крышку мусорного бака, высунув наружу локти и глядя на несущуюся мимо стену джунглей. Иногда приходится прижиматься плечом к стеклу, пропуская идущих в тамбур, и тогда я вспоминаю, что стою у окна мчащегося по Индии вагона, а все остальное время даже не очень понятно, что происходит и с кем. Не замечали ли вы, дорогой читатель, что, когда долго глядишь на мир и забываешь о себе, остается только то, что видишь: невысокий склон в

густых зарослях конопли (которую, стоит поезду замедлить ход, рвут специальными палками из соседних окон), оплетенная лианами цепь пальм, отделяющая железную дорогу от остального мира, изредка река или мост в колониальном стиле или защищенная стальной рукой шлаббаума пустая дорога. Куда в это время деваюсь я? И куда деваются эти деревья и шлаббаумы в то время, когда на них никто не смотрит?

Да какая мне разница. Важно ведь совсем другое. Ближе всего к счастью — хоть я и не берусь определить, что это такое, — я бываю тогда, когда отворачиваюсь от окна и краем сознания — потому что иначе это невозможно — замечаю, что только что меня опять не было, а был просто мир за окном и что-то прекрасное и непостижимое, да и абсолютно не нуждающееся ни в каком «постижении», несколько секунд существовало вместо обычного роя мыслей, одна из которых подобно локомотиву тянет за собой все остальные, обволакивает их и называет себя словом «я». Опять слышен трубный клич далекого слона, вероятно белого, — счастлив ли...»

— Эй!

Андрей поднял глаза. Перед ним стоял Гриша.

— Ну чего? Кого-нибудь видел?

— Нет, — ответил Андрей. — Ты бы посидел еще полчаса на всякий случай.

— Нет, — сказал Гриша, — пойду. Сосед у тебя полезный мужик оказался. Я с ним завтра утром встречу назначил. Ну пока.

— Пока.

Гриша исчез за дверью тамбура. Андрей закрыл брошюру, сунул ее в карман и пошел к себе в купе.

Минут через пять, когда уже был выключен свет и он изо всех сил старался успеть заснуть до того момента, когда Петр Сергеевич начнет храпеть, тот вдруг прокашлялся и сказал:

— Слышь, Андрей. А чего это Григорий тебя мистиком называет? Шутит?

— Да, — сказал Андрей. — Конечно, шутит. Круче него тут мистиков нет.

Как всегда, Андрея разбудило радио — бескрайний баритон читал стихи:

Петроградское небо мутилось дождем,
в никуда уходил эшелон.
Без конца взвод за взводом и вождь за вождем
наполнял за вагоном вагон...

Петр Сергеевич еще храпел. Андрей поглядел в окно. Небо было низким и серым и, действительно, всюду мутилось дождем, крошечные капли которого расшибались о стекло.

В дверь постучали.

— Да-да.

Вошел проводник с чаем. Поставив стаканы на стол, он прибрал сторублевку и закрыл за собой шелкнувшую никелированным замком дверь.

От этого шелчка проснулся Петр Сергеевич. Странно, но вместо того, чтобы по обыкновению отвернуться к стене и заснуть еще часа на два, он, как на пружине, приподнялся на локте и посмотрел на Андрея совершенно безумным взглядом.

— Вы сегодня опять храпели, — сказал Андрей.

— Да? А ты свистел?

— Свистел, — ответил Андрей.

— А сколько времени? — спросил Петр Сергеевич.

— Половина десятого.

Петр Сергеевич выматерился, вскочил на ноги и принялся торопливо причесываться — оказалось, что он спал в костюме и даже с галстуком на шее.

— Вы куда так спешите? — спросил Андрей.

— Дела, — сказал Петр Сергеевич, зажал под мышкой потертую кожаную папку, с которой Андрей не видел его уже года три, и выскочил в коридор.

Андрей повернулся к стене и закрыл глаза. Стихи по радио кончились, и начались объявления. Андрей повернул ручку громкости против часовой стрелки до упора, но голоса все равно были явственно слышны.

«Каждому, каждому в лучшее верится, — пропел детский хор, — катится, катится голубой вагон». — «Фирма «Голубой вагон», — сказала взволнованное контрольно. — Наш поезд — действительно скорый».

Это была Гришкина реклама. В динамике что-то пискнуло, и жизнерадостный мужской голос продекламировал: «Сигареты марки «Бой». Покурил, и хрен с тобой». Потом была долгая пауза, и наконец объявили «Утренний кинозал».

— Сегодня мы поговорим о фильме японского кинорежиссера Акиры Куросавы «Додескаден», — гнусаво заговорил ведущий, — снятом в 1970 году по новелле писателя Акутагавы Рюноске «Под стук невидимых колес». Собственно говоря, само название фильма и является японской имитацией звука стучащих о рельсы колес. Итак, закройте глаза и представьте себе раннее утро в послевоенном японском вагоне купейного типа. Хлопают двери, в коридор выходят спешащие по своим делам люди. Сквозь закопченные недавними боями стекла уже светит знаменитое японское солнце. И вдруг в толпе появляется первый из героев, которого в вагоне называют «трамвайным сумасшедшим». Дело в том, что этот молодой человек воображает себя водителем невидимого маленького поезда — по-японски «трамвая», — который ездит взад-вперед по реальному вагону. Согласитесь, концепция непростая и требующая осмысления...

Андрей встал и начал быстро одеваться. Надев куртку, он плотно застегнул ее на все пуговицы, взял с верхней полки темные очки и кепку с козырьком, потом сунул в карман перчатки и маленький деревянный клин, который вынул из-под матраца. Пока он одевался, радио почти не было слышно, но, когда он на секунду замер у дверей, думая, все ли он взял, опять стал слышен вкрадчивый и гнусавый голос:

— Надо сказать, что герои фильма занимаются делами, которые с полным правом можно назвать важными и серьезными, — это мелкооптовая торговля, медленное умирание с голоду, воровство, деторождение и так далее. И вот, проводя параллель между жизнью этих людей и действиями «трамвайного сумасшедшего», который взад-

вперед бегают по коридору вагона и кричат: «Додеска-дэн! додеска-дэн!», имитируя стук существующих только в его сознании колес отдельного маленького поезда, Куросава как бы стремится показать, что каждый из социально адекватных героев тоже, в сущности, едет по реальному вагону в своем собственном маленьком иллюзорном «трамвае». Но, однако, Куросава не намечает никаких путей выхода из показанного им бесприютного мира. Чего там, напугать людей просто, а вот...

В коридоре радио не работало. Андрею повезло довольно быстро — через два тамбура на восток он оказался в совершенно пустом вагоне. Судя по запаху, там морили тараканов, и пассажиры прятались от запаха дихлофоса за плотно закрытыми дверьми. Быстро пройдя по пыльной ковровой дорожке, Андрей замер возле двери служебного купе, где напевающий проводник, склоняясь над огромной металлической раковиной, мыл пустые банки из-под пива (в соседнем вагоне их раскрашивали в национальном духе и продавали на Запад). Выждав момент, когда проводник отвернулся, Андрей проскользнул мимо двери и вошел в туалет. Закрывшись, он втиснул клин между дверью и рычагом замка и несколько раз ударил по нему ладонью — теперь проводник не смог бы отпереть дверь с той стороны даже своим ключом.

Окно открылось сразу. Андрей выглянул в образовавшийся просвет — все соседние окна были заперты. Он надел перчатки, кепку и очки, повернулся к окну спиной и заведенными назад руками уцепился за верхний край рамы. Потом уперся ногой в дюралевую ручку на стене, изогнулся и стал медленно и осторожно высовываться наружу.

Он уже давно мог повторить все необходимые движения с закрытыми глазами, но все равно каждый раз ему на несколько секунд становилось не по себе. В оккультных книгах, которые продавали в тамбуре у ресторана, эта процедура была описана очень запутанно и таинственно, со множеством иносказаний, — о ней явно писали люди, не понимавшие, про что они на самом деле рассказывают. Самым простым эвфемизмом происходящего было выражение «ритуальная смерть». В каком-то смысле так оно и

было — то же самое происходило с умершим, которого выдвигали из окна, чтобы сбросить на насыпь. Но, конечно, это было единственным сходством, хотя процедура действительно была довольно рискованной. А что касалось темного подсознательного страха, то от него спасали только трезвость и чувство юмора — Андрей напоминал себе, что попросту лезет на крышу вагона.

Над окном был вогнутый карниз для стока воды. Андрей ухватился за его край и подтянулся вверх — теперь он сидел на краю окна, свесив ноги внутрь. Далеко впереди по ходу поезда показалась зеленая полоска кустов, и он полез быстрее, чтобы его не исхлестали ветки. Через несколько секунд он уже был наверху, на ребристой и непривычно широкой крыше вагона, покрытой облупившейся желтой краской и усеянной ржавыми грибами вентиляционных башенок. Встав на ноги, он осмотрелся.

Далеко на западе на крыше стояли люди, но отсюда никого нельзя было разглядеть. Перепрыгнув через несколько вагонных стыков, Андрей нашел вмятину, по которой он узнавал место, под которым было купе Хана, и постучал по ней ногой.

Хан появился минут через пять — на нем была брезентовая куртка с капюшоном и такие же очки, как у Андрея. Они молча пошли на запад, с разбега перепрыгивая пустоты над резиновыми сочленениями переходов.

Вскоре позади осталась скользкая крыша ресторана, вагон с погрантамбуром, и те, кто стоял впереди, стали приветственно махать руками. Андрей узнал нескольких человек и помахал в ответ. В обычном смысле знаком он ни с кем не был — все общение с людьми, которых они с Ханом встречали наверху, сводилось к обмену приветственными жестами. Они миновали неподвижного старика в грязном ватнике и старой военной ушанке — как обычно, он сидел по-турецки в центре крыши и курил длинную трубку с крошечным металлическим чубуком (было непонятно, как он ухитряется зажигать ее на таком ветру). Дальше сидела компания в длинных темно-серых рясах — лица этих людей были скрыты капюшонами, так что нельзя было ничего сказать ни об их поле, ни о возрасте. Расположившись кружком, они изучали непонятную гео-

метрическую фигуру, начерченную углем на крыше вагона. Фигура была та же, что и раньше, — круг с какими-то симметричными линиями, похожими на разомкнутую звезду. Андрей вспомнил, что и прошлым, и даже позапрошлым летом они были заняты тем же самым — было совершенно неясно, с какой целью они так долго смотрят на этот простой рисунок.

Вообще, Андрей сомневался, что люди, которых он встречает на крыше, лезут на нее с какой-нибудь определенной целью. У него самого такой цели никогда не было, и он ничего от этих прогулок не ждал. Правда, с Ханом он познакомился именно здесь. В тот раз они не перемолвились ни словом — здесь никто никогда ни с кем не говорил, — но узнали друг друга через день или два, столкнувшись в коридоре. Позже Хан сказал, что подниматься на крышу не только бесполезно, но, скорее, даже вредно, потому что там человек оказывается только дальше от возможности по-настоящему покинуть поезд, — но все равно они продолжали сюда лазить просто для того, чтобы хоть на время покинуть осточертевшее пространство всеобщей жизни и смерти. Ни начала, ни конца поезда видно не было — линия вагонов, несколько раз изгибаясь в поле зрения, доходила в обе стороны до горизонта, но все же локомотив где-то существовал, и этому, помимо множества внутривагонно-метафизических обоснований, были два прямых доказательства — толстый медный провод в полуметре над головой и иногда доносившийся неведомо откуда тихий протяжный гул.

Андрей почувствовал, как Хан дергает его за рукав, и посмотрел туда, куда тот указывал. На соседней крыше стояла довольно странная компания — четверо человек, одетых, словно музыканты, в какие-то преувеличенно латиноамериканские наряды. В следующую секунду Андрей увидел в их руках инструменты и понял, что это действительно музыканты. Из-за грохота колес музыки совсем не было слышно, но ясно было, что маленький оркестр выкладывается из всех сил, — тот, что играл на флейте Пана, от напряжения даже чуть приседал на месте, а у гитаристов были такие исступленные лица, словно в ру-

ках у них были не гитары, а винтовки и они шли на штурм бронекупе самого Пабло Эскобара. Андрей перевел взгляд дальше и увидел странного человека с широкой соломенной шляпой за плечами — он стоял опасно близко к краю вагона, пританцовывал на месте и размахивал руками, как будто пытался согреться. Ни этого человека, ни музыкантов Андрей раньше никогда тут не встречал.

Поезд мчался к реке или, может быть, узкому ответвлению озера, над которым был перекинут странный мост — у него были очень низкие ограждения, еле доходившие до крыши поезда. Андрей подумал, что их, наверно, можно было бы перепрыгнуть, и в тот самый момент, когда ему в голову пришла эта мысль, человек с соломенной шляпой на шнурке сильно оттолкнулся от крыши, оторвался от вагона и перелетел над ограждением моста.

Несколько секунд Андрей не мог поверить, что это действительно произошло. Потом он упал на живот, подполз к краю крыши и свесился с нее, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть. Вода под мостом была практически неподвижной; по ее поверхности расходились круги, в центре которых покачивалась похожая на огромную кувшинку соломенная шляпа. Прошло несколько долгих секунд, и над водой показался черный мячик головы. Человек поплыл к берегу, а потом все скрыла заросшая травой насыпь.

Андрей поднялся на ноги и поглядел на Хана. Тот восхищенно качал головой и, судя по движениям губ, что-то говорил. Все вокруг смотрели в сторону скрывшейся реки — даже непонятные люди в рясах, обычно не обращавшие никакого внимания на остальных, сейчас стояли на ногах и растерянно глядели на восток, где навсегда остался неизвестный. Только старик в ушанке все так же неподвижно сидел на своем обычном месте и пускал вдаль едва заметные на ветру струйки дыма — было непонятно, то ли он просто ничего не заметил, то ли видел и не такое. Музыканты куда-то исчезли. Андрей искал их взглядом и увидел несколько маленьких фигурок, прыгающих с вагона на вагон — они успели отойти уже довольно далеко на запад.

— Нравится? — спросил Антон. — Только честно.

— Что?

— Новая серия, — сказал Антон и кивнул на стол.

— Почему серия? — удивился Андрей. — Они же все одинаковые.

— В этом и концепт, — сказал Антон. — Они номерные, как литографии.

Андрей сидел на краю лавки, глядя на пивную банку в руках Антона. Тот тихо что-то мычал и водил по ней маленькой кисточкой, неестественно изогнув шею, чтобы не измазать в краске бороду — тем не менее на ней уже было несколько белых пятен, которые казались ранней сединой. Несколько готовых расписных банок стояло на столике — на всех был одинаковый рисунок: коридор вагона, по которому с чайными стаканами в руках идут румяные девушки в кокошниках и желтоволосые ребята в красных рубашках, все на одно лицо, похожее на вымя, — было это, как Андрей понял, сознательной и даже подчеркнутой цитатой из Гумилева, потому что из лиц торчали длинные коровьи соски, прыскающие струйками молока, а под рисунком славянской вязью было выведено:

Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон.

— Так что? — повторил Антон.

— По-моему, хорошо, — сказал Андрей. — Только уж очень социально. Все-таки «Будвейзер Господа моего» у тебя куда сильнее был.

— Не понимаю, — сказал Антон, — почему, что бы я ни нарисовал, все с «Будвейзером» сравнивают?

— Просто вспомнилось, — сказал Андрей. — Действительно гениальная вещь была.

Напротив Антона сидела его жена Ольга, которая мелкой шкуркой зачищала поверхность банок. Ее ноги были закрыты одеялом, потому что дверь в купе была снята с петель и по полу сильно дуло. На месте двери висело еще одно одеяло — оно не доставало до пола, и были видны

ботинки и шлепанцы проходящих по коридору. Андрей поднял глаза на погнутые петли и покачал головой.

— Я понять не могу, как же вы им разрешили дверь снять? — спросил он. — Ведь никто права не имел, если вы не согласны.

— А нас никто не спрашивал, согласны мы или нет, — сказал Антон. — Пришли и сказали, что конверсия. Из купейных в плацкартные. Подписать что-то дали, и все. Ну хватит об этом. Ты кого-нибудь из наших видел?

— Гришу часто вижу, — сказал Андрей. — Он сейчас, как они выражаются, поднялся, то есть денег много. Еще Серегу видел недавно. Очень сильно изменился. Не пьет, не курит. Утризм принял.

— Это еще что?

— Это религия такая, очень красивая. Они верят, что нас тянет вперед паровоз типа «У-3» — они его еще тройкой называют, — а едем мы все в светлое утро. Те, кто верит в «У-3», проедут над последним мостом, а остальные — нет.

— Да? — сказал Антон. — Надо же. Не слышал никогда. А ты сам его часом не принял?

— Нет, не принял, — сказал Андрей. — У меня все по-прежнему. Вот книжку хорошую читаю. Называется «Путеводитель по железным дорогам Индии». Совершенно случайно ее нашел. Потом, если хочешь, дам.

— А о чем там? — спросил Антон, поднимая банку над головой и внимательно ее разглядывая.

— Даже трудно так сказать. Просто человек едет в поезде по Индии и пишет о том, что с ним происходит. Причем так и не ясно — то ли он действительно по Индии едет, то ли просто так себе представляет. Тебе понравится.

— Она у тебя с собой? — спросил Антон.

— Да, — сказал Андрей.

— Прочти кусочек, а? А то у меня руки в краске.

— Какой кусочек? — спросил Андрей.

— Любой.

— Тогда, — сказал Андрей, — я с того места начну, где сам читаю. Я тебе в двух словах скажу, что там раньше было, — сначала он пишет о том, что видит в окне, а потом начинает описывать тех, кто ему мешает

возле этого окна стоять. Очень длинная и желчная классификация.

Андрей достал из кармана книжку, открыл ее на заложенной странице и начал читать вслух:

«Куда они все идут? Зачем? Разве они никогда не слышат стука колес или не видят голых равнин за окнами? Им все известно про эту жизнь, но они идут дальше по коридору, из сортира в купе и из тамбура в ресторан, понемногу превращая сегодня в очередное вчера, и думают, что есть такой Бог, который их за это вознаградит или накажет. Но если они не сходят с ума, значит, все они знают какой-то секрет. Или это я знаю секрет, которого лучше не знать никому. Нечто такое, из-за чего я уже никогда в жизни не смогу вот так невинно и бессмысленно, белея глазами белками, идти себе по чуть покачивающемуся коридору и думать о том же, о чем думают они все. Но я ведь не знаю никакого секрета. Я просто вижу жизнь такой, как она есть, трезво и точно, и никогда не смогу принять этот грохочущий на стыках рельсов желтый катафалк за что-то другое. Мне нравится Индия, и поэтому сейчас я еду по Индии. А они просто сумасшедшие, пассажиры сумасшедшего поезда, и во всем, что они говорят, я слышу только стук колес. И оттого, что их много, а я почти один, не меняется ничего...»

Андрей услышал какое-то шуршание, поднял глаза и увидел, что жена Антона надевает сапоги. Антон вытирал руки измазанной в краске тряпкой.

— Извини, старик, — сказал он, — мы в театр идем. Ты прочти самую последнюю строчку. Чем там все кончается.

Андрей поколебался, открыл последнюю страницу и прочел:

«Милость беспредельна, и я точно знаю, что, когда поезд остановится, за его желтой дверью меня будет ждать белый слон, на котором я продолжу свое вечное возвращение к Неименуемому».

— Понятно, — сказал Антон. — Интересно, конечно. Только читать этого я не буду, спасибо.

— Тебе не понравилось?

— Я бы не сказал, что мне это понравилось или не по-

нравилось, — ответил Антон. — Просто это не имеет отношения ко мне лично.

— Почему? А то, что ты рисуешь, — сказал Андрей и кивнул на расписанные банки, — это разве не то же самое на другом языке? Остановите вагон и так далее? Или ты это не всерьез? Неискренне?

— Что значит «не всерьез, неискренне», — сказал Антон. — Детские какие-то у тебя понятия. Есть жизнь, и есть там искусство, творчество. Соц-арт там, концептуализм там. Модерн там, постмодерн там. Я их уже давно с жизнью не путаю. У меня жена, ребенок скоро будет — вот это, Андрюша, всерьез. А рисовать там можно что угодно — есть всякие там культурные игры и так далее. Так что вагоны я только на пивных банках останавливаю, опять-таки потому, что о ребенке думаю, который вот в этом настоящем вагоне будет дальше ехать. Понимаешь?

Он слегка топнул в пол и показал рукой на стену.

— Антон, — сказал Андрей, — ты ничего сейчас не слышишь?

Антон замер и прислушался.

— Нет, — сказал он, — ничего. А что я должен слышать?

— Так. Показалось.

— Пора идти, — сказала Ольга, отдергивая висящее в дверном проеме одеяло, — опоздаем.

— А на что вы идете? — спросил Андрей.

— «Бронепоезд 116-511», — ответила Ольга. — Не пугайся, там авангардное прочтение.

— Чье прочтение? — спросил Андрей.

— «Театр на верхней полке», — сказала Ольга. — У них там все коллективно и анонимно, так что, чье там прочтение, никто там не знает. По секрету могу сказать, что декорации там рисовал Антон. Хочешь с нами? Там пройти можно.

— Нет, — сказал Андрей, — я еще к Хану зайду. Давно у него не был.

— Как он там, кстати, поживает? — спросил Антон. — Нашел себя?

— Да, — сказал Андрей, — и еще много другого. Ну пока.

— Пока. Привет там всем передавай.

На двери в купе Хана висел непонятно откуда взявшийся календарь с котятками, который закрывал знакомую царапину. Несколько секунд Андрей не мог понять, в чем дело, потом огляделся по сторонам, убедился, что не ошибся дверью, и постучал. Никто не ответил.

Андрей открыл дверь. В купе был неправдоподобный беспорядок — такой, какой возникает только при похоронах, родах и переездах. На диване Хана сидела пожилая полная женщина со следами бывшего безобразия на отечном лице — возраст уже благополучно эвакуировал ее из зоны действия эстетических характеристик. На полу перед ней стояло несколько чемоданов и накрытая платком корзина, источавшая густой запах колбасы. С верхней полки торчала крошечная детская ножка, обтянутая белым носком, которая чуть качалась в такт вагону.

— Здравствуйте, — сказал Андрей.

— День добрый, — ответила женщина, поднимая ничего не выражающие глаза.

— А где Хан?

— Таких тут не живет.

— Он что, переехал?

— Не знаю, — сказала она, — может, переехал, а может, умер. Мы не знаем. Мы очередники. Нас на площадь вселили. Вы у проводника спросите, он знает.

— А вещи? — спросил Андрей. — Вещи остались?

— Никаких вещей тут не было, — оживляясь, сказала женщина, — что это вы придумываете? Какие такие вещи?

— Да нет, — сказал Андрей, — вы не подумайте, что я с претензиями. Я спрашиваю просто.

— Пустой диван, — сказала женщина, — полка тоже пустая. Я чужого в жизни не возьму.

— Понятно, — сказал Андрей, повернулся и толкнул дверь вбок.

— А вы не Андрей? — спросила вдруг женщина.

— Андрей. А что?

— Тут письмо какое-то лежало. Написано — Андрею, а какому, непонятно. И от кого, непонятно. Может, это вам?

— Мне, — сказал Андрей, — давайте.

— Где-то оно здесь было, — забормотала женщина, шаря среди вываленного на стол белья. — Разбирать теперь все это полгода. Жизнь страшная стала. В коридоре дав-ка, а сил нет. Ага, нашла. Вот оно. А точно вам? У вас билет ваш есть с собой?

— А я безбилетник, — развязно пошутил Андрей.

Женщина хмыкнула и протянула Андрею конверт.

— Девкам будешь голову морочить, — сказала она с некоторой игривостью. — Все. Больше никаких вещей нету.

— Спасибо, — сказал Андрей, убирая письмо в карман. — Большое спасибо.

— До свидания, — сказала женщина.

Выйдя из купе, Андрей чуть не столкнулся с идущим по вагону проводником, но ни о чем не стал его спрашивать.

Петр Сергеевич был пьян и весел. На столе перед ним стояла не обычная бутылка «Железнодорожной», а граненый флакон дорогого коньяка «Лазо» с пылающей паровозной топкой на этикетке. Рядом были развернуты какие-то чертежи и синьки — Андрей заметил на одной из них сильно увеличенную ручку дверного замка. Еще было несколько официального вида бумаг с печатями — в них, судя по масляным пятнам, был завернут сервелат, которым Петр Сергеевич успел хищно закусить — казалось, что разбросанные по столу ошметки клевал орел.

— Как дела?

— Нормально, — ответил Андрей, — а у вас?

Петр Сергеевич показал большой волосатый палец.

— Завтра меня весь день не будет, — сказал он, — с самого утра. И ночью тоже не приду. Ты за меня белишко получишь?

— Хорошо, — сказал Андрей. — Вы только проводника предупредите. А что, уже тридцатое?

— Да, — сказал Петр Сергеевич, — тридцатое. Как время-то летит. Так и пожить не успеешь. Тебе налить?

Андрей помотал головой. Сняв ботинки, он улегся на

свое место, повернулся лицом к стене и достал из кармана «Путеводитель по железным дорогам Индии», в который было вложено письмо. Поколебавшись секунду, он спрятал конверт назад в карман. «Завтра прочту», — подумал он и наугад раскрыл книгу.

«...в сущности, никакого счастья нет, есть только сознание счастья. Или, другими словами, есть только сознание. Нет никакой Индии, никакого поезда, никакого окна. Есть только сознание, а все остальное, в том числе и мы сами, существует только постольку, поскольку попадает в его сферу. Так почему же, думаю я снова и снова, почему же нам не пойти прямо к бесконечному и невыразимому счастью, бросив все остальное? Правда, придется бросить и себя. Но кто бросит? Кто тогда будет счастлив? И кто несчастлив сейчас?»

Андрею хотелось спать, и он плохо понимал написанное — слова налезали друг на друга и образовывали перед глазами сложные геометрические конструкции. Он закрыл книгу.

— Андрюх, — подал голос Петр Сергеевич, — ну чего ты мурыжишься? Махни стакан.

— Правда не хочу, — сказал Андрей, — спасибо.

— Как знаешь.

Андрей повернулся на спину и некоторое время изучал тусклый желтый плафон на потолке.

— Петр Сергеевич, — сказал он, — а вы когда-нибудь думали, куда мы едем?

— У тебя что, — спросил Петр Сергеевич сквозь пищу, — неприятности, да? Наплюй. Подумаешь там, одну бросил, другую нашел. В плацкарту сходи, там быстро развеешься. Знаешь, сколько там сучек этих? Там их вагон. Были бы деньги.

— Ну все-таки. Куда?

— Ты чего, сам не знаешь?

— Вам что, сказать трудно?

— Да нет, не трудно.

— Ну так скажите. Куда мы, по-вашему, едем?

— Куда, куда. Тебе что, услышать хочется лишний раз? Ясное дело, куда. К разрушенному мосту. Что ты себе смолоду такой херней голову забиваешь, Андрюха?

Утро было облачным — вместо неба вверху висела ровная серая поверхность, похожая на потолок в коридоре, только без вентиляционных дырочек. Петр Сергеевич уже ушел. На столе лежала записка для проводника и стояло два стакана с успевшим остыть чаем. Андрей оделся, вынул из кармана письмо и тут же сунул его назад. Потом он запер дверь и сел на стол. Петр Сергеевич терпеть этого не мог, а уж ног на своем диване не простил бы ни за что и никому, но сегодня его можно было не брать в расчет.

Андрей никогда не упускал возможности в одиночестве провести пару часов у окна купе. Это было совсем не то же самое, что стоять возле окна в коридоре, где постоянно приходилось пропускать идущий мимо народ и вообще множеством трудноуловимых способов взаимодействовать с окружающими. Андрей не особо верил автору индийского «Путеводителя», писавшему о том, что безмятежному созерцанию ландшафта можно предаваться и перед дверью набитого орущими людьми тамбура.

Сегодня день был не очень удачный — в нескольких метрах за окном неслась бесконечная стена деревьев. Обычно такие насаждения закрывали обзор на несколько часов, а иногда и дней, и оставалось только смотреть на полосу травы между поездом и деревьями, разглядывая предметы, выброшенные из когда-то пролетевших здесь вагонов «Желтой стрелы».

Сначала все внизу сливалось в однородное серо-зеленое месиво, но через несколько минут глаза привыкали, и становилось достаточно короткой доли секунды, чтобы идентифицировать искусственные вкрапления в пейзаж. Возможно, дело было не в натренированности взгляда, а в воображении, и он успевал не столько разглядеть проносящееся мимо окон, сколько домыслить и воссоздать то, что там должно находиться, пользуясь мельчайшими намеками, которые давал окружающий мир. Но насчет большинства объектов, лежавших на склонах насыпи, ошибиться было трудно.

Больше всего было, конечно, пустых бутылок. Зимой они яркими зелеными пятнами выделялись на снегу, а сей-

час их можно было отличить от травы только по блеску. Более легкие пивные банки сносило потоком воздуха, и они обычно не отлетали от вагонов так далеко. Изредка попадались довольно странные предметы — например, в одном месте из небольшого болотца торчала свежавоткнувшаяся в грязь картина в огромной золотой раме (Андрею показалось, что это стандартная репродукция «Будущих железнодорожников» Дейнеки). В другом месте, примерно через километр после картины, мелькнул развалившийся при падении никелированный самовар. А недалеко от него лежал великолепный кожаный чемодан, на котором сидела большая жирная ворона. Повсюду белели яркие пятна использованных презервативов — впрочем, иногда презерватив можно было перепутать с небольшой костью вроде ключицы, а костей в траве валялось почти столько же, сколько бутылок. Особенно много было черепов — потому, наверно, что они оказывались слишком тяжелыми для мелких грызунов, а звери покрупнее боялись подходить близко к грохочущей желтой стене. Некоторые черепа, совсем старые, были до меловой белизны отполированы дождями и ветром, а на тех, что посвежее, еще оставались волосы и куски плоти. Особенно Андрея рассмешил один череп с блестящей дужкой очков, в которых, как показалось, даже сохранились стекла.

На кустах и деревьях было множество следов недавних похорон — разноцветные полотенца, одеяла и наволочки. Они развевались по ветру, как флаги, приветствуя новую жизнь, несущуюся вперед и мимо, — так, вспомнил Андрей, сказал, кажется, какой-то поэт, бросившийся потом головой вниз из окна вагона-ресторана. Подушек тоже было много — и совсем еще новых, и уже сгнивших под частыми в это лето дождями. Их хозяева обычно лежали неподалеку в самых разных позах и стадиях разложения; многие, правда, и на насыпи сохраняли строгий вид — ноги полусогнуты, одна рука подвернута под голову, а другая вытянута вдоль туловища. Объяснялось это просто — иногда проводники по просьбе родных особым образом перевязывали бечевкой конечности усопших, чтобы те выглядели после смерти пристойно; кроме того, это имело какое-то отношение к религии.

Андрей заметил, что в траве у насыпи стали все чаще попадаться засохшие белые цветы, которые он сперва принимал за презервативы. Он подумал, что они просто отцвели, но увидел, что многие из них завернуты в прозрачную пленку и лежат стеблями вверх. Потом стали появляться букеты, а потом — венки, все из увядших белых роз. Андрей понял, в чем дело, — недели две назад по телевизору показывали похороны американской поп-звезды Изиды Шопенгауэр (на самом деле, вспомнил Андрей, ее звали Ася Акопян). В газетах писали, что во время церемонии из окон выбросили две тонны отборных белых роз, которые покойная обожала больше всего на свете, — видно, это они и были. Андрей прижался к стеклу. Прошло две или три минуты — все это время белые пятна на траве густели, — и он увидел лежащую в траве мраморную плиту со стальными сфинксами по краям, к которой золотыми цепями была приделана бедная Изида, уже порядком распухшая на жаре. На краях плиты была реклама — «Rolex», «Pepsi-cola» и еще какая-то более мелкая — кажется, товарный знак фирмы, производящей овощные шницели чисто американского вкуса. У плиты сустились две небольшие собаки; одна из них повернула морду к поезду и беззвучно залаяла. Вторая крутила хвостом; из пасти у нее свисало что-то синевато-красное и длинное.

«Мировая культура, — подумал Андрей, — доходит до нас с большим опозданием».

Стена деревьев за окном прервалась вечером, когда уже начало темнеть. Сначала они стали расти реже, между ними появились просветы, а потом вдруг открылось поле с пересекающей его дорогой. Возле дороги стояло несколько кирпичных домов с черными дырами окон — их ставни были широко распахнуты. Вдали медленно проплыла удивительно красивая, похожая на поднятую к небу руку, белая церковь с косым крестом — был виден только ее верх, а нижнюю часть закрывал лес.

Потом появилась длинная пустая платформа — в одном месте на ней Андрей успел заметить старую вставную челюсть, одиноко лежащую на голой бетонной плоскости. Рядом с челюстью торчал шест с пустым стальным прямоугольником, в котором когда-то была табличка с названием

ем станции. Мелькнуло несколько плит бетонного забора, за которым громоздились какие-то решетчатые конструкции из ржавого железа, и все скрылось за вновь появившейся стеной плотно растущих деревьев — те, кто верил в снежных людей, считали, что эти деревья посажены ими, чтобы взгляды и мысли пассажиров не проникали слишком далеко в их мир.

В дверь постучали, и Андрей прыгнул со стола.

— Кто это? — спросил он.

— Это Авэль, — проговорил бас за дверью. — Ты там? Выходи, там бэлье дают.

Когда Андрей решил наконец распечатать письмо, было уже темно, а за стеклом плыла все та же стена деревьев. Он отвернулся от окна, вынул из кармана конверт и оборвал его край. Внутри оказался клетчатый листок с аккуратным обрывом, на котором чернели ровные чернильные строки:

«В прошлое время люди часто спорили, существует ли локомотив, который тянет нас за собой в будущее. Бывало, что они делили прошлое на свое и чужое. Но все осталось за спиной: жизнь едет вперед, и они, как видишь, исчезли. А что в высоте? Слепое здание за окном теряется в зыби лет. Нужен ключ, а он у тебя в руках — так как ты его найдешь и кому предъявишь? Едем под стук колес, выходим пост скриптум двери».

Подписи не было. Андрей перечитал письмо, повертел его в пальцах, сложил и сунул назад в конверт. Потом он лег на свой диван, погасил лампочку над подушкой и повернулся к стене.

0

За окном творилось что-то странное — такого Андрей не видел еще никогда. Поезд шел через ночной город по низкой эстакаде, отделенной от улиц железной решеткой. За окном вагона горели бесчисленные огни — фонари на улицах, окна домов, фары автомобилей. Но самым странным было то, что внизу были люди, очень много людей.

Они стояли у решетки эстакады; когда окно, за которым сидел Андрей, проплывало мимо, они начинали махать руками и что-то весело кричать. В городе, похоже, был праздник — все, кого он видел, выглядели до крайности беззаботно.

Наконец Андрею стало тяжело чувствовать на себе такое количество взглядов. Он встал и вышел в коридор. С другой стороны вагона за окнами тянулась обычная темная цепь деревьев, и Андрей почувствовал себя легче. Коридор выглядел как-то странно — пол был покрыт густым слоем пыли, двери всех купе были распахнуты, и в них виднелись голые железные каркасы диванов. Андрей сначала удивился и даже испугался, но вспомнил, что в поезде, кроме него, нет ни одного человека, и успокоился. Ему захотелось перечитать письмо, и он вытащил сложенный вдвое конверт из кармана. Текст, естественно, остался прежним:

ПРОШЛОЕ — ЭТО ЛОКОМОТИВ,
КОТОРЫЙ ТЯНЕТ ЗА СОБОЙ БУДУЩЕЕ.

БЫВАЕТ, ЧТО ЭТО ПРОШЛОЕ ВДОБАВОК ЧУЖОЕ.

ТЫ ЕДЕШЬ СПИНОЙ ВПЕРЕД
И ВИДИШЬ ТОЛЬКО ТО, ЧТО УЖЕ ИСЧЕЗЛО.

А ЧТОБЫ СОЙТИ С ПОЕЗДА, НУЖЕН БИЛЕТ.

ТЫ ДЕРЖИШЬ ЕГО В РУКАХ,
НО КОМУ ТЫ ЕГО ПРЕДЪЯВИШЬ?

Вглядываясь в эти ровные строчки, Андрей повернулся к двери в свое купе, положил ладонь на ручку замка и вдруг заметил в самом низу листа постскриптум, короткую приписку мелким почерком, которой он раньше не заметил — наверно, потому, что она располагалась за линией сгиба.

И в эту же секунду он понял, что не стоит в пустом коридоре поезда, а лежит на диване своего купе и видит сон. Он стал просыпаться, но за тот неуловимый миг, который заняло пробуждение, успел прочесть и запомнить пост-

скриптом, точнее, запомнить слова, которые ему снились, — во сне они имели какой-то совсем другой смысл, который никак нельзя было проташить в обычный мир, но который он успел понять.

Р. С. Все дело в том, что мы постоянно отправляемся в путешествие, которое закончилось за секунду до того, как мы успели выехать.

Андрей включил лампочку над подушкой, достал письмо и перечитал его — никакого постскриптума там не было. На том месте, где он увидел его во сне, было только несколько малозаметных царапин, словно кто-то водил по листу засохшей ручкой, пытаясь ее расписать.

Что-то было не так. Что-то случилось, пока он спал. Андрей поднялся с дивана, помотал головой и вдруг понял, что вокруг стоит оглушительная тишина. Колеса больше не стучали. Он поглядел в окно и увидел неподвижную ветку с большими черными листьями в квадратном пятне света, падавшего из окна. Поезд стоял.

Когда Андрей вышел в коридор, там все было как обычно — горел свет, пахло табаком. Но пол под ногами был совершенно неподвижен, и Андрей заметил, что чуть покачивается, шагая по нему. Дверь в служебное купе была открыта. Андрей заглянул туда и встретился взглядом с проводником, который неподвижно стоял у стола со стаканом чая в руке. Андрей открыл рот, собираясь спросить, что случилось с поездом, но понял, что проводник его не видит. Андрей подумал, что тот спит или впал в какое-то оцепенение, но тут его взгляд упал на стакан в руке проводника — в нем неподвижно висел кусок рафинада, над которым поднималась цепь таких же неподвижных пузырьков.

Он уже знал, что надо делать дальше. Шагнув к проводнику, он осторожно сунул руку в боковой карман его кителя и вынул оттуда ключ.

Выйдя в тамбур, он подошел к двери, сунул ключ в круглую скважину — он вошел неглубоко, потому что

скважина была забита многолетним мусором, — и повернул его. Дверь со скрипом открылась, и на пол посыпались набитые в ее щели окаменелые окурки. Андрей подумал было, что надо вернуться в купе за вещами, но понял, что ни одна из тех вещей, которые остались в его лежащем под диваном чемодане, теперь ему не понадобится. Он встал на край рубчатой железной ступени и поглядел в темноту. Она была бесконечной и тихой; из нее прилетал теплый ветер, полный множества незнакомых запахов.

Андрей прыгнул на насыпь. Как только его ноги ударились о гравий, которым были присыпаны шпалы, сзади раздалось шипение сжатого воздуха, а еще через секунду лязгнули растянувшиеся сочленения между вагонами. Поезд тронулся и стал медленно набирать ход. Андрей отошел на несколько метров в сторону и посмотрел на «Желтую стрелу».

Со стороны она действительно походила на сияющую электрическими огнями стрелу, пущенную неизвестно кем неизвестно куда. Андрей посмотрел в ту точку, откуда появлялись вагоны, а потом в ту, где они исчезали, — с обеих сторон не было видно ничего, кроме темной пустоты.

Он повернулся и пошел прочь. Он не особо думал о том, куда идет, но вскоре под его ногами оказалась асфальтовая дорога, пересекающая широкое поле, а в небе у горизонта появилась светлая полоса. Гроыхание колес за спиной постепенно стихало, и вскоре он стал ясно слышать то, чего не слышал никогда раньше: сухой стрекот в траве, шум ветра и тихий звук собственных шагов.

ЗАТВОРНИК И ШЕСТИПАЛЫЙ

1

— Отвали.

— ?..

— Я же сказал, отвали. Не мешай смотреть.

— А на что это ты смотришь?

— Вот идиот, Господи... Ну, на солнце.

Шестипалый поднял взгляд от черной поверхности почвы, усыпанной едой, опилками и измельченным торфом, и, шурясь, уставился вверх.

— Да... Живем, живем — а зачем? Тайна веков. И разве постиг кто-нибудь тонкую нитевидную сущность светил?

Незнакомец повернул голову и посмотрел на него с безразличным любопытством.

— Шестипалый, — немедленно представился Шестипалый.

— Я Затворник, — ответил незнакомец. — Это у вас так в социуме говорят? Про тонкую нитевидную сущность?

— Уже не у нас, — ответил Шестипалый и вдруг присвистнул. — Вот это да!

— Чего? — подозрительно спросил Затворник.

— Вон, гляди! Новое появилось!

— Ну и что?

— В центре мира так никогда не бывает. Чтобы сразу три светила.

Затворник снисходительно хмыкнул.

— А я в свое время сразу одиннадцать видел. Одно в зените и по пять на каждом эпицикле. Правда, это не здесь было.

— А где? — спросил Шестипалый.

Затворник промолчал. Отвернувшись, он отошел в

сторону, ногой отколупнул от земли кусок еды и стал есть. Дул слабый теплый ветер, два солнца отражались в серо-зеленых плоскостях далекого горизонта, и в этой картине было столько покоя и печали, что задумавшийся Затворник, снова заметив перед собой Шестипалого, даже вздрогнул.

— Снова ты. Ну, чего тебе надо?

— Так. Поговорить хочется.

— Да ведь ты неумен, я полагаю, — ответил Затворник. — Шел бы лучше в социум. А то вон куда забрел. Правда, ступай...

Он махнул рукой в направлении узкой грязно-желтой полоски, которая чуть извивалась и подрагивала, — даже не верилось, что так отсюда выглядит огромная галдящая толпа.

— Я бы пошел, — сказал Шестипалый, — только они меня прогнали.

— Да? Это почему? Политика?

Шестипалый кивнул и почесал одной ногой другую. Затворник взглянул на его ноги и покачал головой.

— Настоящие?

— А то какие же. Они мне так и сказали — у нас сейчас самый, можно сказать, решительный этап приближается, а у тебя на ногах по шесть пальцев... Нашел, говорят, время...

— Какой еще «решительный этап»?

— Не знаю. Лица у всех перекошенные, особенно у Двадцати Ближайших, а больше ничего не поймешь. Бегают, орут.

— А, — сказал Затворник, — понятно. Он, наверно, с каждым часом все отчетливей и отчетливей? А контуры все зримей?

— Точно, — удивился Шестипалый. — А откуда ты знаешь?

— Да я их уже штук пять видел, этих решительных этапов. Только называются по-разному.

— Да ну, — сказал Шестипалый. — Он же впервые происходит.

— Еще бы. Даже интересно было бы посмотреть, как он будет во второй раз происходить. Но мы немного о разном.

Затворник тихо засмеялся, сделал несколько шагов по направлению к далекому социуму, повернулся к нему задом и стал с силой шаркать ногами, так, что за его спиной вскоре повисло целое облако, состоящее из остатков еды, опилок и пыли. При этом он оглядывался, махал руками и что-то бормотал.

— Чего это ты? — с некоторым испугом спросил Шестипалый, когда Затворник, тяжело дыша, вернулся.

— Это жест, — ответил Затворник. — Такая форма искусства. Читаешь стихотворение и производишь соответствующее ему действие.

— А какое ты сейчас прочел стихотворение?

— Такое, — сказал Затворник.

Иногда я грущу,
глядя на тех, кого я покинул.
Иногда я смеюсь,
и тогда между нами
вздывается желтый туман.

— Какое ж это стихотворение, — сказал Шестипалый. — Я, слава Богу, все стихи знаю. Ну, то есть не наизусть, конечно, но все двадцать пять слышал. Такого нет, точно.

Затворник поглядел на него с недоумением, а потом, видно, понял.

— А ты хоть одно помнишь? — спросил он. — Прочти-ка.

— Сейчас. Близнецы... Близнецы... Ну, короче, там мы говорим одно, а подразумеваем другое. А потом опять говорим одно, а подразумеваем другое, только как бы наоборот. Получается очень красиво. В конце концов поднимаем глаза на стену, а там...

— Хватит, — сказал Затворник.

Наступило молчание.

— Слушай, а тебя тоже прогнали? — нарушил его Шестипалый.

— Нет. Это я их всех прогнал.

— Так разве бывает?

— По-всякому бывает, — сказал Затворник, поглядел

на один из небесных объектов и добавил тоном перехода от болтовни к серьезному разговору: — Скоро темно станет.

— Да брось ты, — сказал Шестипалый, — никто не знает, когда темно станет.

— А я вот знаю. Хочешь спать спокойно — делай как я. — И Затворник принялся сгребать кучи разного валяющегося под ногами хлама, опилок и кусков торфа. Постепенно у него получилась огораживающая небольшое пустое пространство стена, довольно высокая, примерно в его рост. Затворник отошел от законченного сооружения, с любовью поглядел на него и сказал: — Вот. Я это называю убежищем души.

— Почему? — спросил Шестипалый.

— Так. Красиво звучит. Ты себе-то будешь строить?

Шестипалый начал ковыряться. У него ничего не выходило — стена обваливалась. По правде сказать, он и не особо старался, потому что ничуть не поверил Затворнику насчет наступления тьмы, — и, когда небесные огни дрогнули и стали медленно гаснуть, а со стороны социума донесся похожий на шум ветра в соломе всенародный вздох ужаса, в его сердце возникло одновременно два сильных чувства: обычный страх перед неожиданно надвинувшейся тьмой и незнакомое прежде преклонение перед кем-то, знающим о мире больше, чем он.

— Так и быть, — сказал Затворник, — прыгай внутрь. Я еще построю.

— Я не умею прыгать, — тихо ответил Шестипалый.

— Тогда привет, — сказал Затворник и вдруг, изо всех сил оттолкнувшись от земли, взмыл вверх и исчез за стеной, после чего все сооружение обрушилось на него, покрыв его равномерным слоем опилок и торфа. Образовавшийся холмик некоторое время подрагивал, потом в его стене возникло маленькое отверстие — Шестипалый еще успел увидеть в нем блестящий глаз Затворника — и наступила окончательная тьма.

Разумеется, Шестипалый, сколько себя помнил, знал все необходимое про ночь. «Это естественный процесс», — говорили одни. «Делом надо заниматься», — считали другие, и таких было большинство. Вообще, от-

тенков мнений было много, но происходило со всеми одно и то же: когда без всяких видимых причин свет гас, после короткой и безнадёжной борьбы с судорогами страха все впадали в оцепенение, а придя в себя (когда светила опять загорались), помнили очень мало. То же самое происходило и с Шестипалым, пока он жил в социуме, а сейчас — потому, наверное, что страх перед наступившей тьмой наложился на равный ему по силе страх перед одиночеством и, следовательно, удвоился, — он не впал в обычную спасительную кому. Вот уже стих далекий народный стон, а он все сидел, съежась, возле холмика и тихо плакал. Видно вокруг ничего не было, и, когда в темноте раздался голос Затворника, Шестипалый от испуга нагадил прямо под себя.

— Слушай, кончай долбить, — сказал Затворник, — спать мешаешь.

— Я не долблю, — тихо отозвался Шестипалый. — Это сердце. Ты б со мной поговорил, а?

— О чем? — спросил Затворник.

— О чем хочешь, только подольше.

— Давай о природе страха?

— Ой, не надо! — запищал Шестипалый.

— Тихо ты! — зашипел Затворник. — Сейчас сюда все крысы сбегутся.

— Какие крысы? Что это? — холодея, спросил Шестипалый.

— Это существа ночи. Хотя на самом деле и дня тоже.

— Не повезло мне в жизни, — прошептал Шестипалый. — Было б у меня пальцев сколько положено, спал бы сейчас со всеми. Господи, страх-то какой... Крысы...

— Слушай, — заговорил Затворник, — вот ты все повторяешь — Господи, Господи... у вас там что, в Бога верят?

— Черт его знает. Что-то такое есть, это точно. А что — никому не известно. Вот, например, почему темно становится? Хотя, конечно, можно и естественными причинами объяснить. А если про Бога думать, то ничего в жизни и не сделаешь...

— А что, интересно, можно сделать в жизни? — спросил Затворник.

— Как что? Чего глупые вопросы задавать — будто сам не знаешь. Каждый, как может, лезет к кормушке. Закон жизни.

— Понятно. А зачем тогда все это?

— Что «это»?

— Ну, вселенная, небо, земля, светила — вообще, все.

— Как зачем? Так уж мир устроен.

— А как он устроен? — с интересом спросил Затворник.

— Так и устроен. Движемся в пространстве и во времени. Согласно законам жизни.

— А куда?

— Откуда я знаю. Тайна веков. От тебя, знаешь, свихнуться можно.

— Это от тебя свихнуться можно. О чем ни заговори, у тебя все или закон жизни, или тайна веков.

— Не нравится, так не говори, — обиженно сказал Шестипалый.

— Да я и не говорил бы. Это ж тебе в темноте молчать страшно.

Шестипалый как-то совершенно забыл об этом. Прислушавшись к своим ощущениям, он вдруг заметил, что не испытывает никакого страха. Это его до такой степени напугало, что он вскочил на ноги и кинулся куда-то вслепую, пока со всего разгона не треснулся головой о невидимую в темноте Стену Мира.

Издалека послышался скрипучий хохот Затворника, и Шестипалый, осторожно переставляя ноги, побрел навстречу этим единственным во всеобщей тьме и безмолвии звукам. Добравшись до холмика, под которым сидел Затворник, он молча улегся рядом и, стараясь не обращать внимания на холод, попытался уснуть. Момент, когда это получилось, он даже не заметил.

2

— Сегодня мы с тобой полезем за Стену Мира, понял? — сказал Затворник.

Шестипалый как раз подбегал к убежищу души. Сама

постройка выходила у него уже почти так же, как у Затворника, а вот прыжок удавался только после длинного разбега, и сейчас он тренировался. Смысл сказанного дошел до него именно тогда, когда надо было прыгать, и в результате он врезался в хлипкое сооружение так, что торф и опилки, вместо того чтобы покрыть все его тело ровным мягким слоем, превратились в наваленную над головой кучу, а ноги потеряли опору и бессильно повисли в пустоте. Затворник помог ему выбраться и повторил:

— Сегодня мы отправимся за Стену Мира.

За последние дни Шестипалый наслушался от него такого, что в душе у него все время что-то поскрипывало и ухало, а былая жизнь в социуме казалась забавной фантазией (а может, пошлым кошмаром — точно он еще не решил), но это уж было слишком.

Затворник между тем продолжал:

— Решительный этап наступает после каждых семидесяти затмений. А вчера было шестьдесят девятое. Миром правят числа.

И он указал на длинную цепь соломинок, торчащих из почвы возле самой Стены Мира.

— Да как же можно лезть за Стену Мира, если это — Стена Мира? Ведь в самом названии... За ней ведь нет ничего...

Шестипалый был до того ошарашен, что даже не обратил внимания на темные мистические объяснения Затворника, от которых у него иначе обязательно испортилось бы настроение.

— Ну и что, — ответил Затворник, — что нет ничего. Нас это должно только радовать.

— А что мы там будем делать?

— Жить.

— А чем нам тут плохо?

— А тем, дурак, что этого «тут» скоро не будет.

— А что будет?

— Вот останься, узнаешь тогда. Ничего не будет.

Шестипалый почувствовал, что полностью потерял уверенность в происходящем.

— Почему ты меня все время пугаешь?

— Да не ной ты, — пробормотал Затворник, озабоченно

вглядываясь в какую-то точку на небе. — За Стеной Мира совсем не плохо. По мне, так гораздо лучше, чем здесь.

Он подошел к остаткам выстроенного Шестипалым убежища души и стал ногами раскидывать их по сторонам.

— Зачем это ты? — спросил Шестипалый.

— Перед тем как покинуть какой-либо мир, надо обобщить опыт своего пребывания в нем, а затем уничтожить все свои следы. Это традиция.

— А кто ее придумал?

— Какая разница. Ну, я. Больше тут, видишь ли, некому. Вот так...

Затворник оглядел результат своего труда — на месте развалившейся постройки теперь было идеально ровное место, ничем не отличающееся от поверхности остальной пустыни.

— Все, — сказал он, — следы я уничтожил. Теперь надо опыт обобщить. Сейчас твоя очередь. Залазь на эту кочку и рассказывай.

Шестипалый почувствовал, что его перехитрили, оставив ему самую тяжелую и, главное, непонятную часть работы. Но после случая с затмением он решил слушаться Затворника. Пожав плечами и оглядевшись — не забрел ли сюда кто из социума, — он залез на кочку.

— Что рассказывать?

— Все, что знаешь о мире.

— Долго ж мы здесь проторчим, — свистнул Шестипалый.

— Не думаю, — сухо отозвался Затворник.

— Значит, так. Наш мир... Ну и идиотский у тебя ритуал...

— Не отвлекайся.

— Наш мир представляет собой правильный восьмиугольник, равномерно и прямолинейно движущийся в пространстве. Здесь мы готовимся к решительному этапу, венцу нашей жизни. Это официальная формулировка, во всяком случае. По периметру мира проходит так называемая Стена Мира, объективно возникшая в результате действия законов жизни. В центре мира находится двухъярусная кормушка-поилка, вокруг которой издавна существует наша цивилизация. Положение члена социума от-

носителем кормушки-поилки определяется его общественной значимостью и заслугами...

— Вот этого я раньше не слышал, — перебил Затворник. — Что это такое — заслуги? И общественная значимость?

— Ну... Как сказать... Это когда кто-то попадает к самой кормушке-поилке.

— А кто к ней попадает?

— Я же говорю, тот, у кого большие заслуги. Или общественная значимость. У меня, например, раньше были так себе заслуги, а теперь вообще никаких. Да ты что, народную модель вселенной не знаешь?

— Не знаю, — сказал Затворник.

— Да ты что?.. А как же ты к решительному этапу готовился?

— Потом расскажу. Давай дальше.

— А уже почти все. Чего там еще-то... За областью социума находится великая пустыня, а кончается все Степной Мира. Возле нее ютятся отщепенцы вроде нас.

— Понятно. Отщепенцы. А бревно откуда взялось? В смысле то, от чего они отщепились?

— Ну ты даешь... Это тебе даже Двадцать Ближайших не скажут. Тайна веков.

— Н-ну, хорошо. А что такое тайна веков?

— Закон жизни, — ответил Шестипалый, стараясь говорить мягко. Ему что-то не нравилось в интонациях Затворника.

— Ладно. А что такое закон жизни?

— Это тайна веков.

— Тайна веков? — переспросил Затворник странно тонким голосом и медленно стал подходить к Шестипалому по дуге.

— Ты чего? Кончай! — испугался Шестипалый. — Это же твой ритуал!

Но Затворник и сам уже взял себя в руки.

— Ладно, — сказал он. — Слезай.

Шестипалый слез с кочки, и Затворник с сосредоточенным и серьезным видом залез на его место. Некоторое время он молчал, словно прислушиваясь к чему-то, а потом поднял голову и заговорил.

— Я пришел сюда из другого мира, — сказал он, — в дни, когда ты был еще совсем мал. А в тот, другой мир я пришел из третьего, и так далее. Всего я был в пяти мирах. Они такие же, как этот, и практически ничем не отличаются друг от друга. А вселенная, где мы находимся, представляет собой огромное замкнутое пространство. На языке богов она называется «Бройлерный комбинат имени Луначарского», но что это означает, неизвестно даже им самим.

— Ты знаешь язык богов? — изумленно спросил Шестипалый.

— Немного. Не перебивай. Всего во вселенной есть семьдесят миров. В одном из них мы сейчас находимся. Эти миры прикреплены к безмерной черной ленте, которая медленно движется по кругу. А над ней, на поверхности неба, находятся сотни одинаковых светил. Так что это не они плывут над нами, а мы проплываем под ними. Попробуй представить себе это.

Шестипалый закрыл глаза. На его лице изобразилось напряжение.

— Нет, не могу, — наконец сказал он.

— Ладно, — сказал Затворник, — слушай дальше. Все семьдесят миров, которые есть во вселенной, называются Целью Миров. Во всяком случае, их вполне можно так назвать. В каждом из миров есть жизнь, но она не существует там постоянно, а циклически возникает и исчезает. Решительный этап происходит в центре вселенной, через который по очереди проходят все миры. На языке богов он называется Цехом номер один. Наш мир как раз находится в его преддверии. Когда завершается решительный этап и обновленный мир выходит с другой стороны Цеха номер один, все начинается сначала. Возникает жизнь, проходит цикл и через положенный срок опять возвращается в Цех номер один.

— Откуда ты все это знаешь? — тихим голосом спросил Шестипалый.

— Я много путешествовал, — сказал Затворник, — и по крупницам собирал тайные знания. В одном мире было известно одно, в другом — другое.

— Может быть, ты знаешь, откуда мы беремся?

— Знаю. А что про это говорят в вашем мире?

— Что это объективная данность. Закон жизни такой.

— Понятно. Ты спрашиваешь про одну из глубочайших тайн мироздания, и я даже не знаю, можно ли тебе ее доверить. Но поскольку, кроме тебя, все равно никому, я, пожалуй, скажу. Мы появляемся на свет из белых шаров. На самом деле они не совсем шары, а несколько вытянуты и один конец у них уже другого, но сейчас это не важно.

— Шары. Белые шары, — повторил Шестипалый и, как стоял, повалился на землю. Груз узнанного навалился на него физической тяжестью, и на секунду ему показалось, что он умрет. Затворник подскочил к нему и из всех сил начал трясти. Постепенно к Шестипалому вернулась ясность сознания.

— Что с тобой? — испуганно спросил Затворник.

— Ой, я вспомнил. Точно. Раньше мы были белыми шарами и лежали на длинных полках. В этом месте было очень тепло и влажно. А потом мы стали изнутри ломать эти шары и... Откуда-то снизу подкатил наш мир, а потом мы уже были в нем... Но почему этого никто не помнит?

— Есть миры, в которых это помнят, — сказал Затворник. — Подумаешь, пятая и шестая перинатальные матрицы. Не так уж глубоко, и к тому же только часть истины. Но все равно — тех, что это помнит, прячут подальше, чтобы они не мешали готовиться к решительному этапу, или как он там называется. Везде по-разному. У нас, например, назывался завершением строительства, хотя никто ничего не строил.

Видимо, воспоминание о своем мире повергло Затворника в печаль. Он замолчал.

— Слушай, — спросил через некоторое время Шестипалый, — откуда берутся эти белые шары?

Затворник одобрительно поглядел на него.

— Мне понадобилось куда больше времени, чтобы в моей душе созрел этот вопрос, — сказал он. — Но здесь все намного сложнее. В одной древней легенде говорится, что эти яйца появляются из нас, но это вполне может быть и метафорой...

— Из нас? Непонятно. Где ты это слышал?

— Да сам сочинил. Тут разве услышишь что-нибудь, — сказал Затворник с неожиданной тоской в голосе.

— Ты же сказал, что это древняя легенда.

— Правильно. Просто я ее сочинил как древнюю легенду.

— Как это? Зачем?

— Понимаешь, один древний мудрец, можно сказать — пророк (на этот раз Шестипалый догадался, о ком идет речь) сказал, что не так важно то, что сказано, как то, кем сказано. Часть смысла того, что я хотел выразить, заключена в том, что мои слова выступают в качестве древней легенды. Впрочем, где тебе понять...

Затворник глянул на небо и перебил себя:

— Все. Пора идти.

— Куда?

— В социум.

Шестипалый вытаращил глаза.

— Мы же собирались лезть через Стену Мира. Зачем нам социум?

— А ты хоть знаешь, что такое социум? — спросил Затворник. — Это и есть приспособление для перелезания через Стену Мира.

3

Шестипалый, несмотря на полное отсутствие в пустыне предметов, за которыми можно было бы спрятаться, шел почему-то крадучись, и чем ближе становился социум, тем более преступной становилась его походка. Постепенно огромная толпа, казавшаяся издали огромным шевелящимся существом, распадалась на отдельные тела, и даже можно было разглядеть удивленные гримасы тех, кто замечал приближающихся.

— Главное, — шепотом повторял Затворник последнюю инструкцию, — води себя наглее. Но не слишком нагло. Мы непременно должны их разозлить — но не до такой степени, чтобы нас разорвали в клочья. Короче, все время смотри, что буду делать я.

— Шестипалый приперся! — весело закричал кто-то впереди. — Здорово, сволочь! Эй, Шестипалый, кто это с тобой?

Этот бестолковый выкрик неожиданно — и совершенно непонятно почему — вызвал в Шестипалом целую волну ностальгических воспоминаний о детстве. Затворник, шедший чуть сзади, словно почувствовал это и пихнул Шестипалого в спину.

У самой границы социума народ стоял редко — тут жили в основном калеки и созерцатели, не любившие тесноты, — их нетрудно было обходить. Но чем дальше, тем плотнее стояла толпа, и уже очень скоро Затворник с Шестипалым оказались в невыносимой тесноте. Двигаться вперед было еще можно, но только переругиваясь со стоящими по бокам. А когда над головами тех, кто был впереди, показалась мелко трясущаяся крыша кормушки-поилки, уже ни шагу вперед сделать было нельзя.

— Всегда поражался, — тихо сказал Шестипалому Затворник, — как здесь все мудро устроено. Те, кто стоит близко к кормушке-поилке, счастливы в основном потому, что все время помнят о желающих попасть на их место. А те, кто всю жизнь ждет, когда между стоящими впереди появится щелочка, счастливы потому, что им есть на что надеяться в жизни. Это ведь и есть гармония и единство.

— Что ж, не нравится? — спросил сбоку чей-то голос.

— Не, не нравится, — ответил Затворник.

— А что конкретно не нравится?

— Да все.

И Затворник широким жестом обвел толпу вокруг, величественный купол кормушки-поилки, мерцающие желтыми огнями небеса и далекую, еле видную отсюда Стену Мира.

— Понятно. И где, по-вашему, лучше?

— В том-то и трагедия, что нигде! В том-то и дело! — страдальчески выкрикнул Затворник. — Было бы где лучше, неужели я б с вами тут о жизни беседовал?

— И товарищ ваш таких же взглядов? — спросил голос. — Чего он в землю-то смотрит?

Шестипалый поднял глаза — до этого он глядел себе

под ноги, потому что это позволяло минимально участвовать в происходящем, — и увидел обладателя голоса. У того было обрюзгшее раскормленное лицо, и, когда он говорил, становились отчетливо видны анатомические подробности его гортани. Шестипалый сразу понял, что перед ним — один из Двадцати Ближайших, самая что ни на есть совесть эпохи. Видно, перед их приходом он проводил здесь разъяснения, как это иногда практиковалось.

— Это вы оттого такие невеселые, ребята, — неожиданно дружелюбно сказал тот, — что не готовитесь вместе со всеми к решительному этапу. Тогда у вас на эти мысли времени бы не было. Мне самому такое иногда в голову приходит, что... И, знаете, работа спасает.

И на той же интонации добавил:

— Взять их.

По толпе прошло движение, и Затворник с Шестипалым оказались немедленно стиснутыми со всех четырех сторон.

— Да плевали мы на вас, — также дружелюбно сказал Затворник. — Куда вы нас возьмете? Некуда вам нас взять. Ну, прогоните еще раз. Через Стену Мира, как говорится, не перебросишь...

Тут на лице Затворника изобразилось смятение, а толстолицый высоко поднял веки — их глаза встретились.

— А ведь интересная идея. Такого у нас еще не было. Конечно, такая пословица есть, но воля народа сильнее.

Видимо, эта мысль восхитила его. Он повернулся и скомандовал:

— Внимание! Строимся! Сейчас у нас будет нечто незапланированное.

Прошло не так уж много времени между моментом, когда толстолицый скомандовал построение, и моментом, когда процессия, в центре которой вели Затворника и Шестипалого, приблизилась к Стене Мира.

Процессия была впечатляющей. Первым в ней шел толстолицый, за ним — двое назначенных старушками-матерями (никто, включая толстолицего, не знал, что это такое, — просто была такая традиция), которые сквозь слезы выкрикивали обидные слова Затворнику и Шестипалому, оплакивая и проклиная их одновременно,

затем вели самих преступников, и замыкала шествие толпа народной массы.

— Итак, — сказал толстолицый, когда процессия остановилась, — пришел пугающий миг воздаяния. Я думаю, ребята, что все мы зажмуримся, когда два эти отщепенца исчезнут в небытии, не так ли? И пусть это волнующее событие послужит страшным уроком всем нам, народу. Громче рыдайте, матери!

Старушки-матери повалились на землю и залились таким горестным плачем, что многие из присутствующих тоже начали отворачиваться и сглатывать; но, извиваясь в забрызганной слезами пыли, матери иногда вдруг вскакивали и, сверкая глазами, бросали Затворнику и Шестипалому неопровержимые ужасные обвинения, после чего обессиленно падали назад.

— Итак, — сказал через некоторое время толстолицый, — раскаялись ли вы? Устыдили ли вас слезы матерей?

— Еще бы, — ответил Затворник, озабоченно наблюдавший то за церемонией, то за какими-то небесными телами, — а как вы нас перебрасывать хотите?

Толстолицый задумался. Старушки-матери тоже замолчали, потом одна из них поднялась из пыли, отряхнулась и сказала:

— Насыпь?

— Насыпь, — сказал Затворник, — это затмений пять займет. А нам уже давно не терпится спрятать наш разоблаченный позор в пустоте.

Толстолицый, прищурившись, глянул на Затворника и одобрительно кивнул.

— Понимают, — сказал он кому-то из своих, — только притворяются. Спроси, может, они сами что предложат?

Через несколько минут почти до самого края Стены Мира поднялась живая пирамида. Те, кто стоял наверху, зажмурились и прятали лица, чтобы, не дай Бог, не заглянуть туда, где все кончается.

— Наверх, — скомандовал кто-то Затворнику и Шестипалому, и они, поддерживая друг друга, пошли по шаткой веренице плеч и спин к терявшемуся в высоте краю стены.

С высоты был виден весь притихший социум, внимательно следивший издали за происходящим, были видны некоторые незаметные до этого детали неба и толстый шланг, спускавшийся к кормушке-поилке из бесконечности, — отсюда он казался не таким величественным, как с земли. Легко, будто на кочку, вспрыгнув на край Стены Мира, Затворник помог Шестипалому сесть рядом и закричал вниз:

— Порядок!

От его крика кто-то в живой пирамиде потерял равновесие, она несколько раз покачнулась и развалилась — все попадали вниз, под основание стены, но никто, слава Богу, не пострадал.

Вцепившись в холодную жуть борта, Шестипалый вглядывался в крохотные задранные лица, в унылые серо-коричневые пространства своей родины; глядел на тот ее угол, где на Стене Мира было большое зеленое пятно и где прошло его детство. «Я больше никогда этого не увижу», — подумал он, и, хоть особого желания увидеть все это когда-нибудь еще у него не было, горло все равно сводило. Он прижимал к боку маленький кусочек земли с прилипшей соломинкой и размышлял о том, как быстро и необратимо меняется все в его жизни.

— Прощайте, сыновья! — закричали снизу старушки-матери, земно поклонились и принялись, рыдая, швырять вверх тяжелые куски торфа.

Затворник приподнялся на цыпочки и громко закричал:

Знал я всегда,
что покину
этот безжалостный мир...

Тут в него угодил большой кусок торфа, и он, растопыря руки и ноги, полетел вниз. Шестипалый последний раз оглядел все оставшееся внизу и заметил, что кто-то из далекой толпы прощально машет ему, — тогда он помахал в ответ. Потом он зажмурился и шагнул назад.

Несколько секунд он беспорядочно крутился в пустоте, а потом вдруг больно ударился обо что-то твердое и

открыл глаза. Он лежал на черной блестящей поверхности из незнакомого материала; вверх уходила Стена Мира — точно такая же, как если смотреть на нее с той стороны, а рядом с ним, вытянув руку к стене, стоял Затворник. Он договаривал свое стихотворение:

Но что так это будет,
не думал...

Потом он повернулся к Шестипалому и коротким жестом велел ему встать на ноги.

4

Теперь, когда они шли по гигантской черной ленте, Шестипалый видел, что Затворник сказал ему правду. Действительно, мир, который они покинули, медленно двигался вместе с этой лентой относительно других неподвижных космических объектов, природы которых Шестипалый не понимал, а светила были неподвижными — стоило сойти с черной ленты, и все делалось ясно. Сейчас оставленный ими мир медленно подъезжал к зеленым стальным воротам, под которые уходила лента. Затворник сказал, что это и есть вход в Цех номер один. Странно, но Шестипалый совершенно не был поражен величию заполняющих вселенную объектов — наоборот, в нем, скорее, проснулось чувство легкого раздражения. «И это все?» — брезгливо думал он. Вдали были видны два мира, подобных тому, который они оставили, — они тоже двигались вместе с черной лентой и выглядели отсюда довольно убого. Сначала Шестипалый думал, что они с Затворником направляются к другому миру, но на полпути Затворник вдруг велел ему прыгать с неподвижного бордюра вдоль ленты, по которому они шли, вниз, в темную бездонную щель.

— Там мягко, — сказал он Шестипалому, но тот шагнул назад и отрицательно покачал головой. Тогда Затворник молча прыгнул вниз, и Шестипалому ничего не оставалось, как последовать за ним.

На этот раз он чуть не расшибся о холодную каменную поверхность, выложенную большими коричневыми плитами. Эти плиты тянулись до горизонта, и Шестипалый первый раз в жизни понял, что означает слово «бесконечность».

— Что это? — спросил Шестипалый.

— Кафель, — ответил Затворник непонятным словом и сменил тему: — Скоро начнется ночь, а нам надо дойти вон до тех мест. Часть дороги придется пройти в темноте.

Затворник выглядел всерьез озабоченным. Шестипалый поглядел вдаль и увидел далекие кубические скалы нежно-желтого цвета (Затворник сказал, что они называются «ящички») — их было очень много, и между ними виднелись пустые пространства, усыпанные горами светлой стружки. Издали все это походило на пейзаж из забытого детского сна.

— Пошли, — сказал Затворник и быстрым шагом двинулся вперед.

— Слушай, — спросил Шестипалый, скользя по кафелю рядом, — а как ты узнаешь, когда наступит ночь?

— По часам, — ответил Затворник. — Это одно из небесных тел. Сейчас оно справа и наверху — вот тот диск с черными зигзагами.

Шестипалый посмотрел на довольно знакомую, хоть и не привлекавшую никогда его особого внимания деталь небесного свода.

— Когда часть этих черных линий приходит в особое положение, о котором я расскажу тебе как-нибудь потом, свет гаснет, — сказал Затворник. — Это случится вот-вот. Считай до десяти.

— Раз, два, — начал Шестипалый, и вдруг стало темно.

— Не отставай от меня, — сказал Затворник, — потеряешься.

Он мог бы этого не говорить — Шестипалый чуть не наступал ему на пятки. Единственным источником света во вселенной остался косой желтый луч, падавший из-под зеленых ворот Цеха номер один. Место, куда направлялись Затворник с Шестипалым, находилось совсем недалеко от этих ворот, но, по уверениям Затворника, было самым безопасным.

Видна осталась только далекая желтая полоса под воротами да несколько плит вокруг. Шестипалый впал в странное состояние. Ему стало казаться, что темнота сжимает их с Затворником так же, как недавно сжимала толпа. Отовсюду исходила опасность, и Шестипалый ощущал ее всей кожей как дующий со всех сторон одновременно сквозняк. Когда становилось совсем неведомо от страха, он поднимал взгляд с наплывающих кафельных плит на яркую полосу света впереди, и тогда вспоминался социум, который издалека выглядел почти так же. Ему представлялось, что они идут в царство каких-то огненных духов, и он уже собирался сказать об этом Затворнику, когда тот вдруг остановился и поднял руку.

— Тихо, — сказал он, — крысы. Справа от нас.

Бежать было некуда — вокруг во все стороны простиралось одинаковое кафельное пространство, а полоса впереди была еще слишком далеко. Затворник повернулся вправо и принял странную позу, велел Шестипалому спрятаться за его спиной, что тот и выполнил с удивительной скоростью и охотой.

Сначала он ничего не замечал, а потом ощутил скорее, чем увидел, движение большого быстрого тела в темноте. Оно остановилось точно на границе видимости.

— Она ждет, — тихо сказал Затворник, — как мы поступим дальше. Стоит нам сделать хоть шаг, и она кинется на нас.

— Ага, кинусь, — сказала крыса, выходя из темноты. — Как комок зла и ярости. Как истинное порождение ночи.

— Ух, — вздохнул Затворник. — Одноглазка. А я уж думал, что мы правда влипли. Знакомьтесь.

Шестипалый недоверчиво поглядел на умную коническую морду с длинными усами и двумя черными бусинками глаз.

— Одноглазка, — сказала крыса и вильнула неприлично голым хвостом.

— Шестипалый, — представился Шестипалый и спросил: — А почему ты Одноглазка, если у тебя оба глаза в порядке?

— А у меня третий глаз раскрыт, — сказала Одноглаз-

ка, — а он один. В каком-то смысле все, у кого третий глаз раскрыт, одноглазые.

— А что такое... — начал Шестипалый, но Затворник не дал ему договорить.

— Не пройтись ли нам, — галантно предложил он Одноглазке, — вон до тех ящиков? Ночная дорога скучна, если рядом нет собеседника.

Шестипалый очень обиделся.

— Пойдем, — согласилась Одноглазка и, повернувшись к Шестипалому боком (только теперь он разглядел ее огромное мускулистое тело), затрусила рядом с Затворником, которому, чтобы поспеть, приходилось идти очень быстро. Шестипалый бежал сзади, поглядывая на лапы Одноглазки и перекатывающиеся под ее шкурой мышцы, думал о том, чем могла бы закончиться эта встреча, не окажется Одноглазка знакомой Затворника, и изо всех сил старался не наступить ей на хвост. Судя по тому, как быстро их беседа стала походить на продолжение какого-то давнего разговора, они были старыми приятелями.

— Свобода? Господи, да что это такое? — спрашивала Одноглазка и смеялась. — Это когда ты в смятении и одиночестве бегаешь по всему комбинату, в десятый или в какой там уже раз увернувшись от ножа? Это и есть свобода?

— Ты опять все подменяешь, — отвечал Затворник. — Это только поиски свободы. Я никогда не соглашусь с той inferнальной картиной мира, в которую ты веришь. Наверное, это у тебя оттого, что ты чувствуешь себя чужой в этой вселенной, созданной для нас.

— А крысы верят, что она создана для нас. Я это не к тому, что я согласна с ними. Прав, конечно, ты, но только не до конца и не в самом главном. Ты говоришь, что эта вселенная создана для вас? Нет, она создана из-за вас, но не для вас. Понимаешь?

Затворник опустил голову и некоторое время шел молча.

— Ладно, — сказала Одноглазка. — Я ведь попрощаться. Правда, думала, что ты появишься чуть позже, — но все-таки встретились. Завтра я ухожу.

— Куда?

— За границы всего, о чем только можно говорить. Одна из старых нор вывела меня в пустую бетонную трубу, которая уходит так далеко, что об этом даже трудно подумать. Я встретила там несколько крыс — они говорят, что эта труба уходит все глубже и глубже и там, далеко внизу, выводит в другую вселенную, где живут только самцы богов в одинаковой зеленой одежде. Они совершают сложные манипуляции вокруг огромных идолов, стоящих в гигантских шахтах.

Одноглазка притормозила.

— Отсюда мне направо, — сказала она. — Так вот, еда там такая — не расскажешь. А эта вселенная могла бы поместиться в одной тамошней шахте. Слушай, а хочешь со мной?

— Нет, — ответил Затворник, — вниз — это не наш путь.

Кажется, в первый раз за все время разговора он вспомнил о Шестипалом.

— Ну что ж, — сказала Одноглазка, — тогда я хочу пожелать тебе успеха на твоем пути, каким бы он ни был. Прощай.

Одноглазка кивнула Шестипалому и исчезла в темноте так же мгновенно, как раньше появилась.

Остаток пути Затворник и Шестипалый прошли молча. Добравшись до ящиков, они пересекли несколько гор стружки и наконец достигли цели. Это была слабо озаренная светом из-под ворот Цеха номер один ямка в стружках, в которой лежала куча мягких и длинных тряпок. Рядом, у стены, возвышалась огромная ребристая конструкция, про которую Затворник сказал, что когда-то она излучала так много тепла, что к ней трудно было даже приблизиться. Затворник был в заметно плохом настроении. Он копошился в тряпках, устраиваясь на ночь, и Шестипалый решил не приставать к нему с разговорами, тем более что сам хотел спать. Кое-как завернувшись в тряпки, он забылся.

Разбудило его далекое скрежетание, стук стали по дереву и крики, полные такой невыразимой безнадежности, что он сразу кинулся к Затворнику.

— Что это?

— Твой мир проходит через решительный этап, — ответил Затворник.

— ???

— Смерть пришла, — просто сказал Затворник, отвернувшись, натянул на себя тряпку и уснул.

5

Проснувшись, Затворник поглядел на трясущегося в углу заплаканного Шестипалого, хмыкнул и стал рыться в тряпках. Скоро он достал оттуда штук десять одинаковых железных предметов, похожих на обрезки толстой шестигранной трубы.

— Гляди, — сказал он Шестипалому.

— Что это? — спросил тот.

— Боги называют их гайками.

Шестипалый собирался было спросить что-то еще, но вдруг махнул рукой и опять заревел.

— Да что с тобой? — спросил Затворник.

— Все умерли, — бормотал Шестипалый, — все-все...

— Ну и что, — сказал Затворник. — Ты тоже умрешь. И уж уверяю тебя, что ты и они будете мертвыми одинаково долго.

— Все равно жалко.

— Кого именно? Старушку-мать, что ли?

— Помнишь, как нас сбрасывали со стены? — спросил Шестипалый. — Всем было велено зажмуриться. А я помахал им рукой, и тогда кто-то помахал мне в ответ. И вот когда я думаю, что он тоже умер... И что вместе с ним умерло то, что заставляло его так поступить...

— Да, — сказал Затворник, — это действительно очень печально.

И наступила тишина, нарушаемая только механическими звуками из-за зеленых ворот, за которые уплыла родина Шестипалого.

— Слушай, — спросил, наплакавшись, Шестипалый, — а что бывает после смерти?

— Трудно сказать, — ответил Затворник. — У меня

было множество видений на этот счет, но я не знаю, насколько на них можно полагаться.

— Расскажи, а?

— После смерти нас, как правило, ввергают в ад. Я насчитал не меньше пятидесяти разновидностей того, что там происходит. Иногда мертвых рассекают на части и жарят на огромных сковородах. Иногда запекают целиком в железных комнатах со стеклянной дверью, где пылает синее пламя или излучают жар добела раскаленные металлические столбы. Иногда нас варят в гигантских разноцветных кастрюлях. А иногда, наоборот, замораживают в кусок льда. В общем, мало утешительного.

— А кто это делает, а?

— Как кто? Боги.

— Зачем им это?

— Видишь ли, мы являемся их пищей.

Шестипалый вздрогнул, а потом внимательно поглядел на свои дрожащие коленки.

— Больше всего они любят именно ноги, — заметил Затворник. — Ну и руки тоже. Именно о руках я с тобой и собираюсь поговорить. Подними их.

Шестипалый вытянул перед собой руки — тонкие, бессильные, они выглядели довольно жалко.

— Когда-то они служили нам для полета, — сказал Затворник, — но потом все изменилось.

— А что такое полет?

— Точно этого не знает никто. Единственное, что известно, — это то, что надо иметь сильные руки. Гораздо сильнее, чем у тебя или даже у меня. Поэтому я хочу научить тебя одному упражнению. Возьми две гайки.

Шестипалый с трудом подтащил два тяжелых предмета к ногам Затворника.

— Вот так. Теперь просунь концы рук в отверстия.

Шестипалый сделал и это.

— А теперь поднимай и опускай руки вверх-вниз... Вот так.

Через минуту Шестипалый устал до такой степени, что не мог сделать больше ни одного маха, как ни старался.

— Все, — сказал он, опустил руки, и гайки повалились на пол.

— Теперь посмотри, как делаю я, — сказал Затворник и надел на каждую руку по пять гаек. Несколько минут он продержал руки разведенными в стороны и, казалось, совершенно не устал. — Ну как?

— Здорово, — выдохнул Шестипалый. — А почему ты держишь их неподвижно?

— С какого-то момента в этом упражнении появляется одна трудность. Потом ты поймешь, что я имею в виду, — ответил Затворник.

— А ты уверен, что так можно научиться летать?

— Нет. Не уверен. Наоборот, я подозреваю, что это бесполезное занятие.

— А зачем тогда оно нужно? Если ты сам знаешь, что это бесполезно?

— Как тебе сказать. Потому что, кроме этого, я знаю еще много других вещей, и одна из них вот такая — если ты оказался в темноте и видишь хотя бы самый слабый луч света, ты должен идти к нему, вместо того чтобы рассуждать, имеет смысл это делать или нет. Может, это действительно не имеет смысла. Но просто сидеть в темноте не имеет смысла в любом случае. Понимаешь, в чем разница?

Шестипалый промолчал.

— Мы живы до тех пор, пока у нас есть надежда, — сказал Затворник. — А если ты ее потерял, ни в коем случае не позволяй себе догадаться об этом. И тогда что-то может измениться. Но всерьез надеяться на это ни в коем случае не надо.

Шестипалый почувствовал некоторое раздражение.

— Все это замечательно, — сказал он, — но что это значит реально?

— Реально для тебя это значит, что ты каждый день будешь заниматься с этими гайками, пока не будешь делать так же, как я.

— Неужели нет какого-нибудь другого занятия? — спросил Шестипалый.

— Есть, — ответил Затворник. — Можно готовиться к решительному этапу. Но этим тебе придется заняться одному.

— Слушай, Затворник, ты все знаешь — что такое любовь?

— Интересно, где ты услышал это слово? — спросил Затворник.

— Да когда меня выгоняли из социума, кто-то спросил, люблю ли я что положено. Я сказал, что не знаю.

— Понятно. Я тебе вряд ли объясню. Это можно только на примере. Вот представь себе, что ты упал в воду и тонешь. Представил?

— Угу.

— А теперь представь, что ты на секунду высунул голову, увидел свет, глотнул воздуха и что-то коснулось твоих рук. И ты за это схватился и держишься. Так вот, если считать, что всю жизнь тонешь — а так это и есть, — то любовь — это то, что помогает тебе удерживать голову над водой.

— Это ты про любовь к тому, что положено?

— Не важно. Хотя, в общем, то, что положено, можно любить и под водой. Что угодно. Какая разница, за что хвататься, — лишь бы это выдержало. Хуже всего, если это кто-то другой, — он, видишь ли, всегда может отдернуть руку. А если сказать коротко, любовь — это то, из-за чего каждый находится там, где он находится. Исключая, пожалуй, мертвых... Хотя...

— По-моему, я никогда ничего не любил, — перебил Шестипалый.

— Нет, с тобой это тоже случалось. Помнишь, как ты проревел полдня, думая о том, кто помахал тебе в ответ, когда нас сбрасывали со стены? Вот это и была любовь. Ты ведь не знаешь, почему он это сделал. Может, он считал, что издевается над тобой куда тоньше других. Мне лично кажется, что так оно и было. Так что ты вел себя очень глупо, но совершенно правильно. Любовь придает смысл тому, что мы делаем, хотя на самом деле этого смысла нет.

— Так что, любовь нас обманывает? Это что-то вроде сна?

— Нет. Любовь — это что-то вроде любви, а сон —

это сон. Все, что ты делаешь, ты делаешь только из-за любви. Иначе ты просто сидел бы на земле и выл от ужаса. Или отвращения.

— Но ведь многие делают то, что делают, совсем не из-за любви.

— Брось. Они ничего не делают.

— А ты что-нибудь любишь, Затворник?

— Люблю.

— А что?

— Не знаю. Что-то такое, что иногда приходит ко мне. Иногда это какая-нибудь мысль, иногда гайки, иногда сны. Главное, что я всегда это узнаю, какой бы вид оно ни принимало, и встречаю его тем лучшим, что во мне есть.

— Чем?

— Тем, что становлюсь спокоен.

— А все остальное время ты беспокоишься?

— Нет. Я всегда спокоен. Просто это лучшее, что во мне есть, и, когда то, что я люблю, приходит ко мне, я встречаю его своим спокойствием.

— А как ты думаешь, что лучшее во мне?

— В тебе? Пожалуй, это когда ты молчишь где-нибудь в углу и тебя не видно.

— Правда?

— Не знаю. Если серьезно, ты можешь узнать, что лучшее в тебе, по тому, чем ты встречаешь то, что полюбил. Что ты чувствовал, думая о том, кто помахал тебе рукой?

— Печаль.

— Ну вот, значит, лучшее в тебе — твоя печаль, и ты всегда будешь встречать ею то, что любишь.

Затворник оглянулся и к чему-то прислушался.

— Хочешь на богов поглядеть? — неожиданно спросил он.

— Только, пожалуйста, не сейчас, — испуганно ответил Шестипалый.

— Не бойся. Они тупые и совсем не страшные. Ну гляди же, вон они.

По проходу мимо конвейера быстро шли два огромных существа — они были так велики, что их головы терялись в полумраке где-то под потолком. За ними шагало еще

одно похожее существо, только пониже и потолще, — оно несло в руке сосуд в виде усеченного конуса, обращенного узкой частью к земле. Двое первых остановились недалеко от того места, где сидели Затворник с Шестипалым, и стали издавать низкие рокочущие звуки («Говорят», — догадался Шестипалый), а третье существо подошло к стене, поставило сосуд на пол, обмакнуло туда шест с щетиной на конце и провело по грязно-серой стене свежую грязно-серую линию. Запахло чем-то странным.

— Слушай, — еле слышно прошептал Шестипалый, — а ты говорил, что ты знаешь их язык. Что они говорят?

— Эти двое? Сейчас. Первый говорит: «Я выжрать хочу». А второй говорит: «Ты больше к Дуньке не подходи».

— А что такое Дунька?

— Область мира такая.

— А... А что первый хочет выжрать?

— Дуньку, наверно, — подумав, ответил Затворник.

— А как он выжрет область мира?

— На то они и боги.

— А эта, толстая, что она говорит?

— Она не говорит, а поет. О том, что после смерти хочет стать ивою. Моя любимая божественная песня, кстати. Жаль только, я не знаю, что такое ива.

— А разве боги умирают?

— Еще бы. Это их основное занятие.

Двое пошли дальше. «Какое величие!» — потрясенно подумал Шестипалый. Тяжелые шаги богов и их низкие голоса стихли; наступила тишина. Сквозняк крутил пыль над кафельными плитами пола, и Шестипалому казалось, что он смотрит с невообразимо высокой горы на раскинувшуюся внизу странную каменную пустыню, над которой миллионы лет происходит одно и то же: несется ветер и в нем летят остатки чьих-то жизней, выглядящих издалека соломинками, бумажками, щепками или еще как-то. «Когда-нибудь, — думал Шестипалый, — кто-то другой будет смотреть отсюда вниз и подумает обо мне, не зная сам, что думает обо мне. Так же, как я сейчас думаю о ком-то, кто чувствовал то же самое, что я, только

Бог весть когда. В каждом дне есть точка, которая скрепляет его с прошлым и будущим. До чего же печален этот мир...»

— Но в нем есть что-то такое, что оправдывает самую грустную жизнь, — сказал вдруг Затворник.

«Стать бы после сме-е-е-рти и-и-вою», — протяжно и тихо пела тодстая богиня у ведра с краской; Шестипалый, положив голову на локоть, испытывал печаль, а Затворник был совершенно спокоен и глядел в пустоту, словно поверх тысяч невидимых голов.

7

За то время, пока Шестипалый занимался с гайками, целых десять миров ушло в Цех номер один. Что-то скрипело и постукивало за зелеными воротами, что-то происходило там, и Шестипалый, только подумав об этом, покрывался холодным потом и начинал трястись — но именно это и придавало ему силы. Его руки заметно удлинились и усилились — теперь они были такими же, как у Затворника. Но пока это ни к чему не привело. Единственное, что знал Затворник, — это то, что полет осуществляется с помощью рук, а что он собой представляет, было неясно. Затворник считал, что это особый способ мгновенного перемещения в пространстве, при котором нужно представить себе то место, куда хочешь попасть, а потом дать рукам мысленную команду перенести туда все тело. Целые дни он проводил в созерцании, пытаясь перенестись хоть на несколько шагов, но ничего не выходило.

— Наверно, — говорил он Шестипалому, — наши руки еще недостаточно сильны. Надо продолжать.

Однажды, когда Затворник и Шестипалый, сидя в куче тряпок между ящиками, вглядывались в сущность вещей, случилось крайне неприятное событие. Вокруг стало чуть темнее, и, когда Шестипалый открыл глаза, перед ним маячило огромное небритое лицо какого-то бога.

— Ишь куда забрались, — сказала оно, а затем огромные грязные руки схватили Затворника и Шестипалого,

вытащили из-за ящиков, с невероятной скоростью перенесли через огромное пространство и бросили в один из миров, уже не очень далеких от Цеха номер один. Сначала Затворник и Шестипалый отнеслись к этому спокойно и даже с некоторой иронией — они устроились возле Стены Мира и принялись готовить себе убежища души, — но бог вдруг вернулся, вытащил Шестипалого, поглядел на него внимательно, удивленно чмокнул губами, а потом обмотал ему ногу куском липкой синей ленты и кинул его обратно. Через несколько минут подошло сразу несколько богов — они достали Шестипалого и принялись его рассматривать по очереди, издавая возгласы восторга.

— Не нравится мне это, — сказал Затворник, когда боги наконец вернули Шестипалого на место и ушли, — плохо дело.

— По-моему, тоже, — ответил перепуганный Шестипалый. — Может, лучше снять эту дрянь?

И он показал на синюю ленту, обмотанную вокруг его ноги.

— Лучше пока не снимай, — сказал Затворник.

Некоторое время они мрачно молчали, а потом Шестипалый сказал:

— Это все из-за шести пальцев. Ну убежим мы отсюда — так ведь они нас теперь искать будут. Про ящики они знают. А где-нибудь еще можно спрятаться?

Затворник помрачнел еще больше, а вместо ответа предложил сходить в здешний социум, чтобы развеяться.

Но оказалось, что со стороны далекой кормушки-поилки к ним уже движется целая депутация. Судя по тому, что, не дойдя шагов двадцать до Затворника и Шестипалого, идущие им навстречу повалились наземь и дальше стали двигаться ползком, у них были серьезные намерения. Затворник велел Шестипалому отойти назад и пошел выяснять, в чем дело. Вернувшись, он сказал:

— Такого я действительно никогда не видел. Они, видимо, очень набожны. Во всяком случае, они видели, как ты общаешься с богами, и теперь считают тебя мессией, а меня — твоим учеником или чем-то вроде этого.

— Ну и что теперь будет? Чего они хотят?

— Зовут к себе. Говорят, какая-то стезя выпрямлена, что-то увито и так далее. И главное, все как в их книгах. Я ничего не понял, но, думаю, пойти стоит.

— Пошли, — безразлично пожал плечами Шестипалый. Его томили мрачные предчувствия.

По дороге было сделано несколько навязчивых попыток понести Затворника на руках, и избежать этого удалось с большим трудом. К Шестипалому никто не смел не то что приблизиться, а даже поднять на него взгляд, и он шел в центре большого круга пустоты.

По прибытии Шестипалого усадили на высокую горку соломы, а Затворник остался у ее основания и погрузился в беседу со здешними духовными авторитетами, которых было около двадцати, — их легко было узнать по обрюзгшим толстым лицам. Затем он благословил их и полез на горку к Шестипалому, у которого было так погано на душе, что он даже не ответил на ритуальный поклон Затворника, что, впрочем, выглядело для всех остальных вполне естественно.

Выяснилось, что все уже давно ждали прихода месии, потому что приближающийся решительный этап, называвшийся здесь Страшным Супом, из чего было ясно, что у здешних обитателей бывали серьезные прозрения, уже давно волновал народные умы, а духовные авторитеты настолько разъелись и обленились, что на все обращенные к ним вопросы отвечали коротким кивком в направлении неба. Так что появление Шестипалого с учеником оказалось очень кстати.

— Ждут проповеди, — сообщил Затворник.

— Ну так наплети им что-нибудь, — буркнул Шестипалый. — Я ведь дурак дураком, сам знаешь.

На слове «дурак» голос у него задрожал, и вообще было видно, что он вот-вот заплачет.

— Они меня съедят, эти боги, — сказал он. — Я чувствую.

— Ну-ну. Успокойся, — сказал Затворник, повернулся к толпе у горки и принял молитвенную позу: задрал кверху голову и воздел руки. — Эй, вы! — закричал он. — Скоро все в ад пойдете. Вас там зажарят, а самых грешных перед этим замаринуют в уксусе.

Над социумом пронесся вздох ужаса.

— Я же, по воле богов и их посланца, моего господина, хочу научить вас, как спастись. Для этого надо победить грех. А вы хоть знаете, что такое грех?

Ответом было молчание.

— Грех — это избыточный вес. Греховна ваша плоть, ибо именно из-за нее вас поражают боги. Подумайте, что приближает ре... Страшный Суп? Да именно то, что вы обрастаете жиром. Ибо худые спасутся, а толстые нет. Истинно так: ни один костлявый и синий не будет ввергнут в пламя, а толстые и розовые будут там все. Но те, кто будет отныне и до Страшного Супа поститься, обретут вторую жизнь. Ей, Господи! А теперь встаньте и больше не грешите.

Но никто не встал — все лежали на земле и молча глядели — кто на размахивающего руками Затворника, кто в пучину неба. Многие плакали. Пожалуй, речь Затворника не понравилась только первосвященникам.

— Зачем ты так, — шепнул Шестипалый, когда Затворник опустил на солому, — они же тебе верят.

— А я что, вру? — ответил Затворник. — Если они сильно похудеют, их отправят на второй цикл откорма. А потом, может, и на третий. Да Бог с ними, давай лучше думать о делах.

8

Затворник часто говорил с народом, обучая, как придавать себе наиболее неаппетитный вид, а Шестипалый большую часть времени сидел на своей соломенной горке и размышлял о природе полета. Он почти не участвовал в беседах с народом и только иногда рассеянно благословлял подползавших к нему мирян. Бывшие первосвященники, которые совершенно не собирались худеть, глядели на него с ненавистью, но ничего не могли поделать, потому что все новые и новые боги подходили к миру, вытаскивали Шестипалого, разглядывали его и показывали друг другу. Один раз среди них оказался даже сопровождаемый большой свитой обрюзгший се-

денький старичок, к которому остальные боги относились с крайним почтением. Старичок взял его на руки, и Шестипалый злобно нагадил ему прямо на холодную трясущуюся ладонь, после чего был довольно грубо водворен на место.

А по ночам, когда все засыпали, они с Затворником продолжали отчаянно тренировать свои руки — чем меньше они верили в то, что это к чему-нибудь приведет, тем больше прилагали усилий. Руки у них выросли до такой степени, что заниматься с железками, на которые Затворник разобрал кормушку-поилку (в социуме все постились и выглядели уже почти прозрачными), больше не было никакой возможности, — стоило чуть взмахнуть руками, как ноги отрывались от земли, и приходилось прекращать упражнение. Это было той самой сложностью, о которой Затворник в свое время предупреждал Шестипалого, но ее удалось обойти — Затворник знал, как укреплять мышцы статическими упражнениями, и научил этому Шестипалого. Зеленые ворота уже виднелись за Стеной Мира, и, по подсчетам Затворника, до Страшного Супа остался всего десяток затмений. Боги не особенно пугали Шестипалого — он успел привыкнуть к их постоянному вниманию и воспринимал его с брезгливой покорностью. Его душевное состояние пришло в норму, и он, чтобы хоть как-то развлечься, начал выступать с малопонятными темными проповедями, которые буквально потрясали паству. Однажды он вспомнил рассказ Одноглазки о подземной вселенной и в порыве вдохновения описал приготовление супа для ста шестидесяти демонов в зеленых одеждах в таких мельчайших подробностях, что под конец не только сам перепугался до одури, но и сильно напугал Затворника, который в начале его речи только хмыкал. Многие из паствы заучили эту проповедь наизусть, и она получила название «Околеписиса Синей Ленточки» — таково было сакральное имя Шестипалого. После этого даже бывшие первосвященники бросили есть и целыми часами бегали вокруг полуразобранной кормушки-поилки, стремясь избавиться от жира.

Поскольку и Затворник и Шестипалый ели каждый за

двоих, Затворнику пришлось сочинить специальный догмат о непогрешимости, который быстро пресек разные разговоры шепотом.

Но если Шестипалый после пережитого потрясения быстро вошел в норму, то с Затворником начало твориться что-то неладное. Казалось, депрессия Шестипалого перешла к нему, и с каждым часом он становился все замкнутей.

Однажды он сказал Шестипалому:

— Знаешь, если у нас ничего не выйдет, я поеду вместе со всеми в Цех номер один.

Шестипалый открыл было рот, но Затворник остановил его:

— А поскольку у нас наверняка ничего не выйдет, это можно считать решенным.

Шестипалый вдруг понял: то, что он только что собирался сказать, было совершенно лишним. Он не мог переменить чужого решения, а мог только выразить свою привязанность к Затворнику — что бы он ни сказал, смысл был бы именно таким. Раньше он наверняка не удержался бы от ненужной болтовни, но за последнее время что-то в нем изменилось. И в ответ он просто кивнул головой, отошел в сторону и погрузился в размышления. Вскоре он вернулся и сказал:

— Я тоже поеду вместе с тобой.

— Нет, — сказал Затворник, — ты ни в коем случае не должен этого делать. Ты теперь знаешь почти все, что знаю я. И ты обязательно должен остаться жить и найти себе ученика. Может быть, хотя бы он приблизится к умению летать.

— Ты хочешь, чтобы я остался один? — раздраженно спросил Шестипалый. — С этим быдлом?

И он показал на простершуюся на земле при начале беседы пророков паству: одинаковые дрожащие изможденные тела закрывали собой почти все видимое пространство.

— Они не быдло, — сказал Затворник, — они больше походят на детей.

— На умственно отсталых детей, — добавил Шестипалый. — К тому же с массой врожденных пороков.

Затворник с ухмылкой поглядел на его ноги.

— Интересно, а ты помнишь, каким был ты сам до нашей встречи?

Шестипалый задумался и смутился.

— Нет, — наконец сказал он, — не помню. Честное слово, не помню.

— Ладно, — сказал Затворник, — поступай как знаешь.

На этом разговор прекратился.

Дни, оставшиеся до конца, летели быстро. Однажды утром, когда паства только еще продирала глаза, Затворник и Шестипалый заметили, что зеленые ворота, еще вчера казавшиеся такими далекими, нависают над самой Стеной Мира. Они переглянулись, и Затворник сказал:

— Сегодня мы сделаем нашу последнюю попытку. Последнюю потому, что завтра ее уже некому будет делать. Сейчас мы отправимся к Стене Мира, чтобы нам не мешал этот гомон, а оттуда попробуем перенестись на купол кормушки-поилки. Если нам это не удастся, тогда прощаемся с миром.

— Как это делается? — по привычке спросил Шестипалый.

Затворник с удивлением поглядел на него.

— Откуда я знаю, как это делается, — сказал он.

Всем было сказано, что пророки идут общаться с богами. Скоро Затворник и Шестипалый были уже возле Стены Мира, где уселись, прислонясь к ней спиной.

— Помни, — сказал Затворник, — надо представить себе, что ты уже там, и тогда...

Шестипалый закрыл глаза, сосредоточил все свое внимание на руках и стал думать о резиновом шланге, подходившем к крышке кормушки-поилки. Постепенно он вошел в транс, и у него появилось четкое ощущение, что этот шланг находится совсем рядом с ним — на расстоянии вытянутой руки. Раньше Шестипалый спешил открыть глаза, и всегда оказывалось, что он сидит там же, где сидел. Но сегодня он решил попробовать нечто новое. «Если медленно сводить руки, — подумал он, — так, чтобы шланг оказался между ними, что тогда?» Ос-

торожно, стараясь сохранить достигнутую уверенность, что шланг совсем рядом, он стал сближать руки. И когда они, сойдясь в месте, где перед этим была пустота, коснулись шланга, он не выдержал и изо всех сил завопил:

— Есть! — и открыл глаза.

— Тише, дурак, — сказал стоящий перед ним Затворник, чью ногу он сжимал. — Смотри.

Шестипалый вскочил на ноги и обернулся. Ворота Цеха номер один были раскрыты, и их створки медленно проплывали по бокам и сверху.

— Вот и приехали, — сказал Затворник. — Пошли назад.

На обратном пути они не сказали ни слова. Лента транспортера двигалась с той же скоростью, с какой шли Затворник и Шестипалый, только в другую сторону, и поэтому всю дорогу вход в Цех номер один был там, где они находились. А когда они дошли до своих почетных мест возле кормушки-поилки, вход накрыл их и поплыл дальше.

Затворник подозвал к себе кого-то из паствы.

— Слушай, — сказал он. — Только спокойно! Иди и скажи остальным, что наступил Страшный Суп. Видишь, как потемнело небо?

— А что теперь делать? — спросил тот с надеждой.

— Всем сесть на землю и сделать вот так, — сказал Затворник и закрыл руками глаза. — И не подглядывать, иначе мы ни за что не ручаемся. И чтоб тихо.

Сперва все-таки поднялся гомон. Но он быстро стих — все уселись на землю и сделали так, как велел Затворник.

— Ну что, — сказал Шестипалый, — давай прощаться с миром?

— Давай, — ответил Затворник, — ты первый.

Шестипалый встал, оглянулся по сторонам, вздохнул и сел на место.

— Все? — спросил Затворник.

Шестипалый кивнул.

— Теперь я, — поднимаясь, сказал Затворник, задрал голову и закричал изо всех сил: — Мир! Прощай!

— Ишь раскудахтался, — сказал громовой голос. — Который? Этот, что квохчет, что ли?

— Не, — ответил другой голос. — Рядом.

Над Стеной Мира возникло два огромных лица. Это были боги.

— Ну и дрянь, — сокрушенно заметило первое лицо. — Чего с ними делать, непонятно. Они же полудохлые все.

Над миром пронеслась огромная рука в белом, заляпанном кровью и прилипшим пухом рукаве и тронула кормушку-поилку.

— Семен, мать твою, ты куда смотришь? У них же кормушка сломана!

— Цела была, — ответил бас. — Я в начале месяца все проверял. Ну что, будем забивать?

— Нет, не будем. Давай включай конвейер, подгоняй другой контейнер, а здесь — чтобы завтра кормушку починил. Как они не передохли только...

— Ладно.

— А насчет этого, у которого шесть пальцев, — тебе обе лапки рубить?

— Давай обе.

— Я одну себе хотел.

Затворник повернулся к внимательно слушающему, но почти ничего не понимающему Шестипалому.

— Слушай, — прошептал он, — кажется, они хотят...

Но в этот момент огромная белая рука снова метнулась по небу и сгребла Шестипалого.

Шестипалый не разобрал, что хотел сказать Затворник. Ладонь обхватила его, оторвала от земли, потом перед ним мелькнула огромная грудь с торчащей из кармана авторучкой, ворот рубахи и, наконец, пара большущих выпуклых глаз, которые уставились на него в упор.

— Ишь крылья-то. Как у орла! — сказал небывалых размеров рот, за которым желтели бугристые зубы.

Шестипалый давно привык находиться в руках у богов. Но сейчас от ладоней, которые его держали, исходила какая-то странная, пугающая вибрация. Из разговора он

понял только, что речь идет не то о его руках, не то о ногах, а потом откуда-то снизу долетел сумасшедший крик Затворника:

— Шестипалый! Беги! Ключи его прямо в морду!

Первый раз за все время их знакомства в голосе Затворника звучало отчаяние. И Шестипалый испугался, до такой степени испугался, что все его действия приобрели сомнамбулическую безошибочность, — он изо всех сил клюнул вылупленный на него глаз и сразу стал с невероятной скоростью бить по потной морде бога руками с обеих сторон.

Раздался рев такой силы, что Шестипалый воспринял его не как звук, а как давление на всю поверхность своего тела. Ладони бога разжались, а в следующий момент Шестипалый заметил, что находится под потолком и, ни на что не опираясь, висит в воздухе. Сначала он не понял, в чем дело, а потом увидел, что по инерции продолжает махать руками и именно они удерживают его в пустоте. Отсюда было видно, что представляет собой Цех номер один: это был огороженный с двух сторон участок конвейера, возле которого стоял длинный, в красных и коричневых пятнах деревянный стол, усыпанный пухом и перьями, и лежали стопки прозрачных пакетов. Мир, где остался Затворник, выглядел просто большим восьмиугольным контейнером, заполненным множеством неподвижных крохотных тел. Шестипалый не видел Затворника, но был уверен, что тот видит его.

— Эй, — закричал он, кругами летая под самым потолком, — Затворник! Давай сюда! Маши руками как можно быстрее!

Внизу, в контейнере, что-то замелькало и, быстро вырастая в размерах, стало приближаться — и вот Затворник оказался рядом. Он сделал несколько кругов вслед за Шестипалым, а потом закричал:

— Садимся вот туда!

Когда Шестипалый подлетел к квадратному пятну мутного белесого света, пересеченному узким крестом, Затворник уже сидел на подоконнике.

— Стена, — сказал он, когда Шестипалый приземлился рядом, — светящаяся стена.

Затворник был внешне спокоен, но Шестипалый отлично знал его и видел, что тот немного не в себе от происходящего. С Шестипалым происходило то же самое. И вдруг его осенило.

— Слушай, — закричал он, — да ведь это и есть полет! Мы летали!

Затворник кивнул головой.

— Я уже понял, — сказал он. — Истина настолько проста, что за нее даже обидно.

Между тем беспорядочное мелькание фигур внизу несколько успокоилось, и стало видно, что двое в белых халатах удерживают третьего, зажимающего лицо рукой.

— Сука! Он мне глаз выбил! Сука! — орал тот третий.

— Что такое сука? — спросил Шестипалый.

— Это способ обращения к одной из стихий, — ответил Затворник. — Собственного смысла это слово не имеет.

— А к какой стихии он обращается? — спросил Шестипалый.

— Сейчас увидим, — сказал Затворник.

Пока Затворник произносил эти слова, бог вырвался из удерживавших его рук, кинулся к стене, сорвал красный баллон огнетушителя и метнул его в сидящих на подоконнике — он это сделал так быстро, что никто не сумел ему помешать, а Затворник с Шестипалым еле успели взлететь в разные стороны.

Раздался звон и грохот. Огнетушитель, пробив окно, исчез, и в помещение ворвалась волна свежего воздуха — только после этого стало понятно, как там воняло. Сделалось неправдоподобно светло.

— Летим! — заорал Затворник, потеряв вдруг всю свою невозмутимость. — Живо! Вперед!

И, отлетев подальше от окна, он разогнался, сложил крылья и исчез в луче желтого горячего света, бывшего из дыры в крашеном стекле, откуда дул ветер и доносились новые, незнакомые звуки.

Шестипалый, разгоняясь, понесся по кругу. Последний раз внизу мелькнул восьмиугольный контейнер, залитый кровью стол и размахивающие руками боги — сложив крылья, он со свистом пронесся сквозь дыру.

Сначала он на секунду ослеп — так ярок был свет.

Потом его глаза привыкли, и он увидел впереди и вверху круг желто-белого огня такой яркости, что смотреть на него даже краем глаза было невозможно. Еще выше виднелась темная точка — это был Затворник. Он разворачивался, чтобы Шестипалый мог его догнать, и скоро они уже летели рядом.

Шестипалый оглянулся — далеко внизу осталось огромное и уродливое серое здание, на котором было всего несколько покрашенных масляной краской окон. Одно из них было разбито. Все вокруг было таких чистых и ярких цветов, что Шестипалый, чтобы не сойти с ума, стал смотреть вверх.

Лететь было удивительно легко — сил на это уходило не больше, чем на ходьбу. Они поднимались выше и выше, и скоро все внизу стало просто разноцветными квадратиками и пятнами.

Шестипалый повернул голову к Затворнику.

— Куда? — прокричал он.

— На юг, — коротко ответил Затворник.

— А что это? — спросил Шестипалый.

— Не знаю, — ответил Затворник, — но это вон там.

И он махнул крылом в сторону огромного сверкающего круга, только по цвету напоминавшего то, что они когда-то называли светилами.

ПРИНЦ ГОСПЛАНА



MS-DOS

Loading...

По коридору бежит человеческая фигурка. Нарисована она с большой любовью, даже несколько сентиментально. Если нажать клавишу «Up», она подпрыгнет вверх, выгнется, повиснет на секунду в воздухе и попытается что-то поймать над своей головой. Если нажать «Down», она присядет и постарается что-то поднять с земли под ногами. Если нажать «Right», она побежит вправо. Если нажать «Left» — влево. Вообще, ею можно управлять с помощью разных клавиш, но эти четыре — основные.

Проход, по которому бежит фигурка, меняется. Большой частью это что-то вроде каменной штольни, но иногда она становится удивительной красоты галереей с полосой восточного орнамента на стене и высокими узкими окнами. На стенах горят факелы, а в тупиках коридоров и на шатких мостках над глубокими каменными шахтами стоят враги с обнаженными мечами — с ними фигурка может сражаться, если нажимать клавишу «Shift». Если нажимать несколько клавиш одновременно, фигурка может подпрыгивать и подтягиваться, висеть, качаясь, на краю и даже может с разбега перепрыгивать каменные колодцы, из дна которых торчат острые шипы. У игры много уровней, с нижних можно переходить вверх, а с высших проваливаться вниз — при этом меняются коридоры, меняются ловушки, по-другому выглядят кувшины, из которых фигурка пьет, чтобы восстановить свои жизненные силы, но все остается по-прежнему: фигурка бежит среди каменных плит, факелов, черепов на полу и рисунков на стенах. Цель игры — подняться до последнего уровня, где ждет принцесса, но для этого нужно посвятить игре очень много времени. Собственно говоря,

чтобы добиться в игре успеха, надо забыть, что нажимаешь на кнопки, и стать этой фигуркой самому — только тогда у нее появится степень проворства, необходимая, чтобы фехтовать, проскакивать через щелкающие в узких каменных коридорах разрезалки пополам, перепрыгивать колодцы и бежать по проваливающимся плитам, каждая из которых способна выдержать вес тела только секунду, хотя никакого тела и тем более веса у фигурки нет, как нет его, если вдуматься, и у срывающихся плит, каким бы убедительным ни казался издаваемый ими при падении стук.

Level 1

Принц бежал по каменному карнизу; надо было успеть подлезть под железную решетку до того, как она опустится, потому что за ней стоял узкогорлый кувшин, а сил почти не было: сзади остались два колодца с шипами, да и прыжок со второго яруса на усеянный каменными обломками пол тоже стоил немало. Саша нажал «Right» и сразу же «Down», и принц каким-то чудом пролез под решеткой, спустившейся уже наполовину. Картинка на экране сменилась, но вместо кувшина на мостике впереди стоял жирный воин в тюрбане и гипнотизирующе глядел на Сашу.

— Лапин! — раздался сзади отвратительно знакомый голос, и у Саши перехватило под ложечкой, хотя никакого объективного повода для страха не было.

— Да, Борис Григорьевич?

— А зайди-ка ко мне.

Кабинет Бориса Григорьевича на самом деле никаким кабинетом не был, а был просто частью комнаты, отгороженной несколькими невысокими шкафами, и, когда Борис Григорьевич ходил по своей территории, над ними был виден его лысый затылок, отчего Саше иногда казалось, что он сидит на корточках возле бильярда и наблюдает за движением единственного оставшегося шара, частично скрытого бортом. После обеда Борис Григорьевич обычно попадал в лузу, а с утра, в золотое время, боль-

шей частью отскакивал от бортов, причем роль кия играл телефон, звонки которого заставляли полусферу цвета слоновой кости над заваленной бумагами поверхностью шкафа двигаться некоторое время быстрее.

Саша ненавидел Бориса Григорьевича той длительной и спокойной ненавистью, которая знакома только живущим у жестокого хозяина сиамским котам и читавшим Оруэлла советским инженерам. Саша всего Оруэлла прочел в институте, еще когда было нельзя, и с тех пор каждый день находил уйму поводов, чтобы с кривой улыбкой покачать головой. Вот и сейчас, подходя к проходу между двух шкафов, он криво улыбнулся предстоящему разговору.

Борис Григорьевич стоял у окна и, подолгу замирая в каждом из промежуточных положений, отрабатывал удар «полет ласточки», причем не бамбуковой палкой, как совсем недавно, когда он начинал осваивать «Будокан», а настоящим самурайским мечом. Сегодня на нем была «охотничья одежда» из зеленого атласа, под которой виднелось мягкое кимоно из узорчатой ткани синобу. Когда Саша вошел, он бережно положил меч на подоконник, сел на циновку и указал на соседнюю. Саша, с трудом подвернув под себя ноги, сел и поместил свой взгляд на плакат фирмы «Хонда» с мотоциклистом в высоких кожаных сапогах, второй год делающим вираж на стенке шкафа справа от циновки Бориса Григорьевича. Борис Григорьевич положил ладонь на процессорный блок своей «эйтишки» — такой же, как у Саши, только с винтом в восемьдесят мегабайт, — и закрыл глаза, размышляя, как построить беседу.

— Читал последние «Аргументы»? — спросил он через минуту.

— Я не выписываю.

— Зря, — сказал Борис Григорьевич, поднимая с пола свернутые листы и потряхивая ими в воздухе, — отличная газета. Я не понимаю, на что только коммунисты надеются? Пятьдесят миллионов человек загубили и сейчас еще что-то бормочут. Все же всем ясно.

— Ага, — сказал Саша.

— Или вот, в Америке около тысячи женщин бере-

менны от инопланетян. У нас тоже таких полно, но их КГБ где-то прячет.

«Чего он хочет-то?» — с тоской подумал Саша.

Борис Григорьевич задумался и помрачнел лицом.

— Странный ты парень, Саня, — наконец сказал он. — Глядишь бирюком, ни с кем из отдела не дружишь. Ведь ты знаешь, люди вокруг, не мебель. А ты вчера Люсю напугал даже. Она сегодня мне говорит: «Знаете, Борис Григорич, как хотите, а мне с ним в лифте одной страшно ездить».

— Я с ней в лифте ни разу не ездил, — сказал Саша.

— Так поэтому и боится. А ты съезди, за пизду ее схвати, посмейся. Ты Дейла Карнеги читал?

— А чем я ее напугал? — спросил Саша, соображая, кто такая Люся.

— Да не в Люсе дело, — раздражаясь, махнул рукой Борис Григорьевич. — Человеком надо быть, понял? Ну ладно, этот разговор мы еще продолжим, а сейчас ты мне по делу нужен. Ты «Абрамс» хорошо знаешь?

— Ничего.

— Как там башня поворачивается?

— Сначала нажимаете цэ, а потом курсорными клавишами. Вертикальными можно поднимать пушку.

— Точно? Давай-ка глянем.

Саша перешел к компьютеру; Борис Григорьевич, что-то шепча и подолгу зависая пальцами над клавиатурой, вызвал игру.

— Вот так направо, а так — налево, — сказал Саша.

— Точно. Век бы не догадался.

Борис Григорьевич снял телефонную трубку и принялся накручивать номер. Когда линия отозвалась, все лучшее поднялось из его души и поместилось на лице.

— Борис Емельяныч, — промурлыкал он, — нашли. Нажимаете цэ, а потом стрелочками... Да... Да... Обратно тоже через цэ... Да что вы говорите, а-ха-ха-ха...

Борис Григорьевич повернулся к Саше, умоляюще сложил губы и совсем не обидно пошевелил пальцами в направлении выхода. Саша встал и вышел.

— А-ха-ха... На листе? Попьюлос? Даже не слышал. Сделаем. Сделаем. Сделаем. Обнимаю...

Level 2

Саша ходил курить на темную лестницу, к окну, из которого был виден высотный дом и какие-то обветшалокрасивые земляные террасы внизу. Место у подоконника было для него особым. Закурив, он обычно подолгу смотрел на высотный дом — звезда на его шпиле была видна немного сбоку и казалась из-за обрамляющих ее венков двуглавым орлом; глядя на нее, Саша часто представлял себе другой вариант русской истории, точнее, другую ее траекторию, закончившуюся той же точкой — строительством такого же высотного здания, только с другой эмблемой на верхушке. Но сейчас небо было особенно гнусным и казалось даже серее, чем высотный дом.

На площадке одним пролетом ниже курили двое в одинаковых комбинезонах из тонкой английской шерсти; у обоих из широкого нагрудного кармана торчало по золоченому гаечному ключу. Саша прислушался к их разговору и понял, что оба они из игры «Пайпс», или, по-русски, «Трубы». Саша ее видел и даже ездил устанавливать ее на винчестер какому-то замминистра, но ему самому она не нравилась полным отсутствием романтики, поверхностным пафосом и особенно тем, что в левом углу был нарисован мерзкого вида водопроводчик, который начинал хохотать, когда какую-нибудь из труб на экране прорывало. А эти двое, судя по разговору, увлекались ею всерьез.

— По старым договорам уже не грузят, — жаловался первый комбинезон, — валюту хотят.

— А ты на начало этапа вернись, — отвечал второй, — или вообще загрузись по новой.

— Пробовал уже. Егор даже в командировку на комбинат ездил, три раза к директору пытался пройти, пока не подвис.

— Если подвисает, надо «Control — Break» нажимать. Или «Reset». Знаешь, как Евграф Емельяныч говорит — семь бед, один «Reset».

Оба комбинезона синхронно подняли глаза на Сашу, переглянулись, кинули окурки в ведро и скрылись в коридоре.

«Вот интересно, — подумал Саша, — они врут друг другу или им правда в эти трубы интересно играть?» Он пошел вниз по лестнице. «Господи, да на что же я надеюсь? — подумал он. — Что я буду здесь делать через год? А ведь они хоть очень глупые, но все видят. И все понимают. И не прощают ничего. Каким же надо оборотнем быть, чтоб здесь работать...»

Вдруг лестница под ногами дрогнула, тяжелый бетонный блок с четырьмя ступенями, как во сне, ушел из-под ног и через секунду с грохотом врезался в лестничный пролет этажом ниже, не причинив, однако, никакого вреда двум девочкам-машинисткам из административной группы, стоявшим точно в месте удара. Девушки подняли хорошенькие птичьи головки и посмотрели на Сашу, которого спасло только то, что он успел схватиться за край оставшейся на месте ступени.

— Ботинки чистить надо, — сказала девушка помоложе, отстраняясь от Сашиных качающихся ног, и девушки захихикали.

Саша скосил на них глаза и увидел, что они стоят на нижней грани пирамидки из разноцветных кубиков. Это была, кажется, игра «Крэизи берд» — очень милая, с забавной дурашливой музыкой, но с неожиданно тупым и жестоким концом.

Так можно было висеть сколько угодно — было даже что-то приятное в однообразном покачивании взад-вперед, но Саша подумал, что это, наверно, выглядит глупо. Он подтянулся и вылез на незнакомый каменный пятак, обрывающийся в пропасть, противоположный край которой скрывался за левой границей монитора (там еле слышно что-то жужжало). Другая сторона площадки упиралась в высокую каменную стену, сложенную из грубых блоков. Саша сел на шероховатый и холодный пол, прислонился к стене и закрыл глаза. Откуда-то издали доносился тихий звук флейты. Саша не знал, кто и где играет на ней, но слышал эту музыку почти каждый день. Сначала, когда он только осваивался на первом уровне, этот далекий дрожащий звук раздражал его своей заунывной однообразностью, какой-то бессмысленностью, что ли. Со временем он привык и стал даже нахо-

дить в нем своеобразную красоту — стало казаться, что внутри одной надолго растянутой ноты заключена целая сложная мелодия, и эту мелодию можно было слушать часами. Последнее время он даже останавливался, чтобы послушать флейту, и — как сейчас — оставался неподвижен некоторое время после того, как она стихала.

Он огляделся. Выход был только один — прыгать в неизвестность за левым обрезом экрана. Можно было прыгнуть с разбега, а можно — сильно оттолкнувшись обеими ногами от края площадки. Все пропасти в лабиринте были шириной либо в прыжок с разбега, либо в прыжок с места, и надежней, конечно, казался первый способ, но интуиция почему-то подсказывала второй. Саша подошел к обрыву, встал на самый его край и, изо всех сил оттолкнувшись, прыгнул в жужжащую неизвестность.

Он упал на корточки, выпрямился, и на лбу у него выступил холодный пот — стоило ему прыгнуть с разбега... Прямо перед ним на острых стальных шипах висело скрюченное мертвое тело, уже багровое и распухшее, облепленное множеством жирных неторопливых мух, — некоторые из них взлетали отдохнуть и издавали то самое жужжание, которое было слышно на картинке справа. Мертвец при жизни был мужчиной средних лет; на нем был приличный костюм, а рука до сих пор сжимала портфель. Видно, он был в игре новичком и решил, что надежней будет разбежаться. Впрочем, Саша мог оказаться на дне глубокой каменной шахты, а мужчина в пиджаке — продолжить путешествие к принцессе; способа угадать не существовало — во всяком случае, Саша его не знал. Осторожно обойдя мертвое тело, он побежал вперед по коридору, в одном месте подтянулся, влез на поддерживаемую двумя грубыми столбами площадку и побежал по новому коридору, в трех местах которого пришлось перепрыгивать через глубокие каменные колодцы. Больше всего его поражало, что все это происходило на втором уровне, вроде бы знакомом как собственные пять пальцев, и только когда под ногами шелкнула управляющая плита и из-за угла донесся лязг поднимающейся решетки, он все понял. Недалеко от перехода на третий уровень была одна решетка, которую он так и не сумел

открыть, а когда ему удалось выйти на новый этап, он решил, что она была чисто декоративной. Оказалось, что за ней тоже был участок лабиринта — правда, тупиковый. Саша пробежал под поднявшейся решеткой и помчался дальше — места вокруг были уже знакомые и не сулили никаких неожиданностей. Он наступил еще на одну управляющую плиту, перепрыгнул другую — иначе следующая решетка, которая начала подниматься впереди, упала бы, — подтянулся и изо всех сил рванул по коридору — надо было спешить, потому что, поднявшись, решетка сразу же начинала опускаться. Он как раз успел подлезть под зубья, бывшие уже в полуметре от пола, и оказался возле лестничной клетки третьего этажа, совсем недалеко от того места, где несколько минут назад обрушился вниз участок лестницы. Теперь дверь следующего уровня была рядом. «Черт, — подумал Саша, отряхиваясь и только теперь чувствуя, как бьется сердце, — ведь не проваливалась здесь лестница раньше! На четвертом этаже проваливалась, а здесь нет. Наверное, через несколько раз срабатывает».

— Саша!

Он обернулся. Из двери второго подотдела малой древесины выглядывала Эмма Николаевна. Ее лицо было густо покрыто пудрой и напоминало присыпанный стрептоцидом большой розовый лишай.

— Саша, прикури мне, а?

— А вы что, сами не можете? — довольно холодно спросил Саша.

— Так я же не в «Принце», — ответила Эмма Николаевна, — у меня факелов на стенах нету.

— А что, раньше играли? — подобрев, спросил Саша.

— Приходилось, только вот эти стражники... Что хотели, то со мной и делали... В общем, дальше второго яруса я так и не попала.

— А там шифтом надо, — сказал Саша, взял у нее сигарету и шагнул к зыбкому факелу, горящему на стене. — И курсорными.

— Да мне сейчас уже поздно, — вздохнула Эмма Николаевна, принимая зажженную сигарету и влажно глядя на Сашу.

Он открыл было рот, чтобы выразить вежливый протест, но заметил выглядывающего из-за ее спины полуголого рыжегрудого монстра с большим задумчивым рылом вместо лица — такие встречаются только в небольших внешнеэкономических организациях или на дне колодца смерти в игре «Таргхан», — побледнел и, неловко кивнув, пошел к себе.

«Хана бабе, — подумал он, — скоро в ДОС выйдет... А может, выберется, черт ее знает».

В его отделе громко звонил телефон, и Саша нетерпеливо подпрыгнул на открывающей вход плите, чтобы дверь следующего уровня скорее поднялась.

Level 3

— Лапин! К телефону!

Саша подскочил к столу и взял трубку.

— Саня? Здорово.

Звонил Петя Итакин из Госплана.

— Ты сегодня приезжаешь?

— Вроде не собирался.

— Начальник сказал, что сейчас кто-то из Госснаба с новыми программами придет. Я почему-то решил, что ты.

— Не знаю, — сказал Саша, — мне пока ничего не говорили.

— Это ведь у тебя к «Абрамсу» три лишних файла?

— У меня.

— Значит, точно тебя пошлют. Ты меня дождись, если я выйду, ладно?

— Ладно.

Саша повесил трубку и пошел на свое рабочее место. Рядом, за резервным компьютером, сидел командировочный из Пензы и сосредоточенно бил из лазера по эргонской ракетной установке, которая уже почти повернулась в позицию для стрельбы; вокруг, насколько хватал глаз, тянулись безрадостные пески «Старглайдера».

— Как там у вас? — вежливо спросил Саша.

— Плохо, — отвечал командировочный, с гримасой стуча по клавише, — очень плохо. Если вон та штука...

И вдруг все скрылось в ослепительном огненном смерче; Саша отшатнулся и закрыл лицо ладонями — он сделал это совершенно инстинктивно, а когда сообразил, что с ним самим ничего случиться не может, и открыл глаза, командировочного рядом уже не было, а на полу возле стула тлела пола пиджака.

Из-за шкафа выскочил Борис Григорьевич, швырнул меч на пол и, подтянув полы длинного стеганого плаща, который он перед схваткой надевал поверх панциря, принялся затапывать испускающий вонючий дым кусок ткани. Рогатый шлем Бориса Григорьевича изображал мрачное японское божество, и выбитый на металле оскал в сочетании с хлопотливыми и какими-то бабьими движениями большого нежного тела был довольно-таки страшен. Ликвидировав зародыш пожара, Борис Григорьевич снял шлем, вытер мокрую лысину и вопросительно поглядел на Сашу.

— Все, — сказал Саша и кивнул на экран, на котором мигала досовская галочка.

— Вижу, что все. Ты мне его вызови снова, а то у нас еще акт не подписан.

У Бориса Григорьевича зазвонил телефон, и он, недоговорив, кинулся за шкафы.

Саша пересел за соседний компьютер, вышел на драйв «а», из которого торчала поганая болгарская дискета гостя, и вызвал игру. Дисковод тихо зажужжал, и через несколько секунд в кресле снова появился мужик из Пензы.

— Когда на вас ракеты летят, — сказал Саша, — вы на высоту лучше уходите. Из лазера больше одной не собьешь, а эта штука пачками бьет.

— Ты не учи, не учи, — огрызнулся тот, припадая к клавиатуре, — не первый год в дальнем космосе.

— Тогда автоэкзэк себе сделайте, — сказал Саша, — а то вас каждый раз вызывать времени ни у кого нет.

Гость не отзывался — на него шли сразу два шагающих танка, и ему было не до болтовни.

Вдруг из кабинета начальника послышались грохот и крики.

— Лапин! — взревел за шкафом Борис Григорьевич. — Ко мне срочно!

Когда Саша вбежал, Борис Григорьевич стоял на столе и отбивался мечом от крохотного китайца с детским лицом, со скоростью швейной машинки тыкавшего в него пикой. Саша все сразу понял, кинулся к клавиатуре и с размаху ткнул пальцем в клавишу «Escape». Китаец замер.

— Ух, — сказал Борис Григорьевич, — ну и дела. Пятого дана вызвал — по инерции нажал, думал, она тип монитора запрашивает. Ну ничего, сейчас разберемся с ним... Или нет, потом разберемся. Ты вот что. Сейчас сбрось на дискету расширение к «Абрамсу» и поезжай в Госплан. Бориса Емельяновича знаешь?

— Я ж ему «Абрамса» и ставил, — ответил Саша, — заведомо на шестом этаже.

— Ну, знаешь, так и отлично. Заодно и договора подпишешь — бери прямо с папкой. Еще он тебе дискету...

Из-за шкафов полыхнуло ослепительным огнем, несколько раз грохнуло, и сразу же завоняло паленым мясом.

— Что такое?

— Да опять этот, из Пензы. Похоже, на пирамидальную мину попал.

— Ладно, завтра утром вызовем, а то второй час вонь и грохот. Езжай. Он тебе дискету даст с «Арканойдом». Ну и ты сам погляди, что у них там нового, понимаешь?

Саша повернулся было к двери, но Борис Григорьевич удержал его за рукав.

— Подожди, — сказал он, надевая шлем, — ты мне еще нужен. Когда я «кия» крикну, нажми клавишу.

— Какую?

— А без разницы.

Он зашел за спину замершему в выпад китайцу, встал в низкую стойку и примерился мечом к его шее.

— Готов?

— Готов, — отворачиваясь, ответил Саша.

— Кия!!!

Саша ткнул в клавиатуру; раздался резкий свист, что-то хрустнуло, стукнулось об пол и покатилося, а следом упало что-то тяжелое и мягкое.

— Теперь иди, — хрипло сказал Борис Григорьевич, — и не задерживайся, работы много.

— Я в столовую хотел пойти, — стараясь глядеть в сторону, сказал Саша.

— Поезжай лучше сразу. Там и пообедаешь.

Саша вышел из-за шкафов, подошел к своему рабочему месту, ногой отшвырнул оплавленные очки гостя под батарею, сел за свой компьютер и сбросил на дискету все, что было нужно. Потом, положив дискету в сумку, встал и неторопливо пошел по усеянному обломками каменных плит коридору, привычно перепрыгнул через ловушку, повис на руках, спрыгнул на нижний ярус, поднял с пола узкий разрисованный кувшин и припал к его горлышку, думая о том, что до сих пор не знает ни того, кто расставляет эти кувшины в укромных местах подземелья, ни куда исчезает кувшин, когда он выпивает содержимое.

Дорога на четвертый уровень была знакома до мелочей, и Саша шел, прыгал, подлезал и подтягивался совершенно механически, думая о всякой ерунде. Сначала ему вспомнился замначальника второго подотдела малой древесины Кудасов, давно уже дошедший в игре «Троаткаттер» до восьмого уровня, но так и не сумевший перепрыгнуть через какую-то зеленую тумбочку, — из-за этого он, как говорили, и оставался вечным замом у нескольких ракетами пролетевших на повышение начальников, у которых это получилось если и не совсем сразу, то, во всяком случае, без особых усилий. Потом Саша стал думать о непонятных словах Итакина, сказанных в одну из прошлых встреч, — что вроде какие-то ребята давно раскололи его игру; непонятно было, что Итакин имел в виду, потому что игра была колотой уже тогда, когда Саша ставил ее себе на винт. Потом впереди медленно поднялась вверх дверь четвертого уровня, и Саша шагнул в оказавшийся за ней вагон метрополитена.

Level 4

«А куда, собственно, я иду? — думал он, глядя в черное зеркало вагонной двери и поправляя на голове тюрбан. — До седьмого уровня я уже доходил, — ну, может,

не совсем доходил, но видел, что там. Все то же самое, только стражники толще. Ну, на восьмой выйду. Так это ж сколько времени займет... И что дальше? Правда, принцесса...»

Последний раз Саша видел принцессу два дня назад, между третьим и четвертым уровнем. Коридор на экране исчез, и появилась застланная коврами комната с высоким сводчатым потолком. И тут же заиграла музыка — жалующаяся и заунывная, но только сначала и только для того, чтобы особенно прекрасной показалась одна нота в самом конце.

На ковре стояли огромные песочные часы; с каменных плит пола на Сашу, словно в монокль, смотрела изнеженная дворцовая кошка, а в самом центре ковра на разбросанных подушках сидела принцесса. Ее лица издали было не разобрать — кажется, у нее были длинные волосы, или это темный платок падал на ее плечи. Вряд ли она знала, что он на нее смотрит и что вообще есть какой-то Саша, но зато он знал, что стоит ему дойти до этой комнаты — и принцесса бросится ему на шею. Принцесса встала, сложила руки на груди, сделала несколько шагов по ковру, вернулась и села на россыпь маленьких подушек.

И тут же все исчезло, за спиной с грохотом закрылась тяжелая дверь, и Саша оказался возле высокого каменного уступа, с которого начинался четвертый уровень.

«Интересно, о чем она сейчас думает? Может быть, она думает о том, кто идет к ней по лабиринту? То есть обо мне, не зная, что именно обо мне?»

За стеклом замелькали колонны станции; поезд остановился. Саша дал толпе подхватить себя и медленно поплыл к эскалаторам. Работало два; Саша ответвился в ту часть толпы, которая двигалась к левому. В его голове потекли медленные и обычные для второй половины дня угрюмые мысли о жизни.

«Странно, — думал он, — как я изменился за последние три уровня. Когда-то ведь казалось, что стоит только перепрыгнуть через ту расщелину — и все. Господи, как мало надо было для счастья... А сейчас я это делаю каждое утро почти не глядя, и что? На что я надеюсь сейчас?

Что на следующем этапе все изменится и я чего-то захочу так, как умел хотеть раньше? Ну, допустим, дойду. Уже ведь почти знаю как: надо после пятой решетки попрыгать — наверняка там ход в потолке, плиты какие-то странные. Но когда я туда залезу, где я найду того себя, который хотел туда залезть?»

Саша вдруг похолодел — до него донесся знакомый лязг. Он поднял голову и увидел впереди по ходу своего эскалатора включившуюся разрезалку пополам — два стальных листа с острыми зубчатыми краями, которые каждые несколько секунд сшибались с такой силой, что получался звук вроде удара в небольшой колокол. Остальные спокойно проезжали сквозь нее — она существовала только для Саши, но для него была настолько реальна, насколько что-нибудь вообще бывает реальным: через всю его спину шел длинный уродливый шрам, а ведь в тот раз разрезалка его только чуть-чуть задела, выкромсав клочок ткани из дорогой джинсовой куртки. Проходить через разрезалки было, вообще говоря, несложно — надо было встать рядом и быстро шагнуть вперед сразу же, как разрезалка откроется. Но сейчас Саша ехал по эскалатору, и никакой возможности угадать, в какой момент он окажется у разрезалки, не было. Не раздумывая, он повернулся и быстро кинулся вниз. Бежать было трудно — на эскалаторе стояла уйма пьяноватых мужичков, каждый из которых давал себя почувствовать и пропускал с большой неохотой, бросая Саше вдогонку редкие, как самоцветы, слова. Какая-то баба в красном платке и с двумя большими тюками в руках задержала Сашу настолько, что он оказался к разрезалке даже ближе, чем был раньше, но все-таки ему удалось перелезть через тюки. И тут впереди упала решетка. Саша понял, что пропал. Он обмяк, зажмурился, но, вместо того чтобы увидеть за секунду всю свою жизнь, почему-то с невероятной отчетливостью вспомнил, как в четвертом классе довел на уроке пения молодого практиканта из консерватории до того, что тот, перестав играть на рояле музыку Кабалевского, встал с места, подошел к нему и дал по морде. Разрезалка лязгнула совсем близко, и Саша инстинктивно шагнул назад, подумав, что ведь может и про...

«А куда, собственно, я иду? — подумал Саша, глядя в черное зеркало вагонной двери и поправляя на голове тюрбан. — До седьмого уровня я уже доходил — ну, может, не совсем доходил, но видел, что там. Все то же самое, только стражники толще. Ну, на восьмой выйду. Так это ж сколько времени займет... Да и зачем все это? Правда, принцесса...»

Последний раз Саша видел принцессу два дня назад, между третьим и четвертым уровнем. Коридор на экране исчез, и появилась застланная коврами комната с высоким сводчатым потолком. И тут же заиграла музыка — жалующаяся и заунывная, но только сначала и только для того, чтобы особенно прекрасной показалась одна неожиданная нота в самом конце.

Он перестал думать о принцессе и стал глядеть по сторонам. Народ вокруг был большей частью привокзальный, поганый. Было много пьяных, много одинаковых баб с сумками; особенно Саше не понравилась одна — в красном платке, с двумя большими тюками в руках. «Где-то я ее видел, — подумал Саша, — точно». С ним так часто бывало последнее время — казалось, что он уже видел происходящее, но вот где и при каких обстоятельствах, он вспомнить не мог. Зато недавно он прочитал в каком-то журнале, что это чувство называется «déjà vu», из чего сделал вывод, что то же самое происходит с людьми и во Франции.

За стеклом замелькали колонны станции; поезд остановился. Саша дал толпе подхватить себя и медленно поплыл к эскалаторам. Работало два; Саша ответвился в ту часть толпы, которая двигалась к правому. В его голове потекли медленные и обычные для второй половины дня угрюмые мысли о жизни.

«Сейчас мне кажется, — думал он, — что хуже того, что со мной происходит, и быть ничего не может. А ведь пройдет пара этапов, и вот по этому именно дню и наступит сожаление. И покажется, что держал что-то в руках, сам не понимая что, — держал, держал да и выкинул. Господи, как же погано должно стать потом, чтобы

можно было жалеть о том, что происходит сейчас... И ведь самое интересное: с одной стороны, жить все бессмысленней и хуже, а с другой — абсолютно ничего в жизни не меняется. На что же я надеюсь? И почему каждое утро встаю и куда-то иду? Ведь я плохой инженер, очень плохой. Мне все это попросту неинтересно. И оборотень я плохой, и скоро меня возьмут и выпрут и будут совершенно правы...»

Он вдруг похолодел — до него донесся знакомый ляг. Он поднял голову и увидел на соседнем эскалаторе включившуюся разрезалку пополам. В первый момент испуг был так силен, что Саша даже не сообразил, что никакой угрозы для него нет. Потом, сообразив, он так громко сказал «уй», что на него с соседнего эскалатора поглядела та самая баба с тюками, которая привлекла его внимание в вагоне. Она проехала разрезалку, глядя на Сашу и даже не догадываясь, что случилось бы, будь на ее месте он. Саше ее взгляд был неприятен, и он отвернулся.

Следующая разрезалка пополам стояла у выхода из метро, и Саша прошел ее без всякого труда. А вот из кувшинчика, стоявшего за ней, он пить не стал — какой-то он был подозрительный, с орнаментом из треугольничков. Он один раз из такого попил и потом две недели сидел на бюллетене. Чутье подсказывало, что где-то рядом должен быть еще один кувшин, и Саша решил поискать. Его внимание привлекла парикмахерская на другой стороне улицы: в вывеске не горели две первых буквы, и Саша был уверен — это что-нибудь да значит.

Внутри было маленькое помещение, где клиенты ждали своей очереди, — сейчас оно было совершенно пустым, и это была вторая странность. Саша обошел комнатку кругом, подвигал кресла (в конце прошлого года он сел на стул в коридоре военкомата, куда провалился с третьего уровня, и неожиданно сверху спустилась веревочная лестница, по которой он благополучно вылез в двухмесячную командировку), попрыгал на журнальном столике (иногда они управляли поворачивающимися частями стен) и даже подергал крючки вешалок. Все было напрасно. Тогда он решил проверить потолок, опять влез

на журнальный столик и подпрыгнул с него вверх, подняв над головой руки. Потолок оказался глухим, а столик — очень непрочным: сразу две его ножки подломились, и Саша вытянутыми руками врезался в цветную фотографию улыбающегося рыжего дебила, висевшую на стене.

И вдруг в полу со скрипом распахнулся люк, в котором блеснуло медное горло кувшина, стоящего на каменном полу метрах в двух внизу. Саша спрыгнул на каменную площадку, и люк над головой захлопнулся; Саша огляделся и увидел с другой стороны коридора бледного усатого воина в красной чалме с пером; воин отбрасывал две расходящиеся дрожащие тени, потому что за его спиной коптили два факела по бокам высокой резной двери с черной вывеской «ГОСПЛАН СССР».

«Надо же, — подумал Саша, выхватывая меч и кидаясь навстречу вытащившему кривой ятаган воину, — а я на троллейбусе, дурак, все время ездил».

Level 5

— Итакин? — спросил женским голосом телефон. — Обедает. А вы поднимайтесь, подождите. Это вы из Госснаба должны были программное обеспечение привезти?

— Я, — ответил Саша, — только я лучше тоже в столовую пойду.

— Как к нам идти, знаете? Шестьсот двадцатая комната, от лифтов налево по коридору.

— Доберусь, — ответил Саша.

В столовой было шумно и многолюдно. Саша походил между столами, ища приятеля, но того не было видно. Тогда Саша встал в очередь. Перед ним стояли два Дарта Вейдера из первого отдела — они шумно, с присвистом, дышали и механическими голосами обсуждали какую-то статью — не то «Огонька», не то Уголовного кодекса; из-за неестественности их речи понять что-нибудь было очень сложно. Первый Дарт Вейдер взял на свой поднос две тарелки кислой капусты, а второй — борщ и

чай (кормили в Госплане, конечно, уже не так, как до начала смуты, — от прежнего великолепия остались только изредка попадавшие в капусте красивые пятиконечные звездочки, нарезанные из моркови с помощью специального японского агрегата). Саше было очень интересно посмотреть, как Дарт Вейдер будет есть капусту — для этого ему обязательно пришлось бы снять свой глухой черный шлем, но черные двое сели за маленький столик в самом углу и задернули за собой черную шторку с изображением щита и меча; под ней остались видны только начищенные хромовые сапоги, левая пара которых упиралась в пол неподвижно и прямо, а правая все время выделяла кренделя — один сапог терся о другой и обнимал его носком за голенище; Саша подумал, что если бы он играл в «Спай», то из двух Дартов Вейдеров стал бы вербовать первого.

Оглядевшись, он пошел с подносом в дальний угол, где за длинным столом у окна сидели около десятка пожилых мужиков в летной форме, и деликатно сел с краю. На него поглядели, но ничего не сказали. Один из пилотов — седой крепыш с двумя незнакомыми медалями на голубом комбинезоне — стоял со стаканом в руке; он только что начал говорить тост.

— Друзья! Мы собрались здесь по поводу торжественному и приятному вдвойне. Сегодня исполняется двадцать лет трудовой деятельности Кузьмы Ульяновича Старопопова в Госплане. И сегодня же утром Кузьма Ульянович сбил над Ливией свой тысячный МиГ!

Пилоты заплодировали и повернулись к сидящему в центре стола виновнику торжества — это был низенький, полненький и лысенький мужичок в толстых очках, дужка которых была обмотана черной ниткой. Он совершенно ничем не выделялся — наоборот, был за столом самым незаметным, и, только приглядевшись, Саша заметил на его груди несколько рядов орденских планок — правда, тоже незнакомых.

— Я беру на себя смелость сказать, что Кузьма Ульянович — лучший пилот Госплана! И недавно полученный им от Конгресса орден «Пурпурное сердце» будет на его груди уже пятым.

Вокруг опять заплодировали; несколько раз Кузьму Ульяновича хлопнули по плечам и спине; он сильно покраснел, махнул рукой, снял очки и долго протирал их носовым платком.

— И это еще не все, — продолжал седой, — кроме эф-пятнадцатого и эф-шестнадцатого, Кузьма Ульянович недавно освоил новейший истребитель — эф-девятнадцать «Стелс». На его счету и многие технические усовершенствования — осмыслив опыт боев в небе Вьетнама, он попросил своего механика дописать два файла в ассемблере, чтобы пушка и пулемет работали от одной клавиши, и теперь этим пользуемся мы все...

— Да уж хватит бы, — застенчиво буркнул виновник.

Встал другой пилот — у этого на груди тоже были орденские планки, но не в таком количестве, как у Кузьмы Ульяновича.

— Вот тут наш парторг говорил, что Кузьма Ульянович сбил сегодня свой тысячный МиГ. А ведь, кроме этого, он, к примеру, четыре тысячи пятьсот раз разрушил локатор под Триполи, а если мы все ракетные катера посчитаем да еще аэродромы прибавим, такая цифирь выйдет... Но ведь человека одной цифрой мерить нельзя. Я Кузьму Ульяновича знаю, может быть, лучше других — уже полгода с ним в паре летаю — и сейчас расскажу вам об одном нашем рейде. Я тогда первый раз на эф-пятнадцатом шел, а машина эта, сами знаете, не из простых: чуть заторопишься, захочешь повернуть побыстрее — подвисает. И мне Кузьма Ульянович перед вылетом говорит: «Вася, запомни: не нервничай, иди сзади и ниже, я тебя прикрывать буду». Ну, я неопытный был тогда, а с гонором — чего это, думаю, он прикрывать меня будет, когда я на эф-шестнадцатом весь Персидский залив облетал. Да... Ну, сели мы по кабинам, и дают нам команду на взлет. Взлетали мы с авианосца «Америка», и задание у нас было сначала какой-то корабль потопить в Бейрутском порту, а потом уничтожить лагерь террористов под Аль-Бенгази. Взлетели, значит, и идем на малой, на автопилотах. А там, у Бейрута, локаторов штук восемь, наверное, — ну, все там были...

— Одиннадцать, — сказал кто-то за столом, — и еще всегда двадцать пятые МиГи патрулируют.

— Ну да. В общем, дошли на малой, метрах на пятидесяти, с выключенными прицелами, а как километров десять осталось, перешли на ручное, набрали четыре сотни и включили радары. Тут нас, понятно, засекли, но мы уже навелись, выпустили по «Амрааму», сделали противоракетный маневр и пошли на запад со снижением. От корабля щепок не осталось. Это нам по радио сообщили. В общем, опять идем вслепую на малой, и так бы дошли спокойно, но я тут, идиот, заметил двадцать третьего МиГа и пошел за ним — дай, думаю, задвину ему «Сайдвиндер» в сопло. Кузьма Ульянович видит на радаре, что я вправо пошел, и орет мне по радио: «Вася, назад, мать твою!» Но я уже прицел включил, поймал гада и пустил ракету. И хоть тут бы мне развернуться и к земле — так нет, стал смотреть, как этот двадцать третий падает. А потом гляжу на локатор — а на меня уже СА-2 идет, кто пустил, не знаю...

— Это под Аль-Байдой локатор стоит. Когда от Бейрута на запад идешь, никогда вправо брать не надо, — сказал парторг.

— Ну да, а тогда-то я не знал. Кузьма Ульянович кричит: «Помеху ставь!» А я вместо тепловой — это на «эф» нажать надо — на «цэ» жму. Ну и, значит, получил прямо под хвост. Нажал на «эф семь», катапультировался. Опускаюсь, смотрю вниз — а там пустыня и шоссе, на шоссе машины какие-то и меня на них сносит. И не успел я приземлиться, смотрю — мать честная! Кузьма Ульянович прямо на это шоссе на посадку заходит. Тут уж я думаю — кто быстрее...

Саша допил последний глоток чая, встал и пошел к выходу. Плита пола сразу за дверью из столовой была какой-то странной — чуть другого цвета и на полсантиметра повыше, чем остальные. Саша остановился за шаг до нее, высунул голову в коридор и поглядел вверх — так и есть, в метре над головой поблескивали отточенные стальные зубья решетки.

— Ну нет, — пробормотал Саша.

Он внимательно оглядел столовую. С первого взгляда

другого выхода не было, но Саша давно знал, что сразу он никогда и не бывает виден. Ход мог быть, например, за огромной картиной на стене, но допрыгнуть до нее можно было, только раскачавшись на люстре, а для этого пришлось бы громоздить несколько столов один на другой. Имелось еще несколько выступов в стене, по которым можно было попытаться залезть вверх, и Саша уже совсем решил это сделать, когда его окликнула баба в белом халате.

— Подносик-то на мойку надо снести, молодой человек, — сказала она, — нехорошо выходит.

Саша вернулся за подносом.

— ...Всем отделом стали пробоины считать, — говорил ведомый Кузмы Ульяновича. — Помните? Тогда покойный Ешагубин подходит к нам и спрашивает — разве, говорит, эф-пятнадцатый на одном моторе может лететь? И знаете, что ему Кузьма Ульянович ответил?

— Ну хватит, правда, — конфузясь, сказал Кузьма Ульянович.

— Нет, я скажу, пускай...

Дальше Саша не слышал — все его внимание переключилось на движущуюся ленту, по которой тарелки и подносы ехали на мойку. Она кончалась небольшим окошком, в которое вполне можно было пролезть. Саша решил попробовать, поставил поднос на ленту, оглянулся и быстро забрался на нее сам. Двое стоявших возле окошка танкистов поглядели на него с большим недоумением, но, прежде чем они успели что-то сказать, Саша протиснулся в окошко, перепрыгнул через щель в полу и со всех ног кинулся к медленно поднимающемуся куску стены с большой облезлой раковиной; за ним открывалась освещенная факелами узкая лестница вверх.

Level 6

Начальник Итакина Борис Емельянович оказался одним из тех двух танкистов, которые с таким удивлением глядели на Сашу в столовой. Саша столкнулся с ним у самого входа в шестьсот двадцатую комнату — за Сашиной спиной осталось примерно с десяток ярусов, на кото-

рые можно было забраться, только подпрыгнув и подтянувшись, поэтому он устал и запыхался, а поднявшийся на лифте Борис Емельянович был спокоен и свеж и пахнул одеколоном.

— Ты от Борис Григорича? — ничем не показывая, что узнает в Саше хулигана из столовой, спросил Борис Емельянович. — Пойдем быстрее, мне через пять минут выезжать.

Кабинет Бориса Емельяновича был отгороженной шкафами частью огромного зала, как и кабинет Бориса Григорьевича, только внутри, занимая практически все место, стоял огромный, лоснящийся смазкой танк «М-1 Abrams». У стены были две бочки с горючим, на которых стояли телефон и четырехмегабайтная «супер эй-ти» с цветным ВГА-монитором, при взгляде на которую Саша сглотнул слюну.

— Триста восемьдесят шестой процессор? — уважительно спросил он. — И винт, наверно, мегабайт двести?

— Этого не знаю, — сухо ответил Борис Емельянович, — у Итакина спрашивай, он мой механик. Чего там тебе подписывать?

Саша полез в сумку и вынул чуть подмявшиеся за время долгого путешествия бумаги. Борис Емельянович, сверкнув похожим на пулеметный патрон с золотой пулей «Монт-Бланком», прямо на броне не глядя подмахнул два первых листа, а над третьим задумался.

— Это я так не могу, — сказал наконец он, — это надо в главк звонить. Это даже не я должен подписывать, а Прокудин Павел Семенович.

Поглядывая на часы, он навертел номер.

— Павла Семеновича. Так. А когда будет? Нет, сам свяжусь.

Он повернулся к Саше и значительно на него взглянул.

— Ты не очень удачно пришел, — сказал он. — Через пять минут наступление. А если ты бумагу хочешь подписать, в главк надо ехать. Хотя подожди... Может, быстрее выйдет. Проедешь немного со мной.

Борис Емельянович склонился над компьютером.

— Черт, — сказал он через минуту, — где это Итакин ходит? Не могу двигатель запустить.

— А вы директорию смените, — сказал Саша, — вы же в корневой директории. Или сначала в «Нортон» выйдете.

— А ну попробуй, — ответил Борис Емельянович, отходя в сторону.

Саша привычно затюкал по клавишам; завершал дисковод хард-диска, и почти сразу же мощно и тихо загудела электрическая трансмиссия танка, а воздух наполнился горьким дизельным выхлопом. Борис Емельянович ловко запрыгнул на броню; Саша предпочел подтянуть к танку стул и уже с него шагнул на чуть приподнятую корму.

В башне оказалось просторно и очень удобно. Саша заглянул в прицел, но тот пока не работал; тогда он огляделся. Изнутри башня напоминала любовно украшенную водителем кабину автобуса — по бокам от казенника пушки висели брелочки, флажки, обезьянки, а к броне было приклеено несколько вырезанных из журнала девушек в купальниках.

Борис Емельянович кинул Саше шлемофон и скрылся в отделении водителя; двигатель взревел, и танк выкатился на огромную равнину, где далеко впереди возвышалась похожая на вулкан гора со срезанным границей монитора верхом. Саша по пояс высунулся из люка, огляделся и увидел по бокам еще десятка два таких же танков; два или три возникли прямо на его глазах.

— Как такое построение называется? — спросил он в микрофон.

— Какое? — донесся искаженный наушниками голос Бориса Емельяновича.

— Когда танки все на одной линии? Ну, если бы это солдаты были, была бы цепь, а это как называется?

— Не знаю, — ответил Борис Емельянович. — Так после обеда всегда бывает — просто одновременно выходим. Ты лучше посчитай, сколько танков вокруг?

— Двадцать шесть, — сосчитал Саша.

— Понятно. Бабаракин на бюллетене, Сковородич в Австрии, а остальные все здесь. Жаркий сегодня день будет.

— Двадцать первый, двадцать первый, с кем говорите? — раздался в шлемофоне чей-то голос.

— Говорит двадцать первый, вызываю семнадцатого, прием.

— Семнадцатый слушает.

— Семнадцатый, у меня тут парень из Госснаба, ему одну бумагу подписать. Чтоб не ехать через весь город.

— Понял вас, двадцать первый, — отозвался голос, — через десять минут у фермы.

Танк Бориса Емельяновича резко взял вправо, и Сашу сильно качнуло в люке. Перелетев с разгону через несколько ухабов, Борис Емельянович выехал на шоссе, повернул и километрах на восьмидесяти в час понесся в сторону далекой роши, перед которой дорога разветвлялась и торчал какой-то указатель на шесте.

— Залазь в башню, — велел Борис Емельянович, — и люк закрой. Вон на том холме гранатометчик сидит.

Саша повиновался — и в самое время: по броне ударило, и послышалось резкое и громкое шипение.

— Вот он, курва-а, — прошептал голос Бориса Емельяновича в наушниках, и башня стала медленно поворачиваться вправо.

Саша увидел на экране прицела совместившийся с вершиной горы квадратик и выскочившую надпись «gun locked». Но Борис Емельянович не спешил стрелять.

— Ну же! — выдохнул Саша.

— Подожди, — зашептал Борис Емельянович, — дай я осколочный заряду... Бронебойные нам еще понадобятся.

Снова зашипело и ударило по броне, а в следующий момент рывкнула пушка «Абрамса», и на вершине холма словно выросло огромное черно-красное дерево.

Вскоре слева от шоссе появилась и стала стремительно приближаться окруженная невысоким забором ферма, похожая на заброшенную правительственную дачу. Метрах в трехстах Борис Емельянович затормозил, и так резко, что Саша, глядевший в прицел, наверняка посадил бы себе синяк под глазом, если бы не мягкая резина вокруг окуляров.

— Что-то мне вон то окно не нравится, — сказал Борис Емельянович, — дай-ка я...

Башня поехала влево, и опять рывкнула пушка. Ферму заволокло огнем и дымом, а когда их снесло, от уютного

двухэтажного домика остался только закопченный фундамент с небольшим куском стены, в котором осталась непонятно куда раскрывшаяся дверь. Борис Емельянович на всякий случай дал длинную очередь из пулемета, перебившую несколько досок в заборе, и медленно поехал к ферме.

— Можешь пока выйти поразмяться, — сказал он Саше, когда танк затормозил у пепелища, — вроде все спокойно.

Саша вылез из башни, спрыгнул на землю и повертел головой. Голова гудела, чуть подрагивали колени, и хотелось на всякий случай схватиться за какой-нибудь поручень вроде тех, что были в башне.

— Что, скис? — дружелюбно спросил Борис Емельянович. — Ты попробуй так пять дней в неделю, по восемь часов, да еще когда на тебя одного по три Т-70 выезжают. Вот когда коленки задрожат. Здесь-то место тихое, благодать...

Действительно, место было красивое — на ровном поле кое-где поднимались деревья, за шоссе зеленела роща и оттуда доносился тихий птичий щебет. Из-за тучи вышло солнце, и все вокруг приобрело такие нежные цвета, которые бывают только на хорошо настроенном ВГА белой сборки и которых никогда не даст ни корейский, ни тем более сингапурский монитор, что бы ни писали в глянцевах многостраничных паспортах хитрые азиаты.

С шоссе донесся гул.

— Павел Семенович едет. Готовь свою бумагу.

Черная точка на шоссе быстро приближалась и вскоре стала таким же танком, как у Бориса Емельяновича, только с торчащим над башней зенитным пулеметом. Танк подъехал, остановился, и из башни выпрыгнул худой и мрачный танкист в золотых очках и черной пилотке.

— Давай, чего у тебя там, — сказал он Саше, присел на одно колено возле сорванного взрывом листа кровли, положил Шашину бумагу на планшет и написал в верхней части листа: «Не возражаю». — А ты, Борис, — сказал он Борису Емельяновичу, — бросай эти дела. Вечно ты со всякой херней перед боем лезешь.

— Ничего, — сказал Борис Емельянович, — нагоним. Этот парень — механик не хуже Итакина, мне сейчас двигатель за минуту завел...

Мрачный покосился на Сашу, но ничего не сказал.

Со стороны далеких синих холмов у горизонта донесся быстро приближающийся гул. Саша поднял голову и увидел эскадрилью F-15, идущих на бреющем полете. Они пронеслись прямо над танками, и передний истребитель, на крыле которого была нарисована красная орлиная голова, в двух десятках метров от земли сделал бочку и свечой, почти вертикально, пошел вверх; остальные разделились на две группы и, набирая высоту, пошли в сторону далекой горы со срезанным верхом, и тут Сашу второй раз за день посетило чувство, что это уже с ним было — может быть, как-то по-другому, но было — он был уверен.

— Ну, сегодня ни один МиГ не сунется, — сказал Борис Емельянович. — Кузьма Ульяныч в воздухе. Это его машина с орлом. Можешь свою зенитку здесь оставить.

— Пожожу, — ответил мрачный.

Где-то вдали у горы засверкало, и донесся грохот.

— Началось, — сказал мрачный. — Пора.

— Я вам такую же зенитку привез, — вспомнив, сказал Саша и вынул из сумки дискету. — Там еще два ПТУРСа на башню.

Но Борис Емельянович уже спускался в танк.

— Некогда, отдашь Итакину.

Лязгнул люк, потом второй, и танки, отбрасывая гусеницами комья земли, рванули с места. Саша смотрел им вслед, пока они не превратились в две точки, и пошел к ферме, где на единственном уцелевшем куске стены у двери горели давно замеченные им два призрачных факела.

Level 7

Когда за Сашиной спиной закрылась дверь, он понял, что выбрался наконец из подземелья и находится где-то во внутренних покоях дворца. Вокруг были уже не грубо

обтесанные каменные глыбы, а тонкие ажурные мостики, поддерживаемые легкими резными колоннами. Куда-то в сумрак уходили потолки, блестили в черном бархатном небе за окнами яркие южные звезды, и даже факелы на стенах горели иначе, без треска и копоти.

С двух сторон от Саши были две одинаковые опущенные решетки, а на стенах над ними висели узорчатые персидские ковры, и этого он тоже никогда не видел на нижних уровнях. Он пошел к левой решетке, возле которой из пола чуть поднималась управляющая подъемным механизмом плита, но, когда он встал на нее, подниматься начала решетка за его спиной. Саша развернулся и побежал назад.

За решеткой дорога разветвлялась. Можно было подпрыгнуть, подтянуться и побежать вперед — там звякало сразу несколько разрезов пополам, и значит, где-то рядом был спрятан кувшин, а может, и два сразу — было такое один раз на третьем уровне. Можно было, наоборот, спуститься вниз, и Саша, секунду поколебавшись, решил так и поступить. Внизу начиналась длинная галерея с узкой полосой росписи на стене; в бронзовых кольцах, ввинченных в стену, коптили факелы, а впереди, защищая путь к лестнице, стоял страж в алом халате, с подкрученными вверх усами и длинным мечом в руке. Саша заметил в правом нижнем углу экрана сразу шесть треугольничков, обозначающих жизненную силу противника, и похолодел: такие ему еще не попадались. Самое большее до сих пор — четыре треугольничка. Саша вытащил свой меч, найденный когда-то возле груды человеческих костей, и встал в позицию. Воин, пристально глядя ему в глаза и постукивая ногой в зеленом сафьяновом сапоге по каменным плитам, стал приближаться. Вдруг он сделал неуловимо быстрый выпад, и Саша, еле успев отбить его меч клавишей «PgUp», сразу нажал «Shift», но этот всегда безотказный прием не сработал — воин успел отскочить и снова стал приближаться.

— Здорово, Саш! — раздалось вдруг за спиной.

Саша испытал острую ненависть к неизвестному идиоту, вздумавшему отвлекать его разговорами в такую мину-

ту, сделал ложный выпад и, целясь врагу мечом прямо в горло, прыгнул вперед. Воин в алом халате опять успел отскочить.

— Саша!

Саша почувствовал, как чьи-то руки разворачивают его вместе с вращающимся стулом, и чуть не ткнул мечом появившегося перед ним человека.

Это был Петя Итакин. На нем был зеленый свитер и протертые джинсы, что очень удивило Сашу, знавшего госплановский этикет.

— Пойдем поговорим, — сказал Итакин.

Саша оглянулся на замершую на мониторе фигурку.

— А я тебя уже час жду, — сказал он, — начальнику твоему «Абрамс» запустил.

— Видел уже, — сказал Итакин. — Ему минут пять назад тэ-семидесятый прямо под башню засадил. Он чиниться приезжал.

Саша встал и пошел за приятелем в коридор. Петя время от времени через что-то перепрыгивал, а один раз упал на пол и замер; Саша заметил огромный синий глаз, проплывший прямо над ним, и догадался, что это «Тауэр», третья или четвертая башня. Сам он поднялся когда-то до половины первой, но, когда услышал, что после того, как взойдешь на первую башню, надо лезть на вторую и совершенно неизвестно, что будет потом, бросил это дело и стал принцем. А Петя лез на башню уже не первый год.

Они вышли на лестницу, где Петя ловко увернулся от чего-то вроде вертикально летящего бумеранга, и попали на пустой длинный балкон, заваленный выгоревшими на солнце стендами с цветными фотографиями каких-то дряблых лиц. Саша проверил пол под ногами — кажется, сомнительных плит не было. Петя, облокотившись на перила, уставился на огни города внизу.

— Чего? — спросил Саша.

— Так, — сказал Петя. — Я из Госплана скоро ухожу.

— Куда?

Петя неопределенно кивнул головой вправо. Саша посмотрел туда — там были тысячи разноцветных светящихся точек, горящих до самого горизонта. Можно было по-

нять Итакина и в том смысле, что он планирует прыжок с балкона.

— Как звезды в «Принце», — вдруг сказал Саша, глядя на огни, — только все вверх ногами. Или вниз головой.

— А может, это в твоём «Принце» все вверх ногами, — сказал Петя. — Никогда не думал, почему там картинка иногда переворачивается?

Саша помотал головой. Как всегда, вид вечернего города навевал печаль. Вспоминалось что-то забытое и сразу же забывалось опять, и это «что-то» больше всего было похоже на тысячу раз данную себе и уже девятьсот девятью раз нарушенную клятву.

— На фига, интересно, мы живем? — спросил он.

— Ну вот, — сказал Петя, — вроде и не пил сегодня, а... Вообще, ты стражника спроси. Он тебе объяснит насчет жизни.

Саша опять усталился на огни.

— Вот ты второй год по лабиринту бежишь, — заговорил Петя, — а ты думал когда-нибудь, на самом он деле или нет?

— Кто?

— Лабиринт.

— В смысле существует он или нет?

— Да.

Саша задумался.

— Пожалуй, существует. Точнее, правильно сказать, что он существует ровно в той же степени, в какой существует принц. Потому что лабиринт существует только для него.

— Если уж сказать совсем правильно, — сказал Петя, — и лабиринт и фигурка существуют только для того, кто глядит на экран монитора.

— Ну да. То есть почему?

— Потому что и лабиринт и фигурка могут появляться только в нём. Да и сам монитор, кстати, тоже.

— Ну, — сказал Саша, — мы это на втором курсе проходили.

— Но тут есть одна деталь, — не обращая внимания на Сашины слова, продолжал Петя, — одна очень важная

деталь. Ее те козлы, с которыми мы это проходили, забыли сообщить.

— Какая?

— Понимаешь, — сказал Петя, — если фигурка давно работает в Госснабе, она почему-то решает, что это она глядит в монитор, хотя она всего лишь бежит по его экрану. Да и вообще, если б нарисованная фигурка могла на что-то поглядеть, первым делом она бы заметила того, кто смотрит на нее.

— А кто на нее смотрит?

Петя задумался.

— Есть только один спо...

В следующий момент его что-то сильно толкнуло в спину, он перекувырнулся через перила и полетел вниз; Саша увидел похожую на бумеранг штуку, какую он уже видел на лестнице, — крутясь, она умчалась куда-то в направлении увенчанных неподвижным дымом труб на горизонте. Саша даже не успел испугаться, так быстро все это произошло. Перегнувшись через перила, он увидел Петю, вцепившегося руками в перила балкона этажом ниже.

— Все в порядке, — крикнул Петя, — костылявки максимум на один этаж сбрасывают. Сейчас я...

Но тут Саша заметил медленно подплывающий к Пете вдоль стены огромный глаз, похожий на круглый аквариум, до краев наполненный синими чернилами.

— Петя! Слева! — крикнул он.

Петя освободил одну руку и пустил в синий глаз два красных шарика размером с клубок шерсти — от первого глаз дернулся и замер, а от второго с хлопающим звуком растворился в воздухе.

— Иди в шестьсот двадцатую, — крикнул Петя, перелезая через перила, — я сейчас приду, и будем твою игру докалывать.

Саша повернулся к выходу с балкона, и вдруг прямо перед ним с грохотом упала стальная решетка, расколов острыми зубьями несколько кафельных плит пола. Он шагнул назад, и вторая решетка с лязгом ударила в перила балкона. Саша поднял голову, увидел в близком бетонном потолке небольшой квадратный лаз, привычно

подпрыгнул, подтянулся и вылез в узкий каменный коридор.

Впереди на пол падало квадратное пятно красноватого света. Прижимаясь к стене, Саша дошел до него и осторожно глянул вверх. Там была узкая четырехугольная шахта, и в ней, далеко наверху, горел факел и виднелся участок закопченного потолка, — видимо, это была обычная коридорная ловушка, но сейчас Саша был на ее дне. Наверху могли быть стражники, поэтому он встал на цыпочки и, осторожно ступая по веками копившемуся праху, пошел вперед. Впереди оказался поворот и в нескольких метрах за ним — тупик. Он двинулся было назад, но услышал, как в дальнем конце коридора лязгнула решетка, и остановился. Он попал в мешок. Теперь оставалось только одно: тщательно проверить все плиты пола и потолка — любая из них могла управлять решетками или поворачивающимися участками стены. Вытянув руки над головой, он подпрыгнул. Потом еще раз. Потом еще. Третья плита чуть-чуть подалась. Дальше все было просто: он еще раз подпрыгнул, толкнул плиту руками и сразу же отскочил; плита выпала. Раздался грохот, и он привычно зажмурился, чтобы взлетевшая с пола пыль не попала в глаза. Немного погодя он шагнул вперед. Теперь в потолке зияло прямоугольное отверстие, через которое можно было пролезть, а над ним вверх уходила стена с деревянными карнизами через каждые два с половиной метра — это расстояние на всех уровнях было одинаковым. Стоя на таком карнизе, можно было подпрыгнуть вверх, в прыжке схватиться за следующий, влезть на него, встать и повторить то же самое — и так до самого верха. На этой стене карнизов было шесть, и вся процедура заняла у Саши чуть больше минуты, причем он ни капли не устал.

Теперь он стоял в коридоре между стен из грубо обтесанных каменных блоков. Впереди был колодец, и оттуда тянуло горьким факельным дымом. Саша заглянул вниз — метрах в пяти был виден ярко освещенный пол. Саша вздохнул, спустил в дыру ноги, повис над пустотой на руках и с некоторым усилием заставил себя разжать пальцы. Высота была не такой уж и большой, но плита,

на которую он упал, ушла из-под ног и полетела вниз; уцепиться за край он не успел и после томительно долгого падения врезался в пол, в обломки только что расколовшейся плиты. Он не разбился, но удар и неожиданность оглушили — несколько секунд он с зажмуренными глазами сидел на карачках, вспоминая, как давно в детстве, страшной черной зимой, сильно ушиб копчик, прыгнув из слухового окна газовой подстанции на заиндевевый матрас внизу. А когда он, помотав головой, открыл глаза, оказалось, что он находится в той самой галерее с полосой орнамента на стене, откуда его вытащил Итакин, и на него, сложив руки на груди, смотрит тот же самый стражник в алом халате — это был он, в чем Саша убедился, глянув в нижний угол монитора и увидев там шесть треугольничков, обозначающих жизненную силу. Саша вскочил на ноги, встал в боевую позицию и выхватил меч. Воин выхватил свой и пошел навстречу; его взгляд до такой степени не сулил ничего хорошего, что вспомнившийся совет Итакина поговорить со стражником о жизни показался злой шуткой. Саша повертел в воздухе концом лезвия, собираясь нанести удар, и вдруг воин неожиданным и точным движением выбил меч из Сашиной руки и плашмя ударил его тяжелым клинком по голове.

Level 8

Саша открыл глаза и с недоумением обвел ими небольшую полутемную комнату, на полу которой он лежал. Под ним был мягкий ковер, на стене горела масляная плошка, а у стены стоял удивительной красоты сундук, окованный чеканными медными листами. Под толчком плыли клубы дыма; пахло чем-то странным, словно палеными перьями или жженой резиной, но запах был приятный. Саша попытался сесть и понял, что не в состоянии пошевелиться: почти по горло на него был натянута похожий на обивку матраса мешок, перемотанный толстой веревкой.

— Проснулся, шурави?

Изогнувшись червем, Саша перевернулся на другой бок и увидел воина в красном халате, сидящего на подушках. Рядом с ним дымился небольшой кальян, длинная кишка которого с медным мундштуком лежала на ковре. По другую сторону валялась Сашина сумка. Воин вынул из складок халата кривой нож, показал его Саше и захохотал.

— Да ты не бойся, шурави, не бойся, — сказал он, нагибаясь над Сашей. — Сразу не убил — теперь не трону.

Петли вокруг мешка ослабли. Воин сел на свои подушки и, посасывая кальян, задумчиво глядел, как Саша выпутывается из мешка. Когда он окончательно вылез и, сев на ковер, стал растирать затекшие ноги, воин молча протянул ему дымящийся шланг. Саша безропотно взял его и глубоко затянулся. Комната сразу сузилась и перекосилась, и вдруг стало слышно потрескивание масла в лампе — как оказалось, это была целая энциклопедия звука.

— Меня зовут Зайнадин Абу Бакр Аббас ал-Хувафи, — сказал воин, подтягивая к себе раскрытую Сашину сумку и запуская в нее пятерню. — Можешь звать меня по любому из этих имен.

— Меня — Алексей, — наврал почему-то Саша. Из всех непонятных слов он разобрал только «Аббас».

— Ты ведь духовный человек?

— Я-то? — переспросил Саша, с интересом наблюдая за трансформациями комнаты. — Пожалуй, духовный.

Почему-то он чувствовал себя в безопасности.

— Вот я и смотрю, какие ты книги читаешь.

Аббас держал в руках книгу Джона Спенсера Тримингема «Суфийские ордены в исламе», недавно купленную Сашей в «Академкниге» и дочитанную уже до середины. На ее обложке был нарисован какой-то мистический символ — зеленое дерево, составленное из переплетенных арабских букв.

— Очень тебя убить хотел, — признался Аббас, взвешивая книгу в руке и нежно глядя на обложку. — Но духовного человека — не могу.

— А за что меня убивать?

— А за что ты сегодня Маруфа убил?

— Какого Маруфа?

— Не помнишь уже?

— А, этого, что ли... с ятаганом? И перо еще на тюрбане?

— Этого.

— Да я не хотел, — ответил Саша, — он сам полез. Или не сам... В общем, он уже стоял у дверей с ятаганом. Как-то все машинально получилось.

Аббас недоверчиво покачал головой.

— Да что ты, меня за изверга принимаешь? — даже растерялся Саша.

— А то нет. Вами, шурави, у нас в деревнях детей пугают. А Маруф этот, которого ты зарезал, утром ко мне подошел и говорит: прощай, говорит, Зайнаддин Абу Бакр. Чую, сегодня шурави придет... Я думал, он гашиша объелся, а днем приносят его в караулку с перерезанным горлом...

— Я правда не хотел, — с досадой сказал Саша.

Аббас усмехнулся.

— Хотел не хотел. У каждого своя судьба, и все нити в руке Аллаха. Так?

— Точно, — сказал Саша. — Вот это точно.

— Я тут с одним суфием из Хорасана пять дней пил, — сказал Аббас, — он мне и рассказал одну сказку... В общем, я точно не помню, как там было, но там кого-то по ошибке зарезали, а после оказалось, что это был убийца и преступник, который как раз собирался совершить свое самое страшное злодеяние. Я вообще люблю с духовными людьми выпить... Вспомнил я эту сказку и думаю — а вдруг ты тоже какие сказки знаешь?

Аббас подошел к сундуку и вынул бутылку виски «Уайт Хорс», два пластиковых стакана и несколько мятых сигарет.

— Это откуда? — изумился Саша.

— Американцы, — ответил Аббас. — Гуманитарная помощь. Как у вас компьютеры в министерствах начали ставить, так они нам помогать стали. Ну и еще на гашиш меняют.

— А американцы что, не изверги? — спросил Саша.

— Да разные есть, — ответил Аббас, наполняя два пластиковых стакана. — С ними хоть договориться можно.

— Договориться — это как?

— Запросто. Ты, когда видишь стражника, нажимай кнопку «К». Он тогда притворится мертвым, а ты шагай себе дальше.

— Не знал, — ответил Саша, принимая стакан.

— А откуда тебе знать, — сказал Аббас, поднимая свой и салютуя им Саше, — когда у вас все игры колодые. Инструкций-то нет. Но ведь спросить можно? Я думал, шурави говорить не умеют.

Аббас выпил и шумно выдохнул.

— Вот есть там у вас такой Главмосжилинж, — вдруг совершенно другим тоном заговорил он, — и есть там Чуканов Семен Прокофьевич — такой, сука, маленький и жирный. Вот это гадина так гадина. Выходит на первый уровень — дальше боится, ловушки там — и ждет наших. Ну, у нас, понятно, дело военное: хочешь не хочешь — иди. А ребята там неумелые, молодежь. Так он каждый день пять человек убивает. Норма у него. Войдет, убьет и выйдет. Потом опять. Ну, если он на седьмой уровень попадет...

Аббас положил руку на рукоять меча.

— А американцы вам оружие поставляют? — спросил Саша, чтобы сменить тему.

— Поставляют.

— А можно посмотреть?

Аббас подошел к своему сундуку, вынул небольшой пергаментный свиток и кинул его Саше. Саша развернул свиток и увидел короткий столбец команд микроассемблера, витиевато написанных черной тушью.

— Что это? — спросил он.

— Вирус, — ответил Аббас, наливая еще по стакану.

— Ах ты... Я-то думаю, кто у нас все время систему стирает? А в каком он файле сидит?

— Ну ладно, — сказал Аббас, — хватит о чепухе. Пора сказку рассказать.

— Какую сказку?

— Учебную. Ты же духовный человек? Значит, должен знать.

— А про что? — спросил Саша, косясь на длинный меч, лежащий на ковре недалеко от Аббаса.

— Про что хочешь. Главное — чтоб мудрость была.

Чтобы выгадать минуту на размышление, Саша поднял с ковра шланг кальяна и несколько раз подряд глубоко затынулся, вспоминая, что он прочел у Тримингэма про суфийские сказки. Потом на минуту закрыл глаза.

— Ты про магрибский молитвенный коврик знаешь? — спросил он уже приготовившегося слушать Аббаса.

— Нет.

— Ну так слушай. У одного визиря был маленький сын по имени Юсуф. Однажды он вышел за пределы отцовского поместья и отправился гулять. И вот он дошел до пустынной дороги, где любил прогуливаться в одиночестве, и пошел по ней, глядя по сторонам. И вдруг увидел какого-то старика в одежде шейха, с черной шляпой на голове. Мальчик вежливо приветствовал старика, и тогда старик остановился и дал ему сладкого сахарного петушка. А когда Юсуф съел его, старик спросил: «Мальчик, ты любишь сказки?» Юсуф очень любил сказки и так и ответил. «Я знаю одну сказку, — сказал старик, — это сказка про магрибский молитвенный коврик. Я бы тебе ее рассказал, но уж больно она страшна». Но мальчик Юсуф, естественно, сказал, что ничего не боится, и приготовился слушать. И вдруг где-то в той стороне, где было поместье его отца, раздался звон колокольчиков и громкие крики — так всегда бывало, когда кто-нибудь приезжал. Мальчик мгновенно позабыл про старика в черной шляпе и кинулся поглядеть, кто это приехал. Оказалось, это был всего лишь незначительный подчиненный его отца, и мальчик со всех ног побежал назад, но старика на дороге уже не было. Тогда он очень расстроился и пошел назад в поместье. Выбрав минуту, он подошел к отцу и спросил: «Папа! Ты знаешь что-нибудь про магрибский молитвенный коврик?» И вдруг его отец побледнел, затрясся всем телом, упал на пол и умер. Тогда мальчик очень испугался и побежал к маме. «Мама! — крикнул он. — Несчастье!» Она подошла к нему, улыбнулась, положила ему на голову руку и спросила: «Что такое, сынок?» — «Мама, — закричал мальчик, — я подошел к папе и спросил его про одну вещь, а он вдруг упал и умер!» — «Про какую вещь?» — нахму-

рясь, спросила она. «Про магрибский молитвенный коврик!» И вдруг она тоже страшно побледнела, затряслась всем телом, упала и умерла. Мальчик остался совсем один, и скоро могущественные враги его отца захватили поместье, а самого его выгнали на все четыре стороны. Он долго странствовал по всей Персии и наконец попал в ханаку к очень известному суфию и стал его учеником. Прошло несколько лет, и Юсуф подошел к этому суфию, когда тот был один, поклонился и сказал: «Учитель, я учусь у вас уже несколько лет. Могу я задать вам один вопрос?» — «Спрашивай, сын мой», — улыбнувшись, сказал суфий. «Учитель, вы знаете что-нибудь о магрибском молитвенном коврике?» Суфий побледнел, схватился за сердце и упал мертвый. Тогда Юсуф кинулся прочь. С тех пор он стал странствующим дервишем и ходил по Персии в поисках известных учителей. И все, кого бы он ни спрашивал про магрибский коврик, падали на землю и умирали. Постепенно Юсуф состарился и стал немощным. Ему стали приходить в голову мысли, что он скоро умрет и не оставит после себя на земле никакого следа. И вот однажды, когда он сидел в чайхане и думал обо всем этом, он вдруг увидел того самого старика в черной шляпе. Старик был такой же, как и раньше, — годы ничуть его не состарили. Юсуф подбежал к нему, встал на колени и взмолился: «Почтенный шейх! Я ищу вас всю жизнь! Расскажите мне о магрибском молитвенном коврике!» Старик в черной шляпе сказал: «Ну ладно. Будь по-твоему». Юсуф приготовился слушать. Тогда старик уселся напротив него, вздохнул и умер. Юсуф целый день и целую ночь в молчании просидел возле его трупa. Потом встал, снял с него черную шляпу и надел себе на голову. У него оставалось несколько мелких монет, и перед уходом он купил на них у владельца чайханы сахарного петушка...

Аббас долго молчал, а потом сказал:

— Признайся, ты скрытый шейх?

Саша не ответил.

— Понимаю, — сказал Аббас, — все понимаю. Скажи, а у этого дедушки шляпа точно была черная?

— Точно.

— Может, зеленая? Я думаю, может, это Зеленый Хидр был?

— А что тут у вас знают о Зеленом Хидре? — спросил Саша. Он еще не прочитал у Тримингэма, кто это такой, и ему было интересно.

— Да все говорят разное. Вот, например, тот дервиш из Хорасана, с которым мы пили. Он сказал, что Зеленый Хидр редко является в своем настоящем обличье, он принимает чужую форму. Или вкладывает свои слова в уста разным людям — и каждый человек, если захочет, может постоянно его слышать, говоря даже с идиотами, потому что некоторые слова произносит за них Зеленый Хидр.

— Это верно, — сказал Саша. — Скажи, Аббас, а кто тут у вас на флейте играет?

— Никто не знает. Уж сколько раз весь лабиринт прочесывали... Без толку.

Аббас зевнул.

— Мне вообще-то на пост пора, — сказал он. — Кувшины надо разнести. Скоро американцы придут. Не знаю, как тебя отблагодарить... Разве что... Хочешь на принцессу посмотреть?

— Хочу, — ответил Саша и залпом выпил то, что оставалось у него в стакане.

Аббас встал, снял с гвоздя на стене связку больших ржавых ключей и вышел в полутемный коридор. Саша вышел за ним. Дверь комнаты, где они сидели, была покрашена под стену, и, когда Аббас закрыл ее, Саша подумал, что ему никогда не пришло бы в голову, что этот тупик — а он побывал в сотнях таких тупиков — на самом деле замаскированная дверь. Они молча дошли до выхода на следующий уровень, который оказался совсем рядом.

— Только тихо, — сказал Аббас, передавая Саше ключи, — а то наших перепугаешь.

— Ключи отдать потом?

— Оставь себе. Или выкинь.

— А тебе они не нужны?

— Будут нужны, — сказал Аббас, — сниму с гвоздя. Это твоя игра. У меня своя. Если что, заходи.

Он протянул Саше клочок бумаги с какой-то надписью.

— Здесь написано, как пройти, — сказал он.

Level 12

Подъем на самый верх занял от силы десять минут, а если бы Саша сразу попадал ключом в замочные скважины, понадобилось бы и того меньше. От уровня к уровню вела узкая служебная лестница, вырубленная в толще камня — что это за камень, определить было трудно, потому что он был очень приблизительным, да и существовал недолго: когда за Сашей закрылась последняя дверь, реальность снова приобрела ясные цвета и четкость.

Саша увидел перед собой уходящую далеко вверх стену с такими же карнизами, как те, по которым он совсем недавно карабкался навстречу Аббасу. Он машинально шагнул вперед, подпрыгнул и подтянулся. Вспомнив, что у него ключи, он плюнул, спустился вниз и неожиданно для самого себя прыгнул прямо на глухую стену, стукнулся о камни, свалился, опять прыгнул и опять упал. Попытавшись нормально встать на ноги, он вместо этого подскочил, прогнулся и секунду висел в воздухе с вытянутыми над головой руками. Только после этого он пришел в себя и со стыдом подумал: «Вот ведь развезло».

Это был последний уровень, и служебная лестница здесь кончалась. Саша побежал по длинной галерее с факелами в бронзовых кольцах (ему все казалось, что кто-то воткнул их туда вместо флагов) и через некоторое время уткнулся в висящий на стене ковер. Развернувшись, он побежал в другую сторону, петляя по коридорам и галереям, и вышел к тяжелой металлической двери вроде тех, что вели с уровня на уровень. С ключами наготове он нагнулся к ней, но замка в двери не оказалось. Именно за этой дверью должна была быть принцесса, только, чтобы открыть эту дверь, надо было очень долго лазить по далеким аппендиксам двенадцатого уровня, на каждом шагу рискуя свернуть шею, хоть и нарисованную, но единственную.

Другой вход он нашел минут через десять, заглянув за ковер, висящий в тупике коридора. В одной из плит был черный зрачок замочной скважины. Саша сунул туда самый маленький ключ из связки, и открылась крохотная железная дверка, не больше окна пожарного крана. Саша с трудом протиснулся внутрь.

Перед ним был зал с высоким сводчатым потолком; на стенах горели факелы и висели ковры, а в дальнем конце видна была поднятая решетка, за которой начинался полутемный коридор. В другой стене была тяжелая металлическая дверь, та самая, в которой не было замочной скважины и через которую Саше полагалось бы войти, сумеи он когда-нибудь добраться до этого уровня сам. Он узнал это место — именно здесь он видел принцессу, когда она иногда появлялась на экране. Но сейчас ее не было, как не было ни ковров с подушками, ни пузатых песочных часов, ни дворцовой кошки. Был только голый пол. Зато поднятой решетки в стене Саша раньше не видел — эта часть зала не попадала на экран, когда показывали принцессу. Он пошел вперед.

Коридор за решеткой неожиданно кончился банальной деревянной дверью вроде тех, что приводят в коммунальную ванную или сортир, и Саше в душу закралось нехорошее предчувствие. Он потянул дверь на себя.

Комната больше всего напоминала большой пустой чулан. Пахло чем-то затхлым — так пахнет в местах, где хозяева держат нескольких кошек и собирают советские газеты в подшивку. На полу валялся мусор: пустые аптечные флаконы, старый ботинок, сломанная гитара без струн и какие-то бумажные обрывки. Обои в нескольких местах отстали и свисали целыми лоскутами, а окно выходило на близкую — в метре, не больше — кирпичную стену. В середине комнаты стояла принцесса.

Саша долго смотрел на нее, потом несколько раз обошел вокруг и вдруг сильно залепил по ней ногой. Тогда все, из чего она состояла, повалилось на пол и распалось — сделанная из сухой тыквы голова с наклеенными глазами и ртом оказалась возле батареи, картонные руки согнулись в рукавах дрянного ситцевого халата, правая нога отпала, а левая повалилась на пол вместе с обтяну-

тым черной тканью поясным манекеном на железном шесте, упавшим плашмя, прямо и как-то однозначно, словно застрелившийся политрук. Саша вышел из комнаты и побрел по коридору назад, но решетка, отделявшая коридор от сводчатого зала, оказалась опущенной. Он вспомнил, что слышал звук ее падения через секунду после того, как ударил ногой по манекену, но в тот момент не обратил на это внимания.

Вернувшись, он еще раз поглядел на пол, на обои и заметил в одном месте контур заклеенной двери. Он подошел и нажал на нее плечом. Дверь прогнулась, но не открылась; видимо, она была очень тонкой. Тогда Саша отошел, сжал кулаки и с разгону врезался в нее плечом — с такой силой, что, распахнув ее и с хрустом прорвав обои, пронесся еще метр или два по воздуху и только потом, споткнувшись обо что-то, полетел на пол, мельком увидев впереди чьи-то плечи, затылок и спинку стула.

— Тише, — сказал Итакин, поворачивая голову от экрана, на котором мерцал высокий сводчатый зал, в центре которого на ковре гладила кошку принцесса. — Бориса Емельяновича растревожишь. Ему сейчас опять в бой. У них сегодня большие потери.

Саша приподнялся на руках и оглянулся — за его спиной поскрипывала раскрытая дверца стенного шкафа, из которой еще планировали на пол какие-то бумаги.

— Ну и дела, Петя, — сказал он, поднимаясь на ноги. — Что же это такое?

— Ты про принцессу? — спросил Итакин.

Саша кивнул.

— Это к ней ты и шел все время, — сказал Итакин. — Я ж говорю, твою игру раскололи.

— Неужели никто до нее не доходил?

— Почему? Очень многие доходили.

— Так почему они молчали? Чтобы другие тоже... чтобы им не было так обидно?

— Я думаю, не поэтому. Просто, когда человек тратит столько времени и сил на дорогу и наконец доходит, он уже не может увидеть все таким, как на самом деле... Хотя это тоже не точно. Никакого «самого дела» на самом деле нет. Скажем, он не может позволить себе увидеть.

— А почему тогда я видел?

— Ну, ты просто прошел по служебной лестнице.

— Но как же можно увидеть что-то другое? И потом, я ведь столько раз видел ее сам — когда переходишь с уровня на уровень, она иногда появляется на экране и она совсем не такая!

— Я, наверное, не совсем правильно выразился, — сказал Итакин. — Эта игра так устроена, что дойти до принцессы может только нарисованный принц.

— Почему?

— Потому что принцесса тоже нарисована. А нарисовано может быть все что угодно.

— Но куда деваются те, кто играет? Те, кто управляет принцем?

— Помнишь, как ты вышел на двенадцатый уровень? — спросил Итакин и кивнул на экран.

— Помню.

— Ты можешь сказать, кто бился головой о стену и прыгал вверх? Ты или принц?

— Конечно принц, — сказал Саша. — Я и прыгать-то так не умею.

— А где в это время был ты?

Саша открыл было рот, чтобы ответить, и замер.

— Вот туда они и деваются, — сказал Итакин.

Саша сел на стул у стены и долгое время думал.

— Слушай, — сказал он наконец, — кто же там все-таки на флейте играет?

— А вот этого до сих пор никто не знает.

Саша поглядел на часы и вдруг икнул.

— На углу еще можно взять, — сказал он, — я сейчас сгоняю. Подождешь? По стакану, а?

— Мне спешить некуда, — сказал Итакин. — Только тебя назад не пустят.

— Да я быстро, — нажимая «Escape», сказал Саша, — через пятнадцать минут.

На экране застыла картинка: из-под мавританской арки открывался вид на огромный восточный дворец, состоящий из множества башен и башенок, тянувшихся к сияющему огромными звездами летнему небу.

Game paused

Возле углового гастронома шевелилась такая очередь, что Саша понял: взять бутылку будет крайне трудно и, может быть, невозможно вообще. Будь он трезвым, это точно было бы невозможно, но он, как оказалось, выпил достаточно, чтобы через несколько минут броуновского движения по переполненному залу оказаться не так уж далеко от кассы. Со всех сторон напирали и матерились, но скоро Саша сообразил, что кажущийся хаос на самом деле представляет собой упорядоченное движение четырех очередей, трущихся друг о друга из-за разной скорости. Очередь за портвейном была слева, а та, в которую он попал, — за килькой в томате, той самой, что после открытия банки имеет обыкновение внимательно глядеть на открывшего не меньше чем десятком крошечных блестящих глаз. Сашина очередь двигалась быстрее, чем очередь за портвейном, и он решил преодолеть следующие несколько метров в ее составе и только потом перейти в соседнюю. Этот маневр удался, и Саша оказался между стройотрядовской курткой, на спине которой было выведено загадочное слово «КАТЭК», и коричневым пиджаком, надетым прямо на голое мужское тело лет пятидесяти.

— Ы-ы-ы-ы... — сказал мужик в коричневом пиджаке, когда Саша посмотрел на него, и закатил глаза. Из рта у него немыслимо воняло; Саша торопливо отвернулся и стал смотреть на стену, где висел треугольный матерчатый вымпел и выпиленная из раскрашенной фанеры голова Ленина.

«Господи, — вдруг подумал он, — а я ведь действительно живу в этом... в этой... Стою пьяный в очереди за портвейном среди всех этих хрюсел — и думаю, что я принц?!»

— Килька кончается! — раздались испуганные голоса в соседней очереди. — Килька!

Саша почувствовал, что сзади его дергают за плечо.

— Что такое? — спросил он, оборачиваясь.

— Я так считаю, — сказал мужик в пиджаке, — надо нам идти на исконные наши земли — Владимир, Ярослав

лавль — раздать людям оружие и опять всю Россию завоевать.

— А потом?

— Потом идти воевать хана Кучума, — сказал мужик и потряс перед Сашей кулаком.

— Портвейн кончается... — тревожно зашептал народ.

Саша выдавился из очереди и стал проталкиваться к выходу. Пить теперь совершенно не хотелось. У выхода стояли две женщины в белых халатах и шапочках и, поглядывая на часы, тихо, но горячо что-то обсуждали.

Вдруг где-то сзади, словно бы под невидимым потолком раза в три выше магазинного, возник и стал расти странный звук, похожий на одновременный гул множества авиационных двигателей. За несколько секунд он достиг такой интенсивности, что люди, только что мирно матерившиеся в очередях, сначала стали в недоумении озираться, а потом приседать на корточки или даже откровенно падать на пол, затыкая руками уши. Звук достиг наибольшей силы, так же резко пошел на убыль и стих совсем, но ему на смену пришел грохот танковых моторов, так же непонятно где возникший и непонятно куда ушедший через несколько секунд.

— Вот так каждый вечер, — сказала женщина в белом халате, — ровно без пятнадцати шесть. Мы уж куда только не звонили. Мне Зоя из «Новоарбатского» говорила — у них то же самое...

Люди поднимались с пола и подозрительно пялились друг на друга, вспоминая, за кем и за чем кто стоял. Но это было не важно, потому что и килька и портвейн уже кончились.

Саша вышел на улицу и медленно побрел к сияющему веселыми электрическими огнями зданию Госплана. Впереди включилась разрезалка пополам — по тому болезненному скрипу, с которым она работала, и по большим щелям между гнутыми зубьями Саша догадался, что она не из его игры, а обычная советская разрезалка пополам, плохая и старая, то ли забытая кем-то на улице, то ли стоящая на положенном ей месте. Он прошел было мимо, но по приобретенной в игре привычке вернулся и посмотрел, не стоит ли сразу за ней, как это обычно бы-

вало в лабиринте, кувшин с восстанавливающим жизненную силу напитком. Кувшина не было, зато были сразу три бутылки семьдесят второго портвейна. Саша пошел дальше, прислушиваясь к ухающему скрипу за спиной и угадывая в нем несколько повторяющихся нот из «Подмосковных вечеров» — словно пластинку, стоящую на проигрывателе, заело, и ржавый голос безнадежно задавал тусклому московскому небу вечный русский вопрос: «есть ли бзна?.. есть ли бзна?.. есть ли бзна?»

Саша дошел до Госплана и понял, что опоздал. Рабочий день кончался, и высокая ассирийская дверь выбрасывала на улицу одну волну народа за другой. Он все-таки попытался войти, преодолел несколько метров против течения и уже уцепился было за холодное ограждение турникета, но был смыт и вынесен обратно на улицу группой жизнерадостных женщин. Мимо прочапал Кузьма Ульянович Старопопиков с портфелем в руке, и Саша машинально пошел за ним. Кузьма Ульянович сразу углубился в какие-то темные переулки — видно, жил где-то неподалеку. Саша сам не знал, зачем он идет за Старопопиковым — ему нужно было какое-нибудь дело, к которому можно на время пристроиться, чтобы спокойно подумать.

Минут через десять — а может, и через полчаса, он как-то потерял счет времени — Кузьма Ульянович, дойдя до большого и совершенно безлюдного двора, направился к угловому подъезду. Саша решил, что дальше идти за ним будет еще глупее, чем до сих пор, и совсем уже собрался развернуться, когда вдруг к Кузьме Ульяновичу подошли двое долговязых парней в модных натовских куртках. Саша мог дать что угодно на отсечение, что только что их не было во дворе. Он почуял неладное и быстро нырнул за пожарную лестницу, до самого низа забитую досками, — здесь его никто не мог увидеть, хоть он был рядом с подъездом.

— Вы — Кузьма Ульянович Старопопиков? — громко спросил один из подошедших — по-русски он говорил с сильным акцентом и, как и второй, был курчав, черен и небрит.

— Да, — с удивлением ответил Кузьма Ульянович.

— Вы бомбили лагерь под Аль-Джегази?

Кузьма Ульянович вздрогнул и снял очки.

— Вы сами-то кто бу... — начал было он, но собеседник не дал ему договорить.

— Организация Освобождения Палестины приговорила вас к смерти, — сказал он, доставая из кармана длинный пистолет. То же сделал и второй.

Кузьма Ульянович подпрыгнул и выронил из руки портфель, а в следующий миг оглушительно загремели выстрелы и полетели на асфальт стреляные гильзы. Первая же пуля отбросила Кузьму Ульяновича на дверь, но до того, как он упал, палестинцы уже разрядили в него обоймы своих пистолетов, повернулись и пошли прочь; Саша с удивлением заметил, что сквозь них видны деревья и скамейки, а когда они дошли до угла, то были уже почти невидимы и даже, кажется, не стали делать вид, что поворачивают за него. Наступила странная тишина. Саша вышел из-за пожарной лестницы, посмотрел на Кузьму Ульяновича, который тихо ворочался на асфальте у двери, и растерянно огляделся. Из соседнего подъезда вышел какой-то мужчина в спортивном костюме, и Саша со всех ног кинулся к нему. Тот удивленно остановился, и Саша вдруг почувствовал себя глупо.

— Вы сейчас ничего не слышали? — спросил он.

— Ничего. А что я должен был слышать?

— Так... Там человеку плохо.

Мужчина наконец увидел Кузьму Ульяновича.

— Пьяный, наверно, — сказал он, подходя и приглядываясь. — Хотя вроде нет. Эй, что с вами?

— Сердце, — слабо заговорил Кузьма Ульянович, делая между словами большие паузы. — Вызывайте «скорую», мне двигаться нельзя. Или лучше жену позовите. Второй этаж, сорок вторая квартира.

— Может, лучше мы вас отнесем?

— Нет, — сказал Кузьма Ульянович. — У меня уже два инфаркта было. Я знаю, что лучше и что хуже.

Мужик в спортивном костюме кинулся вверх по лестнице, а Саша повернулся и быстро пошел прочь.

Он сам не заметил, как добрал до метро и доехал до

Госснаба. Когда он пришел в себя на набережной, возле родной пятиэтажки с колоннами у фасада, он был уже окончательно трезв. Два окна на третьем этаже еще горели, и он решил подняться.

Третий этаж был пуст и темен, и все, казалось, ушли — только в первом подотделе малой древесины кто-то еще работал. Саша подошел к приоткрытой двери и заглянул в щель.

В центре помещения в ветхом голубом кимоно и зеленых хакама, с шапкой чиновника пятого ранга на голове и веером в руке стоял Борис Григорьевич. Он не мог видеть Сашу, потому что тот был в темном коридоре, но в момент, когда Саша заглянул в щель, Борис Григорьевич поднял веер над головой, сложил и опять раскрыл его, прижал на секунду к груди и резким движением протянул к Саше; затем медленно, перед каждым шагом подтягивая одну полусогнутую ногу к другой, поплыл к двери, не опуская повернутого на себя красным шелковым разворотом веера. Саше показалось, что начальник плачет — или тихо воет, — но через секунду он разобрал нараспев читаемое стихотворение:

Как капле росы,
Что на стебле
Сверкнет на секунду
И паром
Летит к облакам, —
Не так ли и нам
Скитаться всю вечность
Во тьме?
О безысходность!

Борис Григорьевич закрутился на месте и замер, высоко подняв веер. Так он стоял несколько минут, а затем словно пришел в себя — поправил пиджак, пригладил руками волосы и исчез в узком проходе между шкафами. Вскоре оттуда донесся свист меча, и Саша понял, что начальник принялся за свои обычные вечерние упражнения в «Будокане», во втором слева от ворот зале. Тогда он вошел, прокашлялся и крикнул:

— Борис Григорьевич!

Свист меча стих.

— Лапин?

— Я все подписал, Борис Григорьевич!

— Ага. Положи на шкаф, я сейчас занят.

— Я поработаю, Борис Григорьевич?

— Работай, работай. Я сегодня допоздна.

Саша положил бумаги на шкаф, сел на свое место и занес было палец над кнопкой, включающей компьютер. Потом он ухмыльнулся, взял с полки над столом телефонный справочник, полистал его и притянул к себе телефон.

— Алло, — сказал он в трубку, дождавшись ответа, — Главмосжилинж? Чуканов Семен Прокофьевич еще на месте? Какой?

Он записал новый номер и сразу же его набрал.

— Семена Прокофьевича. Семен Прокофьевич? Это из Госплана беспокоят, по поручению товарища Старопопикова... Главное, что он вас помнит... Ну как хотите. Ваше... Нет, насчет «Принца». Он просил вам передать, как на седьмой уровень сразу выйти... Не знаю, может быть, в министерстве на совещании. Ну вы сами там вспомните, где кто кого видел, а сейчас запишите... Жду... Значит, так...

Саша развернул данную ему Аббасом бумажку.

— Набираете слова «принц мегахит семь». Да, латинские. Русское «эн»... Нет, цифра. Ну что вы, не за что. Всего наилучшего. До свидания.

Он встал и вышел покурить, а вернувшись через несколько минут, набрал тот же номер.

— Семена Прокофьяча... Как... Я же только что с ним говорил... Какой ужас... Какой ужас... Извините...

Положив трубку, Саша включил компьютер.

Level 1

Спрыгнув с каменного карниза, он побрел по коридору в тупичок, куда раньше стаскивал всякие найденные вещи. Он уже давно туда не заходил, но все осталось

прежним — сложенная из обломков каменных плит лежанка, накрытая для мягкости ворохом истлевшего тряпья, чья-то берцовая кость, из которой он начинал было долбить мундштук, да забросил, пара узких медных кувшинов, в одном из которых что-то еще оставалось, и лежащий на полу госснабовский бланк с планом первого уровня, успевший покрыться густым слоем пыли. Саша лег на лежанку и закрыл глаза, и почти сразу же далеко-далеко наверху, за множеством каменных потолков, еле различимо запела флейта. Он стал вспоминать сегодняшний день, но слишком хотелось спать, и, натянув на себя часть тряпья и устроившись так, чтоб ниоткуда не дуло, он уснул.

Сначала ему снился Петя Итакин, сидящий на вершине какой-то башни и играющий на длинной камышовой флейте, а потом приснился Аббас в переливающимся зеленом халате, который долго объяснял ему, что если нажать одновременно клавиши «Shift», «Control» и «Return», а потом еще дотянуться до клавиши, на которой нарисована указывающая вверх стрелка, и нажать ее тоже, то фигурка, где бы она ни находилась и сколько бы врагов перед ней ни стояло, сделает очень необычную вещь — подпрыгнет вверх, выгнется и в следующий момент растворится в небе.

Have a nice DOS!

В >>

РАССКАЗЫ

ХРУСТАЛЬНЫЙ МИР

Вот — третий на пути. О милый друг мой, ты ль
В измятом картузе над взором оловянным?

А. Блок

Каждый, кому 24 октября 1917 года доводилось нюхать кокаин на безлюдных и бесчеловечных петроградских проспектах, знает, что человек вовсе не царь природы. Царь природы не складывал бы ладонь в подобие индийской мудры, пытаясь защитить от промозглого ветра крохотную стартовую площадку на ногте большого пальца. Царь природы не придерживал бы другой рукой норовящий упасть на глаза край башлыка. И уж до чего бы точно никогда не дошел царь природы, так это до унижительной необходимости держать зубами вонючие кожаные поводья, каждую секунду ожидая от тупой русской лошади давно уже предсказанного Дмитрием Сергеевичем Мережковским великого хамства.

— И как тебе не надоест только, Юрий? Уже пятый раз за сегодня нюхаешь, — сказал Николай, с тоской догадываясь, что товарищ и на этот раз не предложит угоститься.

Юрий спрятал перламутровую коробочку в карман шинели, секунду подумал и вдруг сильно ударил лошадь сапогами по бокам.

— Х-х-х-а! За ним повсюду всадник медный! — закричал он и с тяжело-звонким грохотом унесся вдаль по пустой и темной Шпалерной. Затем, как-то убедив свою лошадь затормозить и повернуть обратно, он поскакал к Николаю — по пути рубанул аптечную вывеску невидимой шашкой и даже попытался поднять лошадь на дыбы, но та в ответ на его усилия присела на задние ноги и стала пятиться через всю улицу к кондитерской витрине, заклеенной одинаковыми желтыми рекламами лимонада: усатый герой с георгиевскими крестами на груди, чуть пригибаясь, чтобы не попасть под осколки только что разорвавшие-

гося в небе шрапнельного снаряда, пьет из высокого бокала под взглядами двух приблизительно нарисованных красавиц сестер милосердия. Николай с кем-то уже обсуждал идиотизм и пошлость этого плаката, висевшего по всему городу вперемешку с эсеровскими и большевистскими листовками; сейчас он почему-то вспомнил брошюру Петра Успенского о четвертом измерении, напечатанную на паршивой газетной бумаге, и представил себе конский зад, выдвигающийся из пустоты и вышибающий лимонад из руки усталого воина.

Юрий наконец справился с лошадейю и после нескольких пируэтов в середине улицы направился к Николаю.

— Причем обрати внимание, — возобновил он прерванный разговор, — любая культура является именно парадоксальной целостностью вещей, на первый взгляд не имеющих друг к другу никакого отношения. Есть, конечно, параллели: стена, кольцом окружающая античный город, и круглая монета, или — быстрое преодоление огромных расстояний с помощью поездов, гаубиц и телеграфа. И так далее. Но главное, конечно, не в этом, а в том, что каждый раз проявляется некое нерасчленимое единство, некий принцип, который сам по себе не может быть сформулирован, несмотря на крайнюю простоту...

— Мы про это уже говорили, — сухо сказал Николай, — неопределимый принцип, одинаково представленный во всех феноменах культуры.

— Ну да. И этот культурный принцип имеет некий фиксированный период существования, примерно тысячу лет. А внутри этого срока он проходит те же стадии, что и человек, — культура может быть молодой, старой и умирающей. Как раз умирание сейчас и происходит. У нас это видно особенно ясно. Ведь это, — Юрий махнул рукой на кумачовую полосу с надписью «Ура Учредительному собранию!», протянутую между двумя фонарными столбами, — уже агония. Даже начало разложения.

Некоторое время ехали молча. Николай поглядывал по сторонам — улица словно вымерла, и если бы не несколько горящих окон, можно было бы решить, что вместе со старой культурой стинули и все ее носители. С начала дежурства пошел уже второй час, а прохожих не попадалось,

из-за чего совершенно невозможно было выполнить приказ капитана Приходова.

«Не пропускать по Шпалерной в сторону Смольного ни одну штатскую блядь, — сказал капитан на разводе, значительно глядя на Юрия. — Ясно?» — «Как прикажете понимать, господин капитан, — спросил его Юрий, — в прямом смысле?» — «Во всех смыслах, юнкер Попович, во всех».

Но чтобы не пропустить кого-то к Смольному по Шпалерной, надо, чтобы кроме двух готовых выполнить приказ юнкеров существовал и этот третий, пытающийся туда пройти, — а его не было, и пока боевая вахта сводилась к довольно путаному рассказу Юрия о рукописи какого-то немца, каковую сам Николай не мог прочесть из-за плохого знания языка.

— Как его зовут? Шпуллер?

— Шпенглер, — повторил Юрий.

— А как книга называется?

— Неизвестно. Я ж говорю, она еще не вышла. Это была машинопись первых глав. Через Швейцарию провезли.

— Надо запомнить, — пробормотал Николай и тут же опять начисто забыл немецкую фамилию — зато прочно запомнил совершенно бессмысленное слово «Шпуллер». Такие вещи происходили с ним все время: когда он пытался что-то запомнить, из головы вылетало именно это что-то, а оставались разные вспомогательные конструкции, которые должны были помочь сохранить запоминаемое в памяти, причем оставались очень основательно. Пытаясь вспомнить фамилию бородатого немецкого анархиста, которым зачитывалась гимназистка-сестра, он немедленно представлял себе памятник Марку Аврелию, а вспоминая номер какого-нибудь дома, вдруг сталкивался с датой «1825» и пятью профилями — не то с коньячной бутылки, не то из теософского журнала. Он сделал еще одну попытку вспомнить немецкую фамилию, но вслед за словом «Шпуллер» выскочили слова «Зингер» и «парабеллум»; второе было вообще ни при чем, а первое не могло быть нужным именем, потому что начиналось не на «Ш». Тогда Николай решил поступить хитро и запомнить слово

«Шпудлер» как похожее на вылетевшую из головы фамилию; по идее, при этом оно должно было забыться, уступив этой фамилии место.

Николай уже решил переспросить товарища, как вдруг заметил темную фигуру, крадущуюся вдоль стены со стороны Литейного проспекта, и дернул Юрия за рукав. Юрий встрепенулся, огляделся по сторонам, увидел прохожего и попытался свистнуть — получившийся звук свистом не был, но прозвучал достаточно предостерегающе.

Неизвестный господин, поняв, что замечен, отделился от стены, вошел в светлое пятно под фонарем и стал полностью виден. На первый взгляд ему было лет пятьдесят или чуть больше, одет он был в темное пальто с бархатным воротником, а на голове имел котелок. Лицо его с полухеховской бородкой и широкими скулами было бы совсем неприметным, если бы не хитро прищуренные глазки, которые, казалось, только что кому-то подмигнули в обе стороны и по совершенно разным поводам. В правой руке господин имел трость, которой помахивал взад-вперед в том смысле, что просто идет себе тут, никого не трогает и не собирается трогать и вообще знать ничего не желает о творящихся вокруг безобразиях. Склонному к метафоричности Николаю он показался похожим на специализирующегося по многотысячным рысакам конокрада.

— П'гивет, 'ебят, — развязно и даже, пожалуй, нагло сказал господин, — как служба?

— Вы куда изволите следовать, милостивый государь? — холодно спросил Николай.

— Я-то? А я гуляю. Гуляю тут. Сегодня, ве'гите, весь день кофий пил, к вече'гу так уж се'гце заныло... Дай, думаю, воздухом подышу...

— Значит, гуляете? — спросил Николай.

— Гуляю... А что, нельзя-с?

— Да нет, отчего. Только у нас к вам просьба — не могли бы вы гулять в другую сторону? Вам ведь все равно, где воздухом дышать?

— Все 'гавно, — ответил господин и вдруг нахмурился. — Но, однако, это безоб'газие какое-то. Я п'гивык по Шпале'гной туда-сюда, туда-сюда...

Он показал тростью как.

Юрий чуть покачнулся в седле, и господин перевел внимательные глазки на него, отчего Юрий почувствовал необходимость что-то произнести вслух.

— Но у нас приказ, — сказал он, — не пускать ни одну штатскую блядь к Смольному.

Господин как-то бойко оскорбился и задрал вверх бородку.

— Да как вы осмеливаетесь? Вы... Да я вас в газетах... В «Новом В'гемени»... — затараторил он, причем стало сразу ясно, что если он и имеет какое-то отношение к газетам, то уж, во всяком случае, не к «Новому Времени». — Наглость какая... Да вы знаете, с кем гово'гите?

Было какое-то несоответствие между его возмущенным тоном и готовностью, с которой он начал пятиться из пятна света назад, в темноту, — слова предполагали, что сейчас начнется долгий и тяжелый скандал, а движения показывали немедленную готовность даже не убежать, а именно задать стрекача.

— В городе чрезвычайное положение, — закричал ему вслед Николай, — подышите пару дней в окошко!

Молча и быстро господин уходил и вскоре полностью растворился в темноте.

— Мерзкий тип, — сказал Николай, — определенно жулик. Глазки-то как зыркают...

Юрий рассеянно кивнул. Юнкера доехали до угла Литейного проспекта и повернули назад — Юрию эта процедура стоила определенных усилий. В его обращении с лошастью проскальзывали ухватки опытного велосипедиста: он далеко разводил поводья, словно в его руках был руль, а когда надо было остановиться, подергивал ногами в стремянах, как будто вращая назад педали полугоночного «Данлопа».

Начал моросить отвратительный мелкий дождь, и Николай тоже накинуд на фуражку башлык, после чего они с Юрием стали совершенно неотличимы друг от друга.

— А что ты, Юра, думаешь, — долго Керенский протянет? — спросил через некоторое время Николай.

— Ничего не думаю, — ответил Юрий, — какая разница. Не один, так другой. Ты лучше скажи, как ты себя во всем этом ощущаешь?

— В каком смысле?

Николай в первый момент решил, что Юрий имеет в виду военную форму.

— Ну вот смотри, — сказал Юрий, указывая на что-то впереди жестом, похожим на движение сеятеля, — где-то война идет, люди гибнут. Свергли императора, все перевернули к чертовой матери. На каждом углу большевики гогочут, семечки жрут. Кухарки с красными бантами, матросня пьяная. Все пришло в движение, словно какую-то плотину прорвало. И вот ты, Николай Муромцев, стоишь в болотных сапогах своего духа в самой середине всей этой мути. Как ты себя понимаешь?

Николай задумался.

— Да я это как-то не формулировал. Вроде живу себе просто, и все.

— Но миссия-то у тебя есть?

— Какая там миссия, — ответил Николай и даже немного смутился. — Господь с тобой. Скажешь тоже.

Юрий потянул ремень перекосившегося карабина, и из-за его плеча выполз конец ствола, похожий на голову маленького стального индюка, внимательно слушающего разговор.

— Миссия есть у каждого, — сказал Юрий, — просто не надо понимать это слово торжественно. Вот, например, Карл Двенадцатый всю свою жизнь воевал. С нами, еще с кем-то. Чеканил всякие медали в свою честь, строил корабли, соблазнял женщин. Охотился, пил. А в это время в какой-то деревне рос, скажем, некий пастушок, у которого самая смелая мечта была о новых лаптях. Он, конечно, не думал, что у него есть какая-то миссия, — не только не думал, даже слова такого не знал. Потом попал в солдаты, получил ружье, кое-как научился стрелять. Может быть, даже не стрелять научился, а просто высовывать дуло из окопа и дергать за курок — а в это время где-то на линии полета пули скакал великолепный Карл Двенадцатый на специальной королевской лошади. И — прямо по тыкве...

Юрий повертел рукой, изображая падение убитого шведского короля с несущейся лошади.

— Самое интересное, — продолжал он, — что человек

чаще всего не догадывается, в чем его миссия, и не узнает того момента, когда выполняет действие, ради которого был послан на землю. Скажем, он считал, что он композитор и его задача — писать музыку, а на самом деле единственная цель его существования — попасть под телегу на пути в консерваторию.

— Это зачем?

— Ну, например, затем, чтобы у дамы, едущей на извозчике, от страха получился выкидыш и человечество избавилось от нового Чингисхана. Или затем, чтобы кому-то, стоящему у окна, пришла в голову новая мысль. Мало ли.

— Ну если так рассуждать, — сказал Николай, — то, конечно, миссия есть у каждого. Только узнать о ней положительно невозможно.

— Да нет, есть способы, — сказал Юрий и замолчал.

— Какие?

— Да есть такой доктор Штейнер в Швейцарии... Ну да ладно.

Юрий махнул рукой, и Николай понял, что лучше сейчас не лезть с расспросами.

Темной и таинственной была Шпалерная, темной и таинственной, как слова Юрия о неведомом немецком докторе. Все закрывал туман, хотелось спать, и Николай начал клевать носом. За промежуток времени между ударами копыт он успевал заснуть и пробудиться и каждый раз видел короткий сон. Сначала эти сны были хаотичными и бессмысленными: из темноты выплывали незнакомые лица, удивленно косились на него и исчезали; мелькнули темные пагоды на заснеженной вершине горы, и Николай вспомнил, что это монастырь, и вроде бы он даже что-то про него знал, но видение исчезло. Потом пригрезилось, что они с Юрием едут по высокому берегу реки и вглядываются в черную тучу, ползущую с запада и уже закрывшую полнеба, — и даже вроде не они с Юрием, а какие-то два воина — тут Николай догадался было о чем-то, но сразу же проснулся, и вокруг опять была Шпалерная.

В домах горело только пять или шесть окон, и они походили на стены той самой темной расщелины, за которой,

если верить древнему поэту, расположен вход в ад. «До чего же мрачный город, — думал Николай, прислушиваясь к свисту ветра в водосточных трубах, — и как только люди рожают здесь детей, дарят кому-то цветы, смеются... А ведь и я здесь живу...» Отчего-то его поразила эта мысль. Моросить перестало, но улица не стала уютней. Николай опять задремал в седле — на этот раз без всяких сновидений.

Разбудила долетевшая из темноты музыка, сначала неясная, а потом — когда юнкера приблизились к ее источнику (освещенному окну первого этажа в коричневом трехэтажном доме с дующим в трубу амуром над дверью) — оказавшаяся вальсом «На сопках Маньчжурии» в обычной духовой расфасовке.

Но-о-чь, тишина-а-а, лишь гаюлян шуми-и-т...

На глухой и негромкий звук граммофона накладывался сильный мужской голос; четкая тень его обладателя падала на крашеное стекло окна — судя по фуражке, это был офицер. Он держал на весу тарелку и махал вилкой в такт музыке — на некоторых тактах вилка расплывалась и становилась огромной нечеткой тенью какого-то сказочного насекомого.

Спите, друзья-а, страна больша-ая память о вас хранит...

Николай подумал о его друзьях.

Через десяток шагов музыка стихла, и Николай опять стал размышлять о странных речах Юрия.

— И какие это способы? — спросил он.

— Ты о чем?

— Да только что говорили. Как узнать о своей миссии.

— А, ерунда, — махнул Юрий рукой.

Он остановил лошадь, осторожно взял поводья в зубы и вынул из кармана перламутровую коробочку. Николай проехал чуть вперед, остановился и выразительно посмотрел на товарища.

Юрий закрылся руками, шмыгнул носом и изумленно глянул на Николая из-под ладони. Николай усмехнулся и закатил глаза. «Неужели опять, подлец, не предложит?» — подумал он.

— Не хочешь кокаину? — спросил наконец Юрий.

— Даже не знаю, — лениво ответил Николай. — Да у тебя хороший ли?

— Хороший.

— У капитана Приходова брал?

— Не, — сказал Юрий, заправляя вторую ноздрю, — это из эсеровских кругов. Такой боевики перед терактом нюхают.

— О! Любопытно.

Николай достал из-под шинели крохотную серебряную ложечку с монограммой и протянул Юрию; тот взял ее за чашечку и опустил витой стерженок ручки в перламутровую кокаинницу.

«Жмот», — подумал Николай, далеко, словно для сабельного удара, перегибаясь с лошади и поднося левую ноздрю к чуть подрагивающей руке товарища (Юрий держал ложечку двумя пальцами, сильно сжимая, словно у него в руке был крошечный и смертельно ядовитый гад, которому он сдавливал шею).

Кокаин привычно обжег носоглотку; Николай не почувствовал никакого отличия от обычных сортов, но из благодарности изобразил на лице целую гамму запредельных ощущений. Он не спешил разгибаться, надеясь, что Юрий подумает и о его правой ноздре, но тот вдруг захлопнул коробочку, быстро спрятал в карман и кивнул в сторону Литейного.

Николай выпрямился в седле. Со стороны проспекта кто-то шел — издали было неясно кто. Николай тихо выругался по-английски и поскакал навстречу.

По тротуару медленно и осторожно, словно каждую секунду боясь обо что-то споткнуться, шла пожилая женщина в шляпе с густой вуалью. Николай чуть не сбил ее лошадью — чудом успел повернуть в последнюю минуту. Женщина испуганно прижалась к стене дома и издала тихий покорный писк, отчего Николай вспомнил свою бабушку и испытал мгновенное и острое чувство вины.

— Мадам! — заорал он, выхватывая пашку и салютуя. — Что вы здесь делаете? В городе идут бои, вам известно об этом?

— Мне-то? — просипела сорванным голосом женщина. — Еще бы!

— Так что же вы — с ума сошли? Вас ведь могут убить, ограбить... Попадетесь какому-нибудь Плеханову, он вас своим броневиком сразу переедет, не задумываясь.

— Еще кто кого пе'гедет, — с неожиданной злобой пробормотала женщина и сжала довольно крупные кулаки.

— Мадам, — успокаиваясь и пряча шашку, заговорил Николай, — бодрое расположение вашего духа заслуживает всяческих похвал, но вам следует немедленно вернуться домой, к мужу и детям. Сядьте у камина, перечтите что-нибудь легкое, выпейте, наконец, вина. Но не выходите на улицу, умоляю вас.

— Мне надо туда. — Женщина решительно махнула ридикюлем в сторону ведущей в ад расщелины, которой к этому времени окончательно стала дальняя часть Шпалерной улицы.

— Да зачем вам?

— Под'гуга ждет. Компаньонка.

— Ну так встретитесь потом, — подъезжая, сказал Юрий. — Ведь ясно вам сказали: вперед нельзя. Назад можно, вперед нельзя.

Женщина повела головой из стороны в сторону — под вуалью черты ее лица были совершенно неразличимы и нельзя было определить, куда она смотрит.

— Ступайте, — ласково сказал Николай, — скоро десять часов, потом на улицах будет совсем опасно.

— Donnerwetter! — пробормотала женщина.

Где-то неподалеку завывала собака — в ее вое было столько тоски и ненависти, что Николай поежился в седле и вдруг почувствовал, до чего вокруг сыро и мерзко. Женщина как-то странно мялась под фонарем. Николай развернул лошадь и вопросительно поглядел на Юрия.

— Ну как тебе? — спросил тот.

— Не пойму. Не успел распробовать, мало было. Но вроде самый обычный.

— Да нет, — сказал Юрий, — я об этой женщине. Какая-то она странная, не понравилась мне.

— Да и мне не понравилась, — ответил Николай, обращившись посмотреть, не слышит ли их старуха, но той уже след простыл.

— И обрати внимание, оба картавят. Тот, первый, и эта.

— Да ну и что. Мало ли народу грассирует. Французы вообще все. И еще, кажется, немцы. Правда, чуть по-другому.

— Штейнер говорит, что, когда какое-то событие повторяется несколько раз, это указание высших сил.

— Какой Штейнер? Который эту книгу о культурах написал?

— Нет. Книгу писал Шпенглер. Он историк, а не доктор. А доктора Штейнера я видел в Швейцарии. Ходил к нему на лекции. Удивительный человек. Он-то мне про миссию и рассказал...

Юрий замолчал и вздохнул.

Юнкера медленно поехали по Шпалерной в сторону Смольного. Улица уже давно казалась мертвой, но только в том смысле, что с каждой новой минутой все сложнее было представить себе живого человека в одном из черных окон или на склизком тротуаре. В другом, нечеловеческом смысле она, напротив, оживала — совершенно неприметные днем кариатиды сейчас только притворялись оцепеневшими, на самом деле они проводили друзей внимательными закрашенными глазами. Орлы на фронтонах в любой миг готовы были взлететь и обрушиться с высоты на двух всадников, а бородатые лица воинов в гипсовых картушах, наоборот, виновато ухмылялись и отводили взгляды. Опять завывало в водосточных трубах — при том, что никакого ветра на самой улице не чувствовалось. Наверху, там, где днем была широкая полоса неба, сейчас не видно было ни туч, ни звезд; сырой и холодный мрак провисал между двух линий крыш, и клубы тумана сползали вниз по стенам. Из нескольких горевших до этого фонарей два или три почему-то погасли; погасло и окно первого этажа, где совсем недавно офицер пел трагический и прекрасный вальс.

— Право, Юра, дай кокаину... — не выдержал Николай.

Юрий, видимо, чувствовал то же смятение духа — он, закивал головой, будто Николай сказал что-то замечательное и верное, и полез в карман.

На этот раз он не поскупился: подняв голову, Николай изумленно заметил, что наваждение исчезло и вокруг обычная вечерняя улица, пусть темноватая и мрачноватая, пусть затянутая тяжелым туманом, но все же одна из тех, где прошло его детство и юность, с обычными скупыми украшениями на стенах домов и помигивающими тусклыми фонарями.

Вдали у Литейного грохнул винтовочный выстрел, потом еще один, и сразу же донеслись нарастающий стук копыт и дикие кавалерийские вскрики. Николай потянул из-за плеча карабин — прекрасной показалась ему смерть на посту, с оружием в руках и вкусом крови во рту. Но Юрий оставался спокоен.

— Это наши, — сказал он.

И точно: всадники, появившиеся из тумана, были одеты в ту же форму, что и Юрий с Николаем. Еще секунда, и их лица стали различимы.

Впереди, на молодой белой кобыле, ехал капитан Приходов — концы его черных усов загибались вверх, глаза отважно блеснули, а в руке замороженной молнией сверкала кавказская шашка. За ним сомкнутым строем скакали двенадцать юнкеров.

— Ну как? Нормально?

— Отлично, господин капитан! — вытягиваясь в седлах, хором ответили Юрий с Николаем.

— На Литейном бандиты, — озабоченно сказал капитан. — Вот...

Николаю в ладонь шлепнулся тусклый металлический диск на длинной цепочке. Это были часы. Он ногтем откинул крышку и увидел глубоко врезанную готическую надпись на немецком — смысла ее он не понял и передал часы Юрию.

— «От генерального... от генерального штаба», — перевел тот, с трудом разобрав в полутьме мелкие буквы. —

Видно, трофейные. Но что странно, господин капитан, цепочка — из стали. На нее дверь можно запереть.

Он вернул часы Николаю — действительно, хоть цепочка была тонкой, она казалась удивительно прочной; на стальных звеньях не было стыков, будто она была целиком выточена из куска металла.

— А еще людей можно душить, — сказал капитан. — На Литейном три трупа. Два прямо на углу — инвалид и сестра милосердия, задушены и раздеты. То ли их там выбросили, то ли там же, на месте... Скорей всего выбросили — не могла же сестра на себе безногого тащить... Но какое зверство! На фронте такого не видел. Ясно, отнял у инвалида часы и их же цепочкой... Знаете, там такая большая лужа...

Один из юнкеров тем временем отделился от группы и подъехал к Юрию. Это был Васька Зиверс, большой энтузиаст конькобежного спорта и артиллерийского дела, — в училище его не любили за преувеличенный педантизм и плохое знание русского языка, а с Юрием, отлично знавшим немецкий, он был накоротке.

— ...За сотню метров, — говорил капитан, похлопывая шашкой по сапогу, — третье тело успели в подворотню... Женщина, тоже почти голая... и след от цепочки...

Васька тронул Юрия за плечо, и тот, не отводя от капитана глаз и кивая, вывернул лодочкой ладонь. Васька быстро положил в нее крохотный сверточек. Все это происходило за спиной Юрия, но тем не менее не укрылось от капитана.

— Что такое, юнкер Зиверс? — перебил он сам себя. — Что там у вас?

— Господин капитан! Через четыре минуты меняем караул у Николаевского вокзала! — отдав честь, ответил Васька.

— Рысью — вперед! — взревел капитан. — Кр-ругом! На Литейный! У Смольного быстро не пройдем!

Юнкера развернулись и унеслись в туман; капитан Приходов задержал пляшущую кобылу и крикнул Юрию с Николаем:

— Не разъезжаться! Никого без пропуска не пускать, на Литейный не выезжать, к Смольному тоже не соваться! Ясно? Смена в десять тридцать!

И исчез вслед за юнкерами — еще несколько секунд доносился стук копыт, а потом все стихло, и уже не верилось, что на этой сырой и темной улице только что было столько народу.

— От генерального штаба... — пробормотал Николай, подбрасывая серебряную лепешку на ладони. Второпях капитан забыл о своей страшной находке.

Часы имели форму маленькой раковины; на циферблате было три стрелки, а сбоку — три рифленные головки для завода. Николай слегка нажал на верхнюю и чуть не уронил часы на мостовую — они заиграли. Это были первые несколько нот напыщенной немецкой мелодии — Николай сразу ее узнал, но названия не помнил.

— Аппассионата, — сказал Юрий, — Людвиг фон Бетховен. Брат рассказывал, что немцы ее перед атакой на губных гармошках играют. Вместо марша.

Он развернул Васькин сверток — тот, как оказалось, состоял почти из одной бумаги. Внутри было пять ампул с неровно запаянными шейками. Юрий пожал плечами.

— То-то Приходов заерзал, — сказал он, — насквозь людей видит. Только что с ними делать без шприца... Педант называется — берет кокаин, а отдает эфедрином. У тебя тоже шприца нет?

— Отчего, есть, — безрадостно ответил Николай.

Эфедрина не хотелось, хотелось вернуться в казарму, сдать шинель в сушилку, лечь на койку и уставиться на знакомое пятно от головы, которое спросонья становилось то картой города, то хищным монголоидным лицом с бородкой, то перевернутым обезглавленным орлом — Николай совершенно не помнил своих снов и сталкивался только с их эхом.

С отъездом капитана Приходова улица опять превратилась в ущелье, ведущее в ад. Происходили странные вещи: кто-то успел запереть на висячий замок подворотню в одном из домов; на самой середине мостовой появилось несколько пустых бутылок с ярко-желтыми этикетками, а поверх рекламы лимонада в окне кондитерской наискосок повисло оглушительных размеров объявление, первая строка которого, выделенная крупным шрифтом и восклица-

тельными знаками, фамильярно предлагала искать товар, причем слова «товар» и «ищи» были набраны вместе. Погасли уже почти все фонари — остались гореть только два, друг напротив друга; Николай подумал, что какому-нибудь декаденту из «Бродячей собаки», уже не способному воспринимать вещи просто, эти фонари показались бы мистическими светящимися воротами, возле которых должен быть остановлен чудовищный зверь, в любой миг готовый выползти из мрака и поглотить весь мир. «Товарищи», — повторил он про себя первую строчку объявления.

Где-то снова завывли псы, и Николай затосковал. Налетел холодный ветер, загремел жестяным листом на крыше и умчался, но оставил после себя странный и неприятный звук, пронзительный далекий скрип где-то в стороне Литейного. Звук то исчезал, то появлялся и постепенно становился ближе — словно Шпалерная была густо посыпана битым стеклом, и по ней медленно, с перерывами, вели огромным гвоздем, придвигая его к двум последним горящим фонарям.

— Что это? — глупо спросил Николай.

— Не знаю, — ответил Юрий, вглядываясь в клубы черного тумана. — Посмотрим.

Скрип стих на небольшое время, потом раздался совсем рядом, и один из клубов тумана, налившись особенной чернотой, отделился от слоившейся между домами темной мглы. Приближаясь, он постепенно приобретал контуры странного существа: сверху — до плеч — человек, а ниже — что-то странное, массивное и шевелящееся; нижняя часть и издавала отвратительный скрипящий звук. Это странное существо тихо приборматывало одновременно двумя голосами — мужской стонал, женский утешал, причем женским говорила верхняя часть, а мужским — нижняя. Существо на два голоса прокашлялось, вступило в освещенную зону и остановилось, лишь в этот момент, как показалось Николаю, приобретя окончательную форму.

Перед юнкерами в инвалидном кресле сидел мужчина, обильно покрытый бинтами и медалями. Перевязано было даже лицо — в просветах между лентами белой марли виднелись только бугры лысого лба и отсвечивающий крас-

ным прищуренный глаз. В руках мужчина держал старинного вида гитару, украшенную разноцветными шелковыми лентами.

За креслом, держа водянистые пальцы на его спинке, стояла пожилая седоватая женщина в дрянной вытертой кацавейке. Она была не то чтобы толстой, но какой-то оплывшей, словно мешок с крупой. Глаза женщины были круглы и безумны и видели явно не Шпалерную улицу, а что-то такое, о чем лучше даже не догадываться; на ее голове косо стоял маленький колпак с красным крестом; наверно, он был закреплен, потому что по физическим законам ему полагалось упасть.

Несколько секунд прошли в молчании, потом Юрий облизнул высохшие губы и сказал:

— Пропуск.

Инвалид заерзал в своем кресле, поднял взгляд на сестру милосердия и беспокойно замычал. Та вышла из-за кресла, наклонилась в сторону юнкеров и уперла руки в коленки — Николай отчего-то поразился, увидев стоптанные солдатские сапоги, торчащие из-под голубой юбки.

— Да стыд у вас есть али нет совсем? — тихо сказала она, ввинчиваясь взглядом в Юрия. — Он же раненный в голову, за тебя муку принял. Откуда у него пропуск?

— Раненный, значит, в голову? — задумчиво переспросил Юрий. — Но теперь как бы исцелился? Читаем. Знаем. Пропуск.

Женщина растерянно оглянулась.

Инвалид в кресле дернул струну гитары, и по улице прошел низкий вибрирующий звук — он словно подстегнул сестру, и она, снова пригнувшись, заговорила:

— Сынок, ты не серчай... Не серчай, если я не так что сказала, а только пройти нам обязательно надо. Если бы ты знал, какой это человек сидит... Герой. Поручик Преображенского полка Кривотыкин. Герой Брусиловского прорыва. У него боевой товарищ завтра на фронт отбывает, может, не вернется. Пусти, надо им повидаться, понимаешь?

— Значит, Преображенского полка?

Инвалид закивал головой, прижал к груди гитару и заиграл. Играл он странно, словно на раскаленной медной балалайке — с опаской ударяя по струнам и быстро отдер-

гивая пальцы, — но мелодию Николай узнал: марш Преображенского полка. Другой странностью было то, что вырез резонатора, у всех гитар круглый, у этой имел форму пентаграммы; видимо, этим объяснялся ее тревожащий душу низкий звук.

— А ведь Преображенский полк, — без выражения сказал Юрий, когда инвалид кончил играть, — не участвовал в Брусиловском прорыве.

Инвалид что-то замычал, указывая гитарой на сестру; та обернулась к нему и, видимо, старалась понять, чего он хочет, — это никак у нее не получалось, пока инвалид вновь не извлек из своего инструмента вибрирующий звук, — тогда она спохватилась:

— Да ты что, сынок, не веришь? Господин поручик сам на фронт попросился, служил в третьей Заамурской дивизии, в конногорном дивизионе...

Инвалид в кресле с достоинством кивнул.

— С двадцатью всадниками австрийскую батарею взял. От главнокомандующего награды имеет, — укоряюще произнесла сестра милосердия и повернулась к инвалиду: — Господин поручик, да покажите ему...

Инвалид полез в боковой карман френча, вынул что-то и сунул сестре, а та передала Юрию. Юрий, не глядя, отдал лист Николаю. Тот развернул его и прочел:

«Пор. Кривотыкин 43 Заамурского полка 4 батальона. Приказываю атаковать противника на фронте от д. Омут до перекрестка дорог, что севернее отм. 265 вкл., нанося главный удар между деревнями Омут и Черный Поток с целью овладеть высотой 235, мол. фермой и северным склоном высоты 265. П. п. командир корпуса генерал-от-артиллерии Баранцев».

— Что еще покажете? — спросил Юрий.

Инвалид полез в карман и вытащил часы, отчего Николаю на секунду стало не по себе. Сестра передала их Юрию, тот осмотрел и отдал Николаю. «Так, глядишь, часовым мастером станешь, — подумал Николай, откидывая золотую крышку, — за час вторые». На крышке была гравировка:

«Поручику Кривотыкину за бесстрашный рейд. Генерал Баранцев».

Инвалид тихо наигрывал на гитаре марш Преображенского полка и шурился на что-то вдали, задумавшись, видно, о своих боевых друзьях.

— Хорошие часы. Только мы вам лучше покажем, — сказал Юрий, вынул из кармана серебряного моллюска, покачал его на цепочке, перехватил ладонью и нажал рифленую шишечку на боку.

Часы заиграли.

Николай никогда раньше не видел, чтобы музыка — пусть даже гениальная — так сильно и, главное, быстро действовала на человека. Инвалид на секунду закрыл лицо ладонью, словно не в силах поверить, что эту музыку мог написать человек, а затем повел себя очень странно: вскочил с кресла и быстро побежал в сторону Литейного; следом, стуча солдатскими сапогами, побежала сестра милосердия. Николай сдернул с плеча карабин, повозился с шишечкой предохранителя и выстрелил вверх.

— Стоять! — крикнул он.

Сестра на бегу обернулась и дала несколько выстрелов из нагана — завизжали рикошеты, рассыпалась по асфальту выбитая витрина парикмахерской, откуда всего секунду назад на мир удивленно глядела девушка в стиле модерн, нанесенная на стекло золотой краской. Николай опустил ствол и два раза выстрелил в туман, наугад: беглецов уже не было видно.

— И чего они к Смольному так стремятся? — стараясь, чтобы голос звучал спокойно, спросил Юрий. Он не успел сделать ни одного выстрела и до сих пор держал в руке часы.

— Не знаю, — сказал Николай. — Наверное, к большевикам хотят — там можно спирт купить и кокаин. Со всем недорого.

— Что, покупал?

— Нет, — ответил Николай, закидывая карабин за плечо, — слышал. Бог с ним. Ты про свою миссию начал рассказывать, про доктора Шпуллера...

— Штейнера, — поправил Юрий; острые ощущения придали ему разговорчивости. — Это такой визионер. Я, когда в Дорнахе был, ходил к нему на лекции. Сиделся поближе, даже конспект вел. После лекции его сразу об-

ступали со всех сторон и уводили, так что поговорить с ним не было никакой возможности. Да я особо и не стремился. И тут что-то стал он на меня коситься на лекциях. Поговорит, поговорит, а потом замолчит и уставится. Я уж и не знал, что думать, — а он вдруг подходит ко мне и говорит: «Нам с вами надо поговорить, молодой человек». Пошли мы с ним в ресторан, сели за столик. И стал он мне что-то странное втолковывать — про Апокалипсис говорил, про невидимый мир, и так далее. А потом сказал, что я отмечен особым знаком и должен сыграть огромную роль в истории. Что чем бы я ни занимался, в духовном смысле я стою на некоем посту и защищаю мир от древнего демона, с которым уже когда-то сражался.

— Это когда ты успел? — спросил Николай.

— В прошлых воплощениях. Он — то есть не демон, а доктор Штейнер — сказал, что только я могу его остановить, но смогу ли — никому не известно. Даже ему. Штейнер мне даже гравюру показывал в одной древней книге, где будто бы про меня говорится. Там были два таких, знаешь, длинноволосых, в одной руке — копье, в другой — песочные часы, все в латах, и вроде один из них — я.

— И ты во все это веришь?

— Черт его знает, — усмехнулся Юрий, — пока, видишь, с медичками перестреливаюсь. И то не я, а ты. Ну что, вкодем?

— Пожалуй, — согласился Николай и полез под шинель, в нагрудный карман гимнастерки, где в плоской никелированной коробочке лежал маленький шприц.

На улице стало совсем тихо. Ветер больше не выл в трубах; голодные псы, похоже, покинули свои подворотни и подались в другие места; на Шпалерную сошел покой — даже треск тончайших стеклянных шеек был хорошо различим.

— Два сантиграмма, — раздавался шепот.

— Конечно, — шептал другой голос в ответ.

— Откинь шинель, — говорил первый шепот, — иглу погнешь.

— Пустяки, — откликался второй.

— Ты с ума сошел, — шептал первый голос, — пожай-
лей лошадь...

— Ничего, она привычная, — шептал второй...

...Николай поднял голову и огляделся. Трудно было по-
верить, что осенняя петроградская улица может быть так
красива. За окном цветочного магазина в дубовых кадках
росли три крошечные сосенки; улица круто шла вверх и
становилась шире; окна верхних этажей отражали только
что появившуюся в просвете туч Луну, все это было Росси-
ей и было до того прекрасно, что у Николая на глаза на-
вернулись слезы.

— Мы защитим тебя, хрустальный мир, — прошептал
он и положил ладонь на рукоять шашки.

Юрий крепко держал ремень карабина у левого плеча и
не отрываясь глядел на Луну, несущуюся вдоль рваного
края тучи. Когда она скрылась, он повернул вдохновенное
лицо к спутнику.

— Удивительная вещь эфедрин, — сказал он.

Николай не ответил — да и что можно было ответить?
Уже по-иному дышала грудь, другим казалось все вокруг,
и даже отвратительная изморось теперь ласкала щеки. Ты-
сячи мелких и крупных вопросов, совсем недавно бывших
мучительными и неразрешимыми, вдруг оказались не то
что решенными, но совершенно несущественными; центр
тяжести жизни был совершенно в другом, и когда это дру-
гое вдруг открылось, выяснилось, что оно всегда было ря-
дом, присутствовало в любой минуте любого дня, но было
незаметным, как становится невидимой долго висящая на
стене картина.

— Я жалобной рукой сжимаю свой костыль, — стал на-
распев читать Юрий. — Мой друг — влюблен в луну —
живет ее обманом. Вот — третий на пути...

Николай уже не слышал товарища, он думал о том,
как завтра же изменит свою жизнь. Мысли были бессвяз-
ные, иногда откровенно глупые, но очень приятные. На-
чать обязательно надо было с того, чтобы встать в пять
тридцать утра и облиться холодной водой, а дальше была
такая уйма вариантов, что остановиться на чем-нибудь
конкретном было крайне тяжело, и Николай стал напря-

женно выбирать, незаметно для себя приборматывая вслух и сжимая от возбуждения кулаки.

— ...Заборы — как гроба! Повсюду преет гниль! Все, все погребено в безлюдье окаянном! — читал Юрий и рукавом шинели вытирал выступающий на лбу пот.

Некоторое время ехали молча, потом Юрий стал напевать какую-то песенку, а Николай впал в странное подобие дремы. Странное потому, что это было очень далекое от сна состояние — как после нескольких чашек крепкого кофе, но сопровождающееся подобием сновидений. Перед Николаем, накладываясь на Шпалерную, мелькали дороги его детства: гимназия и цветущие яблони за ее окном; радуга над городом; черный лед катка и стремительные конькобежцы, освещенные ярким электрическим светом; безлистные столетние липы, двумя рядами сходящиеся к старинному дому с колоннадой. Но потом стали появляться картины как будто знакомые, но на самом деле никогда не виданные, — померещился огромный белый город, увенчанный тысячами золотых церковных головок и как бы висящий внутри огромного хрустального шара, и этот город — Николай знал это совершенно точно — был Россией, а они с Юрием, который во сне был не совсем Юрием, находились за его границей и сквозь клубы тумана мчались на конях навстречу чудовищу, в котором самым страшным была полная неясность его очертаний и размеров: бесформенный клуб пустоты, источающий ледяной холод.

Николай вздрогнул и широко открыл глаза. В броне блаженства появилась крохотная трещинка, и туда просочилось несколько капель неуверенности и тоски. Трещинка росла, и скоро мысль о предстоящем завтра утром (ровно в пять тридцать) повороте всей жизни и судьбы перестала доставлять удовольствие. А еще через пару минут, когда впереди на двух сторонах улицы замигали и поплыли навстречу два фонаря, эта мысль стала несомненным и главным источником переполнившего душу страдания.

«Отходняк», — наконец вынужден был признаться себе Николай.

Странное дело — откровенная прямота этого вывода словно заделала брешь в душе, и количество страдания в ней перестало увеличиваться. Но теперь надо было очень тщательно следить за своими мыслями, потому что любая из них могла стать началом неизбежной, но пока еще, как хотелось верить, далекой полосы мучений, которых каждый раз требовал за свои услуги эфедрин.

С Юрием явно творилось то же самое, потому что он повернулся к Николаю и сказал тихо и быстро, словно экономя выходящий из легких воздух:

— Надо на кишку было кинуть.

— Не хватило бы, — так же отрывисто ответил Николай и почувствовал к товарищу ненависть за то, что тот вынудил его открыть рот.

Под копытами лошади раздался густой и противный хруст — это были осколки выбитой наганным рикошетом витрины.

«Хр-р-рус-с-стальный мир», — с отвращением к себе и всему на свете подумал Николай. Недавние видения показались вдруг настолько нелепыми и стыдными, что захотелось в ответ на хруст стекла также заскрипеть зубами.

Теперь ясно стало, что ждет впереди — отходняк. Сначала он был где-то возле фонарей, а потом, когда фонари оказались рядом, отступил в клубящийся у пересечения с Литейным туман и пока выжидал. Несомненным было то, что холодная, мокрая и грязная Шпалерная — единственное, что существует в мире, а единственным, чего можно было от нее ждать, была беспросветная тоска и мука.

По улице пробежала черная собака неопределенной породы с задранным хвостом, рывкнула на двух сгорбленных серых обезьянок в седлах и нырнула в подворотню, а вслед за ней со стороны Литейного появился и стал приближаться отходняк.

Он оказался усатым мужиком средних лет, в кожаном картузе и блестящих сапогах — типичным сознательным пролетарием. Перед собой пролетарий толкал вместительную желтую тележку с надписями «Лимонадь» на боках, а на переднем борту тележки был тот самый рекламный плакат, который бесил Николая даже и в приподнятом состо-

янии духа, — сейчас же он показался всей мировой мерзостью, собранной на листе бумаги.

— Пропуск, — мучительно выдавил из себя Юрий.

— Пожалуйста, — веско сказал мужчина и подал Юрию сложенную вдвое бумагу.

— Так. Эйно Райхья... Дозволяется... Комендант... Что везете?

— Лимонад для караула. Не желаете?

В руках у пролетария блеснули две бутылки с ядовито-желтыми этикетками. Юрий слабенько махнул рукой и выронил пропуск — пролетарий ловко поймал его над самой лужей.

— Лимонад? — отупело спросил Николай. — Куда? Зачем?

— Понимаете ли, — отозвался пролетарий, — я служащий фирмы «Карл Либкнехт и сыновья», и у нас соглашение о снабжении лимонадом всех петроградских постов и караулов. На средства генерального штаба.

— Коля, — почти прошептал Юрий, — сделай одолжение, глянь, что там у него в тележке.

— Сам глянь.

— Да лимонад же! — весело отозвался пролетарий и пнул свою повозку сапогом. Внутри картаво загрохотали бутылки; повозка тронулась с места и проехала за фонари.

— Какого еще генерального штаба... А впрочем, пустое. Проходи, пой посты и караулы... Только быстрее, садист, быстрее!

— Не извольте беспокоиться, господа юнкера! Всю Россию напоим!

— Иди-и-и... — вытягиваясь в седле, провыл Николай.

— Иди-и... — сворачиваясь в серый войлочный комок, прохрипел Юрий.

Пролетарий спрятал пропуск в карман, взялся за ручки своей тележки и покатил ее вдаль. Скоро он растворился в тумане, потом долетел хруст стекла под колесами, и все стихло. Прошла еще секунда, и какие-то далекие часы стали бить десять. Где-то между седьмым и восьмым ударом в воспаленный и страдающий мозг Николая белой чайкой впорхнула надежда:

— Юра... Юра... Ведь у тебя кокаин остался?

— Боже, — облегченно забормотал Юрий, хлопая себя по карманам, — какой ты, Коля, молодец... Я ведь и забыл совсем... Вот.

— Полную... отдам, слово чести!

— Как знаешь. Подержи повод... Осторожно, дубина, высыпешь все. Вот так. Приношу извинения за дубину.

— Принимаю. Фуражкой закрой — сдует.

Шпалерная медленно ползла назад, остолбенело прислушиваясь своими черными окнами и подворотнями к громкому разговору в самом центре мостовой.

— Главное в Стриндберге — не его так называемый демократизм и даже не его искусство, хоть оно и гениально, — оживленно жестикулируя свободной рукой, говорил Юрий. — Главное — это то, что он представляет новый человеческий тип. Ведь нынешняя культура находится на грани гибели и, как любое гибнущее существо, делает отчаянные попытки выжить, порождая в алхимических лабораториях духа странных гомункулусов. Сверхчеловек — вовсе не то, что думал Ницше. Природа сама еще этого не знает и делает тысячи попыток, в разных пропорциях смешивая мужественность и женственность — заметь, не просто мужское и женское. Если хочешь, Стриндберг — просто ступень, этап. И здесь мы опять приходим к Шпён-глеру...

«Вот черт, — подумал Николай, — как фамилию-то запомнить?» Но вместо фамилии он спросил другое:

— Слушай, а помнишь, ты стихотворение читал? Какие там последние строчки?

Юрий на секунду наморщил лоб.

И дальше мы идем. И видим в щели зданий
Старинную игру вечерних содроганий.

ВЕСТИ ИЗ НЕПАЛА

Когда дверь, к которой Любочку прижала невидимая сила, все же раскрылась, оказалось, что троллейбус уже тронулся и теперь надо прыгать прямо в лужу. Любочка прыгнула, и так неудачно, что забрызгала холодной слякотью полу шубы, а уж на сапоги лучше было просто не смотреть. Выбравшись на узкий тротуар, она оказалась между двумя встречными потоками огромных грузовых машин, ревущих и брызжущих смесью грязи с песком и снегом. Светофора здесь не было, потому что не было перехода, и приходилось ждать, когда в сплошной стене высоких кузовов — железных (ободранных, с грубо приваренными для жесткости ребрами) и деревянных (ничего и не скажешь про них, но страшно, страшно) — появится просвет. Грузовики, без конца шедшие мимо, производили такое гнетущее впечатление, что было даже неясно — чья же тупая и жестокая воля организует перемещение этих заляпанных мазутом страшилищ сквозь серый ноябрьский туман, накрывший весь город. Не очень верилось, что этим занимаются люди.

Наконец в сплошной стене кузовов стали появляться просветы. Любочка прижала пакет к груди и деликатно сошла на дорогу, стараясь наступать на черные пятна асфальта среди студенистой грязи. Напротив желтел длинный забор троллейбусного парка с широкими черными воротами — их обычно запирали к восьми тридцати, но сейчас одна створка была открыта и еще можно было прошмыгнуть.

— Куда идешь-то! — крикнула Любочке задорная баба в оранжевой безрукавке, с ломом в руках стоявшая за воротами. — Не знаешь — опоздавшим вход через проходную! Директор велел.

— Я быстренько, — пробормотала Любочка и попыталась пройти мимо.

— Не пушу тебя, — с улыбкой сказала баба и переместилась в самый центр прохода, — не пушу. Приходи вовремя.

Любочка подняла глаза: баба стояла, прижимая упертый в асфальт лом к боку и сцепив пухлые кисти на животе; большие пальцы ее рук вращались друг вокруг друга, будто она наматывала на них невидимую нить. Улыбалась она так, как советского человека научили в шестидесятые годы — с намеком на то, что все обойдется, — но проход заслоняла всерьез. Справа от нее была будка с фанерным щитом наглядной агитации, где на фоне Евразии обнимались трое — некто под опущенным на лицо черным забралом и со странным оружием в руках, человек с холодным, недобрый взглядом, одетый в белый халат и шапочку, и Бог знает как попавшая в эту компанию девушка в полосатом азиатском наряде. Над щитом была прибита фанерная полоса с надписью:

**ВСЯКИЙ ВХОДЯЩИЙ
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ!
НЕ ЗАБУДЬ НАДЕТЬ СПЕЦОДЕЖДУ!**

Любочка повернула и пошла к проходной. Для этого надо было обогнуть угол высоченного дома с покрашенными до третьего этажа окнами — там, говорили, помещался какой-то секретный институт, — а потом идти вдоль желтого забора к серой кирпичной постройке, украшенной вывесками с волшебными словами: «УПТМ», «АСУС» и еще что-то черное на коричневом фоне.

Внутри, в ответвлении коридора, возле окошек касс в тяжких облаках дыма хохотали шоферы. Любочка через другую дверь вышла в огромный двор парка, уже пустой и похожий на покинутый аэродром. На всем пространстве между циклопическими зданиями боксов и воротами, через которые Любочка пыталась пройти три минуты назад, не было видно никого, кроме высокого мужчины в красном фартуке, с большим широкоскулым лицом. Он держал в мускулистых розовых руках щит с надписью «КРЕПИ ДЕМОКРАТИЮ!» и шагал прямо на Любочку, а неопреде-

ленное цветное месиво за его спиной, если приглядеться, оказывалось неисчислимой армией тружеников, среди которых было даже несколько негров. Этот плакат, висевший на одном из боксов, создали в малярном цехе еще весной, и Любочка давно привыкла, что он встречается ее каждое утро. Плакат был устроен умно: текст призыва можно было менять, подвешивая на двух крюках новую фанерку, и сначала там были слова: «КРЕПИ ТРУДОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ», потом, в период некоторой политической неясности, — «БЕРЕГИ РАБОЧУЮ ЧЕСТЬ», а сейчас, к празднику, повесили новый призыв, которого Любочка еще не видела.

Она дошла до дверей административного корпуса и поднялась на второй этаж, в техотдел, где уже третий год работала инженером по рационализации.

В коридоре, между Доской почета и стендом с фотографиями побывавших в выпрезвителе сотрудников, висело зеркало, и Любочка остановилась поглядеть на себя.

Она была маленькая, в черной синтетической шубке и спортивной шапочке, на которой были вышиты два красных зубца в синей окантовке. Лицо у нее было чуть обезьянье, испуганное от рождения, и когда она улыбалась, было видно, что она делает это с усилием и как бы выполняя то единственное служебное действие, на которое способна.

Расстегнув шубку (под ней была белая кофточка с широкой черной полосой на груди) и прижавшись к зеркалу, чтобы пропустить двух работяг в ватниках, горячо обсуждавших на ходу какое-то дело (и так махавших при этом руками, что не дай Бог кому-нибудь было оказаться на пути огромных растрескавшихся кулаков), она увидела почти вплотную свое припудренное лицо с ясно заметными морщинками у глаз. Двадцать восемь лет — это все-таки двадцать восемь лет, и уже не так легко быть порхающей по коридорам девочкой, подобием живого фикуса, на котором отдыхают утомленные крупногабаритными железными предметами мужские взгляды.

Она еще раз улыбнулась в зеркало и потянула на себя дверь с табличкой «Техотдел». Ее стол стоял в углу, у истыканной доски кульмана, и сейчас за ним, глядя прямо

ей в глаза, сидел директор парка Шушпанов, похожий на сильно растолстевшего Раймонда Паулса. В руке у него был маленький пестрый флажок, вынутый из старинной китайской вазы, где у Любочки стояли ручки и карандаши. Флажок остался с того дня, когда весь техотдел сняли с работы, чтобы встречать какого-то экзотического президента — тогда всем выдали такие и велели махать при появлении машин. Любочка сохранила его на память из-за какого-то особенно оптимистического глянца. Когда она вошла, Шушпанов так крутанул между пальцев ее амулет, что вместо двух треугольников над его рукой возникло размытое красноватое облако.

— Здрасьте, Любовь Григорьевна! — сказал он в отвратительно галантной манере. — Задерживаетесь?

Любочка в ответ пролепетала что-то про метро, про троллейбус, но Шушпанов ее перебил:

— Ну я же не говорю — опаздываете. Я говорю — задерживаетесь. Понимаю — дела. Парикмахерская там, галантерея...

Вел он себя так, словно и правда говорил что-то приятное, но больше всего ее напугало то, что к ней обращаются на «вы», по имени-отчеству. Это делало все происходящее крайне двусмысленным, потому что если опаздывала Любочка — это было одно, а если инженер по рационализации Любовь Григорьевна Сухоручко — уже совсем другое.

— Как у вас дела? — спросил Шушпанов.

— Ничего.

— Я про работу говорю. Сколько рацпредложений?

— Нисколько, — ответила Любочка, а потом наморщилась и сказала: — Хотя нет. Приходил Колемасов из жестяного цеха — он там придумал какое-то усовершенствование. К таким большим ножницам — жечь резать. Я еще не оформила.

— Понятно. А в прошлом месяце?

— Было два. Уже выплатили.

— Ага.

Директор положил флажок, соединил возле груди растопыренные пальцы и закатил глаза, шевеля губами и делая вид, что что-то подсчитывает.

— Двадцать рублей. Ну а мы вам сколько платим? — И сам себе ответил: — Сто семьдесят. Итого — сто пятьдесят рублей разницы. Понимаете мою мысль?

Любочка понимала. И не только эту мысль, но и многое другое, чего директор, наверное, вовсе не имел в виду. Ей показалось, что на ней, как лучи прожекторов, скрещиваются взгляды директора, начальника техотдела Шувалова, выглядывающего из маленькой смежной комнаты, превращенной им в кабинет, и всех остальных. И чтобы не стоять неподвижно в самом фокусе садистического интереса трудового коллектива, она повернулась, повесила пакет на вешалку и стала медленно снимать шубу.

— Таким, значит, образом, — сказал директор, — сегодня обойдете все цеха и сообщите мне завтра утром о ваших успехах. Советую, чтобы они были.

Он встал из-за стола, миновал замершую у вешалки Любочку, размахисто и медленно перекрестился на цветную фотографию троллейбуса ЗиУ-9 в углу и вышел из комнаты.

Ни на кого не глядя, Любочка села на теплый от директорского зада стул (минут десять, наверное, ждал) и полезла в нижний ящик стола. Все в комнате молчали, поглядывая на спрятавшую лицо за тумбой Любочку и стараясь ни в коем случае не показать испытываемого удовольствия, — наоборот, лица сослуживцев изображали неопределенное сострадание пополам с гражданской ответственностью.

— Вот ведь как интересно! — сказал вдруг Марк Иванович Меннинзингер, решив, видимо, нарушить тягостную тишину.

— Что интересно? — спросил Толик Пурыгин, отрываясь от чертежа.

— Мы утром дроссель перетаскивали, чтоб не пылился, — и такая мне мысль в голову пришла...

Марк Иванович замолчал, и Толик, догадавшись, что тот ждет вопроса, задал его:

— Какая мысль, Марк Иванович?

— А такая. Ток ведь не может по воздуху течь, верно?

— Верно.

— А если провод под током разорвать, что будет?

— Искра. Или дуга. Это от индуктивности зависит.
— Вот. Значит, все-таки течет по воздуху.
— Ну и что? — терпеливо спросил Толик.
— А то, что для тока сначала ничего не меняется. Он так и думает, что течет по проводу — ведь в воздухе нет... нет...

— Носителей заряда, — подсказал Толик.

— Да. Именно так. Поэтому когда провод уже порван...

— Во-первых, — сказал Шувалов, выходя из своей комнатки, — ток не думает. Его стихия иная. А во-вторых, при протекании разряда через газ происходит ионизация и появляются заряженные частицы. Я это точно знаю.

Он включил приделанный к стене приемник, отрегулировал громкость и вернулся в свой кабинет. В комнату вошло несколько невидимых балалаечников; они играли в такой манере, что если перед этим у кого-то из сидящих в техотделе и были сомнения насчет существования глубоких и истинно народных произведений для оркестра балалаек, то они сразу же исчезли.

Между тем у Любочки появилась уверенность, что она контролирует мускулы своего лица. Несколько раз улыбнувшись за тумбой стола, она подняла голову, огляделась, придвинула к себе папку для заявок и принялась изучать предложенное новшество.

«...Заключается в том, что штанга металлорежущих ножей комплектуется набором сменных грузов, что позволяет в результате несложной операции регулировать величину удельного момента, прикладываемого...»

Она на секунду зажмурилась, как делала всегда, когда бывало непонятно, и решила, что надо идти в жестяной цех выяснить все на месте. По-прежнему ни на кого не глядя, она встала, открыла дверцу шкафа, вынула новенький ватник с торчащей из кармана сложенной бумажкой и вышла в коридор.

На улице стало еще гаже — полетели крупные снежные хлопья. Упав на асфальт, они пропитывались водой, но не таяли окончательно, отчего двор, над которым разносилось иступленное бление балалаек, покрылся слоем полупрозрачной холодной жижи. Остановясь под навесом,

Любочка накинула на плечи ватник (чтобы сохранить дистанцию между собой и рабочими, она никогда не продевала руки в рукава), сделала деловое лицо и двинулась по направлению к парящему над двором широколицему мужчине в красном.

Метрах в двадцати от бокса стояли двое — Любочка сначала решила, что они из столовой, а когда подошла поближе, так и замерла: то, что она приняла за белые халаты, оказалось длинными ночными рубашками, и это была единственная одежда незнакомцев. Один из них был толстым и низеньким, уже в летах, а другой — стриженным наголо молодым человеком. Держась за руки, они внимательно разглядывали плакат.

— Обрати внимание, — говорил низенький, причем над его ртом поднимался пар, — на сложность концепции. Как это загадочно уже само по себе — плакат, изображающий человека, несущего плакат! Если развить эту идею до полагающегося ей конца и поместить на щит в руках мужчины в красном комбинезоне плакат, на котором будет изображен он сам, несущий такой же плакат, — что мы получим?

Молодой человек покосился на Любочку и ничего не сказал.

— Ничего, при ней можно, — сказал низенький и подмигнул Любочке, отчего она вдруг ощутила неожиданную неуверенную надежду.

— Мы получим модель вселенной, понятное дело, — ответил молодой человек.

— Ну, это ты загнул, — сказал низенький и опять подмигнул Любочке. — По-моему, это будет что-то вроде коридора между двумя зеркалами, в который ты опять залез без всякой необходимости. Ты вообще в курсе, где ты сейчас находишься?

Молодой человек вздрогнул и внимательно огляделся по сторонам.

— Вспомнил? Ну то-то. Так что ж ты сюда забрел?

— Я насчет смерти хотел выяснить, — виновато сказал молодой человек.

Его собеседник нахмурился.

— Сколько раз тебе говорить — никогда не надо забе-

гать вперед. Но раз уж ты сюда попал, давай внесем некоторую ясность. Представь себе, что каждому из бесконечной вереницы плакатов соответствует свой мир — вроде этого. И в каждом из них есть такой же двор, такие же... стояла для мамонтов... Девушка, как они называются?

— Это боксы, — ответила Любочка. — А вам не холодно?

— Да нет. Ему все это снится. Ну да, боксы, и перед каждым из них кто-то стоит. Тогда место, где мы сейчас стоим, будет просто одним из таких миров, и окажется...

— Окажется... окажется... Господи!

Молодой человек вскрикнул, выдернул руку и побежал к боксу. Его собеседник выругался и кинулся за ним, на ходу оборачиваясь и виновато всплескивая руками. Оба исчезли за углом.

— Дураки какие-то, — пробормотала Любочка и двинулась дальше. Подходя к прорезанной в огромной двери бокса калитке, она уже думала о другом.

В жестяном цехе — небольшом помещении с высоким, в два этажа, потолком — было тихо и сумрачно. В центре возвышался обитый жостью стол, заваленный разноцветными металлическими обрезками, а у стены, на сдвинутых углом лавках, сидело трое человек. Они молча играли в домино — сдержанными и экономными движениями клали на стол кости, иногда коротко комментируя очередной ход. Кроме коробки от домино на чистом углу стола стояли пачка грузинского чая, несколько упаковок рафинада и три сделанные из черепов чаши с прилипшими к желтоватым стенкам чайниками. Любочка подошла к играющим и бодрым голосом сказала:

— А я к вам! Здрасьте, товарищ Колемасов!

— Привет, — рассеянно отозвался морщинистый дядька, сидевший с края, — как жизнь молодая?

— Ничего, спасибо, — сказала Любочка. — Я к вам по делу. По раппредложению.

— Никак деньги принесла? — спросил Колемасов и пихнул локтем соседа в бок. Сосед улыбнулся.

— Уж сразу деньги, — сказала Любочка. — Надо оформить сначала.

— Ну так давай оформляй. Сейчас... Покажем...

Колемасов положил на стол фишку, чем, видимо, закончил партию — партнеры зашевелились, завздыхали и побросали оставшиеся кости. Колемасов встал и пошел к верстаку, кивком пригласив за собой Любочку.

— Гляди, — сказал он. — К примеру, надо разрезать дюралевый лист.

Он вытащил из кучи обрезков блестящий серебристый треугольник и вставил его в раскрытую пасть ножниц.

— Попробуй.

Любочка положила журнал на стол, взялась за приваренную к ручке ножниц метровую трубу и потянула ее вниз. Но дюраль, видно, был слишком толстый — чуточку переместившись вниз, ручка замерла.

— Дальше не идет, — сказала Любочка.

— Во. А теперь делаем вот что.

Колемасов поднял с пола шестнадцаткилограммовую гирию, поднес ее к ножницам, побагровев, поднял ее на уровень груди и повесил на трубу.

— Давай жми.

Любочка всем своим весом надавила на трубу — та продвинулась еще немного и остановилась.

— Да сильнее же надо, — сказал Колемасов и нажал на ручку сам — она медленно пошла вниз, и вдруг дюралевая пластина с треском разлетелась на две части, ручка дернулась, гирия соскочила и с тяжелым звуком врезалась в кафельный пол чуть левее Любочкиного сапога.

— Вот такое усовершенствование, — сказал Колемасов.

Двое партнеров по домино с интересом следили за происходящим.

— Понятно, — сказала Любочка. — А тут сказано, что сменные грузы.

— Пока их нет, — ответил Колемасов. — Но смысл простой: нужно несколько гирий. Берешь и вешаешь — или по одной, или по несколько.

Любочка задумалась, пытаясь изобрести умный вопрос.

— Скажите, — наконец заговорила она, — а какой ожидается экономический эффект?

— Ой, не знаю. Не думал еще.

— Это надо обязательно. Или расчет экономического

эффекта, или акт о его отсутствии. Еще нужен акт об использовании...

— Ну вот и составляй, — ответил Колемасов. — Ты ж по этим делам главная.

Он повернулся и пошел к корешам, один из которых уже начинал смешивать кости домино.

— А кто вам заявку писал? — спросила Любочка.

— Серега Каряев. Это мы с ним вместе придумали. Ты вот что — сходи в слесарный, он там как раз сейчас возится. Поговори.

Колемасов сел за стол и потянул к себе кости.

Через минуту Любочка уже стояла у входа в слесарный, высматривая Каряева. Наконец она заметила в углу его крохотную, перепачканную маслом мордочку в больших роговых очках. Каряев держал плоскогубцами длинное зубило, упертое в дно ржавого железного котла, а другой человек изо всех сил лупил по зубилу кувалдой. Любочка попробовала помахать им журналом, но они были слишком заняты и ничего не заметили. Тогда она пошла к ним сама.

— Очень просто, — сказал Каряев, выслушав Любочку. — Экономический эффект достигается за счет убыстрения слесарных работ. Надо подсчитать.

— А как?

— Будто сама не знаешь. Надо засечь, насколько быстрее проходит операция при использовании сменных грузов, и помножить на количество троллейбусных парков. Еще надо ввести коэффициент, учитывающий количество ножей в каждом парке. И вычесть стоимость гирь. Это я примерную схему даю, ясно?

Каряев страдальчески морщился при каждом ударе кувалды, словно били не по зубилу, а по его голове, а Любочку грохот так оглушал, что ей стало казаться, будто Каряев говорит что-то очень умное. Вдруг каряевский напарник промахнулся и въехал кувалдой по котлу, отчего Любочке на секунду почудилось, что она стоит внутри огромного колокола. Каряев выпрямился и почесал ухо.

— Слышь, — сказал он, — я тебе завтра еще одну раунку напишу. Видишь зубило? Вот я к нему приварю поперечину, чтоб держаться. А ты оформишь. Экономический

эффект считать так же, только вычитать стоимость сварочных работ.

— А как ее узнать? — спросила Любочка.

— Как, как... В справочнике посмотри. Или позвони в институт сварки.

Каряев вдруг дернул Любочку за руку — они оба пригнулись, и над их головами с шелестом пронеслось что-то темное, размером с большую собаку.

Любочка выпрямилась, косясь на бьющуюся под потолком перепончатокрылую тварь, а Каряев поднял вылетевшее из плоскогубцев зубило, опять зажал его и приставил к котлу.

— Давай, Федор.

Федор прокашлялся и взмахнул кувалдой. Любочка поглядела на часы и охнула — десять минут как шел обед. Она помчалась в столовую.

Конечно, она опоздала — очередь в столовую уже изгибалась от кассы до самого входа. Любочка встала в ее хвост и приготовилась ждать. Сперва она некоторое время изучала роспись на стене, изображавшую висящий над пшеничным полем гигантский каравай, похожий на НЛО, затем заметила торчащий из кармана собственного ватника сложенный листок, вынула его и развернула.

«МНОГОЛИКИЙ КАТМАНДУ», — прочла она. Под заглавием мелким шрифтом было впечатано слово «памятка». Любочка прислонилась к стене и стала читать.

«Город Катманду, столица небольшого государства Непал, расположен на живописных холмах в предгорьях Гималаев; если смотреть на линию холмов снизу, из долины, то они напоминают хребет прилегшего отдохнуть дракона. Поэтому предки нынешних жителей Непала прозвали это место Драконовыми Холмами.

Городу около трех тысяч лет. Упоминания о Катманду как о крупнейшем культурном и религиозном центре встречаются во многих древних хрониках; город был известен даже в ханьском Китае, где назывался Каньто и считался столицей мифического южного царства.

Во II — III веках нашей эры в Катманду проник буддизм, который вскоре образовал причудливый симбиоз с местными патриархальными культами. Тогда же в Катман-

ду проникло и христианство, не получившее сколько-нибудь широкого распространения в городских верхах и оставшееся уделом небольших общин, занимающихся скотоводством на обширных низменностях к югу от города. Местные христиане — римские католики, но в последнее время церковь Катманду активно добивается статуса автокефальной».

Сзади послышалось тихое пение — Любочка обернулась и увидела трех сотрудников планово-экономической группы, вставших в несколько отдалившийся от нее конец очереди. На них были длинные мешки с дырами для головы и рук, перетянутые на талии серым шпагатом, а в руках горели толстые парафиновые свечи. На мешках были отгиснуты какие-то цифры, черные зонтики и надписи «КРЮЧЬЯМИ НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ». Любочка стала читать дальше.

«В конце прошлого века сюда переселилась русская секта духоборов, основавшая несколько деревень недалеко от города; в их быту тщательно сохраняются все черты жизни русской деревни XIX века — например, на стенах изб можно увидеть вырезанные из «Нивы» портреты императора Александра III с семьей.

Смешение в рамках одного города-государства нескольких культурных и религиозных традиций превратило Катманду в уникальный архитектурный памятник: буддийские пагоды соседствуют здесь с шиваистскими храмами, христианскими церквями и синагогами. По процентному отношению культовых построек к жилым Катманду занимает, безусловно, одно из первых мест в мире. Однако это не означает, что местные жители чрезмерно религиозны, — наоборот, им скорее свойственно эпикурейское отношение к жизни. Почти на каждую календарную дату в Катманду выпадает какой-нибудь праздник. Некоторые из этих праздников напоминают европейские — в них принимают участие члены правительства или хотя бы представители администрации; тогда на улицах поддерживается порядок и проводятся торжественные мероприятия, как, например, парад национальной гвардии, проезжающей на слонах в День независимости по главной магистрали столицы. Другие праздники — такие, как День Заглядывания за

Край, связанный с традицией ритуального употребления психотропных растений, — на время превращают Катманду в подобие осажденного города: по улицам разъезжают правительственные броневики, мегафоны которых призывают разойтись собравшихся на площадях молчаливых и перепуганных людей.

Наиболее распространенным в Катманду культом является секта «Стремящихся Убедиться». На улицах города часто можно видеть ее последователей — они ходят в глухих синих рясах и носят с собой корзинку для милостыни. Цель их духовной практики — путем усиленных размышлений и подвижничества осознать человеческую жизнь такой, какова она на самом деле. Некоторым из подвижников это удается; такие называются «убедившимися». Их легко узнать по постоянно издаваемому ими дикому крику. «Убедившегося» адепта немедленно доставляют на специальном автомобиле в особый монастырь-изолятор, называющийся «Гнездо Убедившихся». Там они и проводят остаток дней, прекращая кричать только на время приема пищи. При приближении смерти «убедившиеся» начинают кричать особенно громко и пронзительно, и тогда молодые адепты под руки выводят их на скотный двор умирать. Некоторым из присутствующих на этой церемонии тут же удается убедиться самим — и их водворяют в обитые пробкой помещения, где пройдет их дальнейшая жизнь. Таким присваивается титул «Убедившихся в Гнезде», дающий право на ношение зеленых бус. Рассказывают, что в ответ на замечание одного из гостей монастыря-изолятора о том, как это ужасно — умирать среди луж грязи и хрюкающих свиней, один из «убедившихся», перестав на минуту вопить, сказал: «Те, кто полагает, что легче умирать в кругу родных и близких, лежа на удобной постели, не имеют никакого понятия о том, что такое смерть».

Катманду — не только культурный центр с многовековыми традициями, но и крупный промышленный город; недавно с участием советских специалистов здесь построено современное электроламповое производство, продукция которого пользуется большим спросом на мировом рынке. Песчаные пляжи Катманду издавна привлекают туристов со всех уголков земного шара, и существующая здесь индустрия

развлечений не уступает лучшим мировым образцам. Есть тут и молодая коммунистическая партия, борющаяся за более справедливые условия жизни трудящихся этой небольшой живописной страны».

Любочка поставила на свой поднос помидорный салат, рагу из свинины и бокал легкого итальянского вина. Подумав, она поставила рагу на место, взяла вместо него скумбрию с капустой, расплатилась и двинулась к угловому столику, откуда ей делали приглашающие жесты девочки из бухгалтерии.

— Чего, памятку читала? — спросила Настя Быкова, девушка с толстым слоем пудры на некрасивом лице.

— Да, — ответила Любочка, садясь рядом, — прочла.

— Тепло там, наверно, — мечтательно сказала Настя. — Круглый год тепло. Мужиков много. И фрукты всякие. А мы тут живем, живем — ничего не видим вокруг. А помираем — тоже небось в дурах оказываемся. Верно, Оль?

Оля, задумавшись, глядела в суп.

— Оль, ты чего? О чем думаешь?

Оля подняла глаза, слабо улыбнулась и произнесла:

— Возьми ладонь с моей груди. Мы провода под током. Друг к другу нас, того гляди, вдруг бросит ненароком...

— Это у нее хахаль электромонтажником работает, — вздохнув, пояснила Настя. — Ну ладно, чего болтать. Давайте есть, что ли.

Любочка доела быстрее всех, поставила поднос с тарелками на черную ленту транспортера, кивнула подругам и пошла в техотдел.

«Дура я, — думала она, поднимаясь по лестнице, — надо было выходить за Ваську Балалыкина и двигать с ним в армию. Сидела бы сейчас где-нибудь в гарнизонной библиотеке, выдавала бы книги...»

В коридоре она налетела на директора Шушпанова, который как раз выходил из парткома. Она даже не успела как следует испугаться — Шушпанов развернулся, взял ее под руку и повел по коридору навстречу плакату с тремя гигантскими брезгливо-гневными лицами, глядящими из-под строительных касок на корчащегося перед

ними поганенького человечка с торчащей из кармана бутылкой.

— Ты сейчас чем занимаешься?

— Я? В цеху была. Два рацпредложения буду оформлять. Только насчет экономического...

— Все бросай, — заговорщически прошептал Шушпанов, — и дуй в библиотеку. Надо срочно стенгазету сделать. Там уже двое сидят — поможешь. Лады?

— Я рисовать не умею.

— Ничего, там раскрашивать нужно. Давай, девка, пулей! — Последние слова Шушпанов произнес так, словно их некоторая грубость испугалась небывалым счастьем, которое свалилось на Любочку в результате его предложения. Она растянула рот в улыбке и ответила:

— Лечу! Только журнал положу.

— Пулей! — на ходу повторил Шушпанов и бодро нырнул в дверь туалета, оставив Любочку наедине с гневом и безразличностью висящего в тупике плаката.

Любочка пошла назад — Шушпанов протаскил ее за собой лишних метров десять, — вошла в техотдел, положила журнал на обычное место и сменила ватник на синий халат, висевший в том же шкафу. Сослуживцы толпились у окна, наблюдая за двумя небесными всадниками, иногда выныривавшими из низких туч. Марк Иванович обернулся и сказал:

— Любочка! Позвони Василию Балалыкину.

— Я уже знаю, — сказала Любочка. — Спасибо.

Номер оказался занят, и через пять минут она была в библиотеке, где парковый художник Костя и библиотекарь Елена Павловна склонялись над двумя сдвинутыми столами, накрытыми склеенным из нескольких листов ватмана полотном стенгазеты — уже был готов карандашный рисунок, и оставалось только закрасить его гуашью. Костя выдал Любочке обломок маленькой кисти и велел как следует отмыть его в пятилитровой банке мутной воды, стоявшей на полу.

— Смотри только не вырони, — испуганно сказал он, — утонет.

Ей стало обидно от такого недоверия. Она тщательно отмыла кисть. Для раскрашивания ей достался огромный

изгибающийся колос — будь он настоящим, им можно было бы накормить роту милиции. Любочка стала аккуратно наносить на него слой желтой краски и уже начала ощущать радость от того, как у нее славно получается, когда Костя вдруг потрепал ее по плечу.

— Ну что ты делаешь, а? — спросил он. — Ведь надо объем передавать. Показываю.

Он обмакнул кисть в белила и стал исправлять Любочкину работу. Никакого объема все равно не получалось, зато стало казаться, что колос отлит из бронзы.

— Понятно?

— Понятно. — Она потерла пальцами виски и неожиданно для самой себя спросила: — Слушай, а ты не помнишь, в какой это сказке железный хлеб едят?

— Железный хлеб? — удивился Костя. — Черт знает.

За окнами уже было темно и горели холодные фиолетовые фонари. Когда в комнату стали входить люди, оставалось раскрасить улыбающуюся Луну и воина воздушных сил в походе на аквариум гермошлеме.

Собрался почти весь административный штат; почему-то пришла баба в оранжевой безрукавке, утром не пускавшая Любочку в парк. Шушпанов подошел к столу, глянул на газету, похвалил и сказал, что сейчас будет короткое собрание, а потом можно будет продолжить.

Все расселись. Шушпанов, Шувалов и баба в безрукавке заняли места в маленьком президиуме, молодежь по привычке уселась подальше, возле книжных стеллажей, и собрание началось.

Шушпанов встал, потер ладони и уже собирался что-то сказать, когда открылась дверь и появился перепачканный маслом Каряев. В руках у него было зубило с приваренной к нему длинной поперечиной.

— Надо включить радио, — сказал он.

Шушпанов поглядел на него с хмурым недоумением, а потом его лицо прояснилось.

— Верно, надо включить радио.

Выйдя из-за стола, он подошел к стене и повернул черный кружок на боку маленького приемника с олимпийской эмблемой.

— ...собственного корреспондента в Непале.

У звука появился фон. Долетели гудки машин, шум ветра, чей-то далекий смех.

— Стоя здесь, — заговорил вдруг громкий ухающий голос, — на широких дорогах современного Непала, не перестаешь удивляться, как многообразен природный мир этой удивительной страны. Еще несколько часов назад светило солнце, вокруг вздымались высокие пальмы и палисандровые деревья, дивно пели голубые кукушки и красные попугаи. Казалось, этому не будет конца — но у мира свои законы, и вот мы поднялись выше, в редкий воздух предгорий. Как тихо стало вокруг! Как скорбно и сосредоточенно смотрит на землю небо! Недаром внизу, в долине, о жителях вершин говорят, что они едят железный хлеб. Да, здешние горы суровы. Но интересно вот что: когда поднимаешься из долины к безлюдным заснеженным пикам, пересекаешь много природных зон и в какой-то момент замечаешь, что прямо у обочины шоссе начинается березовая роща, дальше растут рябины и липы, и кажется, что вот-вот в просвете между деревьями покажутся скромные домики обычного русского села, пара коров, пасущихся за околицей, и, конечно же, маковка маленькой бревенчатой церкви. Нет-нет, а и вспомнишь о далеком колокольном звоне, узорчатых накупольных крестах и толпе старушек в притворе, отбивающих поклоны и спешащих поставить трогательную тонкую свечку Богу... Одно воспоминание приходит на смену другому, и скоро замечаешь, что думаешь уже не о природном мире Непала, а о том, что православная догматика называет воздушными мытарствами. Напомню дорогим радиослушателям, что в традиционном понимании это — сорокадневное путешествие душ по слоям, населенным различными демонами, разрывающими пораженное грехом сознание на части. Современная наука установила, что сущностью греха является забвение Бога, а сущностью воздушных мытарств является бесконечное движение по суживающейся спирали к точке подлинной смерти. Умереть не так просто, как это кажется кое-кому... Вот вы, например. Вы ведь думаете, что после смерти все кончается, верно?

— Верно... — откликнулось несколько голосов в зале.

Любочка сначала слышала их, а потом уже поняла, что и сама ответила со всеми.

— И ток не течет по воздуху. Верно?

— Верно...

— Нет. Неверно. (Давно уже в голосе появились издевательские ноты.) Но я не собираюсь портить вам праздник Октября этим пустым спором хотя бы из-за того, что у вас есть отличная возможность проверить это самим. Ведь сейчас, друзья, как раз завершается первый день ваших воздушных мытарств. По славной традиции он проводится на земле.

В зале кто-то тихо закричал. Кто-то другой завыл. Любочка повернулась, чтобы посмотреть, кто это, и вдруг все вспомнила — и завывала сама. Чтобы не закричать в полный голос, надо было сдерживаться изо всех сил, а для этого необходимо было занять себя хоть чем-то, и она стала обеими руками оттирать след протектора с обвисшей на раздавленной груди белой кофточки. По-видимому, со всеми происходило то же самое — Шушпанов пытался заткнуть колпачком от авторучки пулевую дырку в виске, Каряев — вправить кости своего проломленного черепа, Шувалов зачесывал чуб на зубастый синий след молнии, и даже Костя, вспомнив, видимо, какие-то сведения из брошюры о спасении утопающих, делал сам себе искусственное дыхание.

Радио между тем восклицало:

— О, как трогательны попытки душ, бьющихся под ветрами воздушных мытарств, уверить себя, что ничего не произошло! Они ведь и первую догадку о том, что с ними случилось, примут за идиотский рассказ по радио! О ужас советской смерти! В такие странные игры играют, погибая, люди! Не знавшие ничего, кроме жизни, они принимают за жизнь смерть. Пусть же оркестр балалаек под управлением Иеговы Эргашева разбудит вас завтра. И пусть ваше завтра будет таким же, как сегодня, до мгновения, когда над тем, что кто-то из вас принимает за свой колхоз, кто-то — за подводную лодку, кто-то — за троллейбусный парк, и так дальше, — когда надо всем тем, во что ваши души наряжают смерть, разольется задумчивая мелодия народного напева Саратовской губернии «Уж вы, вет-

ры». А сейчас предлагаю вам послушать вологодскую песню «Не одна-то ли во поле дороженька», вслед за чем немедленно начнется второй день воздушных мытарств — ведь ночи здесь нет. Точнее, нет дня, но раз нет дня, нет и ночи...

Последние слова потонули в нарастающем гуле неземных балалаек — их звук был так невыносим, что в зале, уже не стесняясь, стали кричать во все горло.

Вдруг у Любочки возникла спасительная мысль. Что-то подсказало ей, что, если она сможет встать и выбежать в коридор, все пройдет. Наверное, похожие мысли пришли в голову и остальным — Шушпанов, качаясь, кинулся к окну, баба в оранжевой безрукавке полезла под стол, сообразительный Каряев уже тянул руку к черной кнопке радио, намереваясь выключить его и посмотреть, что это даст, — а Любочка, с трудом переставляя ноги, заковыляла к двери. Неожиданно погас свет, и пока она на ощупь искала ручку, на нее сзади навалилось несколько человек, охваченных, видимо, той же надеждой. А когда дверь, к которой Любочку прижала невидимая сила, все же раскрылась, оказалось, что троллейбус уже тронулся и теперь надо прыгать прямо в лужу.

ПРОБЛЕМА ВЕРВОЛКА В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ

На какую-то секунду Саше показалось, что уж этот-то мятый «ЗИЛ» остановится — такая это была старая, дребезжащая, созревшая для автомобильного кладбища машина, что по тому же закону, по которому в стариках и старухах, бывших раньше людьми грубыми и неотзывчивыми, перед смертью просыпаются внимание и услужливость, — по тому же закону, только отнесенному к миру автомобилей, она должна была остановиться. Но ничего подобного — с пьяной старческой наглостью звякая подвешенным у бензобака ведром, «ЗИЛ» протарахтел мимо, напряженно въехал на пригорок, издал на его вершине непристойный победный звук, сопровождаемый струей сизого дыма, и уже беззвучно скрылся за асфальтовым перекатом.

Саша сошел с дороги, бросил в траву свой маленький рюкзак и уселся на него — внутри что-то перегнулось, хрустнуло, и Саша испытал злобное удовлетворение, обычное для попавшего в беду человека, узнающего, что кто-то или что-то рядом — тоже в тяжелых обстоятельствах. Насколько тяжелы его сегодняшние обстоятельства, Саша уже начинал ощущать.

Существовали только два способа дальнейших действий: либо по-прежнему ждать попутку, либо возвращаться в деревню — три километра хода. Насчет попутки вопрос был практически ясным: есть, видимо, такие районы страны или такие отдельные дороги, где в силу принадлежности всех проезжающих по ним водителей к некоему тайному братству негодяев не только невозможно практиковать автостоп — наоборот, нужно следить, чтобы тебя не обдали грязной водой из лужи, когда идешь по обочине. Дорога от Конькова к ближайшему оазису при железной дороге —

километров пятнадцать по прямой — была как раз одним из таких заколдованных маршрутов. Из пяти проехавших мимо машин не остановилась ни одна, и если бы какая-то стареющая женщина с фиолетовыми от помады губами и трогательной прической «I still love you» не показала ему кукиш, длинно высунув руку из окна красной «Нивы», Саша мог бы решить, что стал невидим. Оставалась еще надежда на обещанного многими газетами и фильмами шофера, который всю дорогу молча будет вглядываться в дорогу через пыльное ветровое стекло грузовика, а потом коротким движением головы откажется от денег (и вдруг бросится в глаза висящая над рулем фотография нескольких парней в десантной форме на фоне далеких гор), — но когда дребезжащий «ЗИЛ» проехал мимо, и эта надежда умерла.

Саша поглядел на часы — было двадцать минут десятого. Скоро стемнеет, подумал он, надо же, вот попал... Он посмотрел по сторонам — за сотней метров пересеченной местности (микроскопические холмики, редкие кусты и слишком высокая и сочная трава, заставляющая думать, что под ней болото) начинался жидкий лес, какой-то нездоровый, как потомство алкоголика. Вообще, растительность вокруг была странной. Все, что было крупнее цветов и травы, росло как бы с натугой и надрывом и хоть достигало в конце концов нормальных размеров, но оставляло впечатление, будто выросло, испугавшись чьих-то окриков, а иначе так и стлалось бы лишайником по земле. Какие-то неприятные были места, тяжелые и безлюдные, словно подготовленные к сносу с лица земли — хотя, подумал Саша, если у земли и есть лицо, то явно в другом месте. Недаром из трех виденных им сегодня деревень только одна выглядела более-менее правдоподобной — как раз последняя, Коньково, — а остальные были заброшены, и только в нескольких домиках кто-то еще доживал свой век; покинутые избы больше напоминали экспозицию этнографического музея, чем человеческие жилища.

Даже Коньково, отмеченное гипсовым часовым у шоссе и придорожной надписью «Колхоз «Мичуринский»», казалось поселением людей лишь в сравнении с глухим запустением соседних, уже безымянных, деревень. Хотя в Конь-

кове был магазин, хлопала по ветру клубная афиша с выведенным зеленой гуашью названием французского авангардного фильма и верещал где-то за домами трактор, все равно было не по себе. Людей на улицах не было — только прошла бабка в черном, мелко перекрестившаяся при виде Сашиной гавайской рубахи, покрытой разноцветными магическими символами, да проехал на велосипеде очкастый мальчик с авоськой на руле. Велосипед был ему велик, он не мог сидеть в седле и ехал стоя, как будто бежал над ржавой тяжелой рамой. Остальные жители, если они были, сидели по домам.

В воображении поездка представлялась совсем иначе. Вот он ссаживается с речного плоскодонного теплоходика, доходит до деревни, где на завалинках — Саша не знал, что такое завалинка, и представлял ее себе в виде удобной деревянной скамейки вдоль бревенчатой стены — мирно сидят выжившие из ума старухи, кругом растет подсолнух, и под его желтыми блюдцами тихо играют в шахматы на дощатых серых столах бритые старики. Словом, представлялся Тверской бульвар, только заросший подсолнухом. Ну еще промычит вдалеке корова.

Дальше — вот он выходит на околицу, и открывается прогретый солнцем лес, река с плывущей лодкой или разрезанное дорогой поле, и куда ни пойдешь, всюду будет замечательно: можно развести костер, можно вспомнить детство и полазить по деревьям — если, конечно, после того как он его вспомнит, окажется, что он по ним лазил. Вечером — на попутных машинах к электричке.

А что вышло?

Виной всему была цветная фотография из толстой ободранной книги с подписью: «Старинная русская деревня Коньково, ныне — главная усадьба колхоза-миллионера». Саша нашел место, откуда был сделан понравившийся ему снимок, проклял татарское слово «колхоз» и американское слово «миллионер» и удивился, до чего разным может быть на фотографии и в жизни один и тот же вид.

Мысленно дав себе слово никогда больше не поддаваться порывам к бессмысленным путешествиям, Саша решил хотя бы посмотреть этот фильм в деревенском клубе. Ку-

пив у невидимой кассирши билет — говорить пришлось с веснушчатой пухлой рукой в окошке, которая оторвала синюю бумажку и отсчитала сдачу, — он попал в полупустой зал, отсучал в нем полтора часа, иногда оборачиваясь на прямого, как шпала, деда, свистевшего в некоторых местах (его критерии были совершенно неясны, но зато в свисте было что-то соловьино-разбойничье, что-то от уходящей Руси); потом — когда фильм кончился — поглядел на удаляющуюся от клуба прямую спину свистуна, на фонарь под жестяным конусом, на одинаковые заборчики вокруг домов и пошел прочь из Конькова, косясь на простершего руку и поднявшего ногу гипсового человека в кепке, обреченного вечно брести к брату по небытию, ждущему его у шоссе.

Последнего грузовика, который своим сизым выхлопом окончательно развеял иллюзии, Саша дождался так долго, что успел забыть о том, чего он ждет.

Встав, он закинул за спину рюкзак и пошел назад, придумывая, где и как будет ночевать. Стучаться к какой-нибудь бабке не хотелось, да и было бесполезно, потому что пускающие переночевать бабки живут обычно в тех же местах, где соловьи-разбойники и кощеи, а здесь был колхоз «Мичуринский» — понятие, если вдуматься, не менее волшебное, но волшебное по-другому, без всякой надежды на ночлег в незнакомом доме. Единственным подходящим вариантом, до которого сумел додуматься Саша, был следующий: он покупает билет на последний сеанс в клуб, а после сеанса, спрятавшись за тяжелой зеленой портьерой в зале, остается. Чтобы все вышло, надо будет встать с места, пока не включат свет, тогда его не заметит баба в самодельной черной униформе, сопровождающая зрителей к выходу. Правда, придется еще раз посмотреть этот темный фильм, но тут уж ничего не поделаешь.

Думая обо всем этом, Саша вышел к развилке. Когда он проходил здесь минут двадцать назад, ему показалось, что к дороге, по которой он идет, пристроилась другая, поменьше, а сейчас он стоял на распутье, не понимая, по какой из дорог он шел — обе казались совершенно одинаковыми. Вроде бы по правой — там еще росло большое

дерево. Ага, вот оно. Значит, идти надо направо. Перед деревом, кажется, стоял серый столб. Где он? Вот он, только почему-то слева. А рядом маленькое деревце. Ничего не понятно.

Саша поглядел на столб, когда-то поддерживавший провода, а сейчас похожий на грозящие небу огромные грабли, и повернул влево. Пройдя двадцать шагов, он остановился и посмотрел назад: с поперечной перекладины столба, отчетливо видной на фоне красных полос заката, взлетела птица, которую он до этого принял за облепленный многолетней грязью изолятор. Он пошел дальше — чтобы успеть в Коньково вовремя, надо было спешить, а идти предстояло через лес.

Удивительно, думал он, какая ненаблюдательность. По дороге из Конькова он не заметил этой широкой просеки, за которой виднелась поляна. Когда человек поглощен своими мыслями, мир вокруг исчезает. Наверно, он и сейчас бы ее не заметил, если бы его не окликнули.

— Эй, — закричал пьяный голос, — ты кто?

И еще несколько голосов заржали. Среди первых деревьев леса, как раз возле просеки, мелькнули люди и бутылки — Саша не позволил себе обернуться и увидел местную молодежь лишь краем глаза. Он прибавил шаг, уверенный, что за ним не погонятся, но все-таки неприятно взволнованный.

— У, волчище! — прокричали сзади.

«Может, я не туда иду?» — подумал Саша, когда дорога сделала зигзаг, которого он не помнил. Нет, вроде туда: вот длинная трещина на асфальте, похожая на латинскую дубль-вэ; что-то похожее уже было.

Понемногу темнело, а идти было еще порядочно. Чтобы занять себя, он стал обдумывать способы проникновения в клуб после начала сеанса — начиная от озабоченного возвращения за забытой на сиденье кепкой и кончая спуском через широкую трубу на крыше, если она, конечно, есть.

То, что он выбрал не ту дорогу, выяснилось через полчаса, когда все вокруг уже было синим и на небе прорезались первые звезды. Ясно это стало, когда на обочине воз-

никла высокая стальная мачта, поддерживающая три толстых провода, и послышался тихий электрический треск: по дороге от Конькова таких мачт не было точно. Уже все поняв, Саша по инерции дошел до мачты и в упор установился на жестяную табличку с любовно прорисованным черепом и угрожающей надписью. Потом оглянулся и поразился: неужели он только что прошел через этот черный и страшный лес? Идти назад к развилке — значило снова встретиться с ребятами, сидящими у дороги, и узнать, в какое состояние они пришли под действием портвейна и сумрака. Идти вперед — значило идти неизвестно куда — но все-таки должна же дорога куда-то вести?

Гудение проводов напоминало, что где-то на свете живут нормальные люди, вырабатывают днем электричество, а вечером смотрят с его помощью телевизор. Если уж ночевать в глухом лесу, думал Саша, то лучше всего под электрической мачтой, тогда будет чем-то похоже на ночлег в парадном, а это вещь испытанная и совершенно безопасная.

Издавека донесся какой-то полный вековой тоски рев — сначала он был еле слышен, а потом вырос до невообразимых пределов, и только тогда Саша понял, что это самолет. Он облегченно поднял голову — скоро вверху появились разноцветные точки, собранные в треугольник; пока самолет был виден, стоять на темной лесной дороге было даже уютно, а когда он скрылся, Саша пошел вперед, глядя прямо перед собой на асфальт, постепенно становящийся самой светлой частью окружающего.

На дорогу падал слабый, неопределенной природы, свет, и можно было идти, не боясь споткнуться. Отчего-то — наверно, по городской привычке — у Саши была уверенность, что дорога освещена редкими фонарями. Он попытался найти фонарь и опомнился: никаких фонарей, конечно, не было — светила луна, и Саша, задрав голову, увидел ее четкий белый серп. Поглядев немного на небо, он отметил, что звезды разноцветные — раньше он этого не замечал или замечал, но давно забыл.

Наконец стемнело полностью и окончательно, то есть стало понятно, что темнее уже не будет. Саша вынул из

рюкзака куртку, надел ее и застегнул на все «молнии»: так он чувствовал себя в большей готовности к ночным неожиданностям. Заодно он съел два мятых плавленных сырка «Дружба» — фольга с этим словом, слабо блеснувшая в лунном свете, почему-то напоминала о вымпелах, которые человечество постоянно запускает в космос.

Несколько раз он слышал далекое гудение автомобильных моторов. Машины проезжали где-то далеко. Дорога один раз вышла из леса, сделала метров пятьсот по полю, нырнула в другой лес, где деревья были старше и выше, — и сузилась: теперь идти было темнее, потому что полоса неба над головой тоже стала уже. Ему начинало казаться, что он погружается все глубже и глубже в какую-то пропасть и дорога не выведет его никуда, а, наоборот, заведет в глухую чащу и кончится в царстве зла, среди огромных дубов, шевелящих рукообразными ветвями, — как в детских фильмах ужасов, где в конце концов побеждает такое добро в красной рубаше, что становится жалко поверженных Бабу-Ягу и Кощея.

Впереди опять возник шум мотора — теперь он был ближе, и Саша подумал, что наконец его подбросят куда-нибудь, где над головой будет электрическая лампа, по бокам — стены и можно будет спокойно заснуть. Некоторое время гудение приближалось, но внезапно стихло — машина остановилась. Он быстро пошел вперед и скоро опять услышал гудение мотора — теперь оно снова донеслось издалека, как будто машина вдруг беззвучно перепрыгнула на километр назад и повторяла уже пройденный путь.

Он понял, что слышит другую машину, тоже едушую в его сторону. В лесу трудно точно определить расстояние до источника звука; когда вторая машина остановилась, Саше показалось, что она не доехала до него каких-нибудь сто метров; света фар не было видно, но впереди был поворот.

Это было непонятно. Одна за другой две машины вдруг остановились посреди ночного леса, как будто ухнули в какую-то яму посреди дороги.

Саша на всякий случай свернул к обочине, чтобы нырнуть в лес, если потребуют обстоятельства, и крадущейся походкой двинулся вперед, внимательно вглядываясь в

темноту. Страх сразу же исчез, и он подумал, что если и не сядет сейчас в машину, то дальше пойдет именно таким образом.

Перед самым поворотом он увидел на листьях слабые красноватые отблески и услышал голоса и смех. Еще одна машина подъехала и затормозила где-то совсем рядом; хлопнули дверцы. Судя по тому, что впереди смеялись, там не происходило ничего особо страшного. Или как раз наоборот, подумал он вдруг.

Он свернул в лес и, ощупывая темноту перед собой руками, медленно пошел вперед. Наконец он оказался на таком месте, откуда было видно происходящее за поворотом. Спрятавшись за деревом, он подождал, пока глаза привыкнут к новому уровню темноты, и осторожно выглянул.

Впереди была большая поляна; с одной ее стороны в беспорядке стояло штук шесть машин, а освещалось все небольшим костерком, вокруг которого стояли люди разного возраста и по-разному одетые, некоторые с бутербродами и бутылками в руках. Они переговаривались и вели себя как любая большая компания вокруг ночного костра — не хватало только магнитофона, натужно борющегося с тишиной.

Словно услышав Сашину мысль, плотный мужчина подошел к машине, сунул внутрь руку, и заиграла довольно громкая музыка — правда, неподходящая для пикника: монотонно завывли какие-то хриплые мрачные трубы.

Однако компания не выразила неудовольствия — наоборот, когда человек, включивший музыку, вернулся к остальным, его несколько раз одобрительно хлопнули по плечу. Приглядевшись, Саша стал замечать и другие странности.

У костра особняком стоял военный — кажется, полковник; его обходили стороной, а он иногда поднимал руки к луне. Несколько человек были в костюмах с галстуками, будто приехали не в лес, а на работу.

Саша вжался в свое дерево, потому что к ближнему краю поляны подошел человек в просторной черной куртке, с перехватывающим волосы кожаным ремешком на лбу. Еще кто-то повернул лицо, слегка искаженное прыга-

ющими отблесками костра, в Сашину сторону... Нет, показалось, никто его не заметил.

Ему пришло в голову, что все это легко объяснить: сидели, наверное, на каком-нибудь приеме, а потом рванули в лес... Военный — для охраны или танки продает. Но почему такая музыка?

— Эй, — сказал сзади тихий голос.

Саша похолодел. Он медленно обернулся и увидел девочку в спортивном костюме с адидасовской лилией на груди.

— Ты чего тут делаешь? — так же тихо спросила она.

Он с усилием разлепил рот:

— Я... так просто.

— Что так просто?

— Ну, шел по дороге, пришел сюда.

— То есть как? — удивилась девочка. — Ты что, не с нами приехал?

— Нет.

Она сделала такое движение, будто собиралась отпрыгнуть от него, но все-таки осталась на месте.

— Ты, значит, сам сюда пришел? Взял и пришел?

— Непонятно, что тут такого, — сказал Саша. Ему пришло в голову, что над ним издеваются, но девочка помотала головой с таким чистосердечным недоумением, что он действительно отбросил эту мысль. Наоборот, ему самому вдруг показалось, что он действительно выкинул нечто ни в какие ворота не лезущее.

Минуту она молча соображала, потом спросила:

— А как ты теперь выкручиваться хочешь?

Саша решил, что она имеет в виду его положение одинокого ночного пешехода, и ответил:

— Как? Попрошу, чтобы довезли до какой-нибудь станции. Вы когда возвращаетесь?

Она промолчала. Он повторил вопрос, и она как-то неопределенно pokrutila рукой.

— Или дальше пойду, — вдруг сказал Саша.

Девочка посмотрела на него с сожалением.

— Я тебе вот что скажу: бежать не пробуй. Правда. А лучше минут так через пять иди к костру, посмелее. И глаза сделай безумные. Тебя, значит, спросят: кто ты

такой и что здесь делаешь. А ты отвечай, что зов услышал. И главное, с полной уверенностью. Понял?

— Какой зов?

— Такой. Мое дело тебе совет дать.

Девочка еще раз оглядела Сашу, обошла его и двинулась на поляну. Когда она подошла к костру, мужчина в кроссовках потрепал ее по голове и дал ей бутерброд.

«Издевается», — подумал Саша. Но всмотрелся в человека с ремешком на лбу, все еще стоявшего на краю поляны, и решил, что не издевается: очень уж странно он вглядывался в ночь, этот человек. А в центре поляны вдруг стал виден воткнутый в землю деревянный шест с насаженным на него черепом — узким и длинным, с мощными челюстями. Собачий? Нет, скорее волчий...

Он решился, вышел из-за дерева и двинулся к желто-красному пятну костра. Шел он покачиваясь — и не понимал почему, а глаза его были прикованы к огню.

Разговоры на поляне сразу смолкли.

— Стой, — хрипло сказали от столба с черепом.

Он не остановился — к нему подбежали, и несколько сильных мужских рук схватили его.

— Ты что здесь делаешь? — спросил голос, который скомандовал ему остановиться.

— Зов услышал, — мрачно и грубо ответил Саша, глядя в землю.

— А, зов... — раздались голоса.

Его отпустили, вокруг засмеялись, и кто-то сказал:

— Новенький.

Саше подали бутерброд и стакан воды, после чего он оказался немедленно забыт. Саша вспомнил о своем рюкзаке, оставшемся за деревом. «Черт с ним», — подумал он и занялся бутербродом.

Мимо прошла девочка в спортивном костюме.

— Слушай, — спросил он, — что здесь происходит? Пикник?

— Погоди, узнаешь.

Она помахала мизинчиком — какой-то совершенно китайский получился жест — и отошла к людям, стоявшим у шеста с черепом.

Сашу дернули за рукав. Он обернулся и вздрогнул: перед ним стоял военный.

— Слышь, новенький, — сказал он, — заполни-ка.

В Сашину руку легли разграфленный лист бумаги и ручка. Костер освещал скуластое лицо военного и надписи на листке; это оказалась обычная анкета. Саша присел на корточки и на колене, кое-как, стал вписывать ответы — где родился, когда, зачем и так далее. Было, конечно, странно заполнять анкету посреди ночного леса, но то, что над головой стоял человек в форме, каким-то образом уравнивало ситуацию. Военный ждал, иногда нюхая воздух и заглядывая Саше через плечо. Когда последняя строчка была дописана, он схватил ручку и листок, оскаленно улыбнулся и странной припрыжкой побежал к машине, на капоте которой лежала открытая папка.

Пока Саша заполнял анкету, у костра произошли заметные перемены. Люди по-прежнему разговаривали, но голоса их стали какими-то лающими, а движения и жесты плавными и ловкими. Какой-то мужик в вечернем костюме ловко кувыркался в траве, отбрасывая движениями головы мотающийся галстук; другой замер, как журавль, на одной ноге и молитвенно глядел на Луну, а кто-то еще, видный сквозь языки огня, стоял на четвереньках и поводил головой. Саша сам стал чувствовать звон в ушах и сухость во рту.

Все это находилось в несомненной, хоть и неясной связи с музыкой: она стала быстрее, и трубы хрипели все тревожней, так что их звук постепенно начинал напоминать включившуюся автомобильную сигнализацию. Вдруг трубы смолкли на резкой ноте и пронесся воющий удар гонга.

— Эликсир! — приказал полковник.

Саша увидел худую старую женщину в длинном жакете и красных бусах. Она несла баночку, накрытую бумажкой, — в таких продают майонез. Вдруг у шеста с черепом произошло легкое смятение.

— Вот это да, — восхищенно сказал кто-то, — без эликсира...

Саша поглядел туда и увидел, что его знакомая в спортивном костюме встала на колени. Она выглядела более чем странно — ее ноги как будто уменьшились, а

лицо, наоборот, вытянулось, превратившись в неправдоподобную, страшную полуволицью морду.

— Великолепно, — сказал полковник и обернулся, приглашая всех полюбоваться. — Слов нет! Великолепно! А еще нашу молодежь ругают!

По телу жуткого существа прошла волна, еще одна, волны убыстрились и перешли в крупную дрожь. Через минуту на поляне между людьми стояла молодая волчица.

— Это Лена из Тамбова, — сказал кто-то Саше в ухо, — она очень способная.

Разговоры стихли, и как-то естественно все выстроились в неровную шеренгу. Женщина с полковником пошли вдоль нее, давая всем по очереди отхлебнуть из банки. Саша, совершенно одуревший от увиденного, оказался в середине шеренги. На несколько минут он перестал воспринимать происходящее, а потом вдруг увидел, что женщина в бусах стоит напротив него и протягивает к его лицу руку с банкой. Саша почувствовал какой-то знакомый запах — так пахнут растения, если растереть их на ладони. Он отшатнулся, но рука настигла его и ткнула в губы край банки. Саша сделал маленький глоток и одновременно почувствовал, что его держат сзади. Женщина шагнула дальше.

Он открыл глаза. Пока он держал жидкость во рту, вкус казался даже приятным, но когда он проглотил ее, его чуть не вырвало.

Резкий растительный запах усилился и заполнил Сашину пустую голову — как будто она была воздушным шариком, в который кто-то вдувал струю газа. Шарик вырос, раздулся — его тянуло вверх все сильнее, и вдруг он порвал тонкую нить, связывавшую его с землей, и понесся вверх — далеко внизу остались лес, поляна с костром и люди на ней, а навстречу полетели редкие облака, а потом звезды. Скоро внизу уже ничего не было видно. Он стал глядеть вверх и увидел, что приближается к небу, — как выяснилось, небо представляло собой вогнутую каменную сферу с торчащими из нее блестящими металлическими остриями, которые и казались снизу звездами. Одно из сверкающих лезвий несло прямо на Сашу, и он никак не мог предотвратить встречу, он летел ввысь все быстрее и быст-

рей. Наконец он напоролся на острие и лопнул с громким треском. Теперь от него осталась лишь стянувшаяся оболочка, которая, покачиваясь в воздухе, стала медленно спускаться к земле.

Пал он долго, целое тысячелетие, и наконец почувствовал под собой твердую поверхность. Это было настолько приятно, что от наслаждения и благодарности Саша широко махнул хвостом, поднялся с брюха на лапы и тихо завыл.

Рядом с ним стояло несколько волков. Он сразу узнал среди них Лену — а как, было неясно. Те человеческие черты, которые он в ней отметил раньше, теперь, разумеется, исчезли. Вместо них появились такие же особенности, но волчьи. Он никогда не подумал бы, что выражение волчьей морды может быть одновременно насмешливым и мечтательным, если бы не увидел этого собственными глазами. Лена заметила, что он ее рассматривает, и спросила:

— Ну как?

Она не говорила словами. Она тонко и тихо взвизгнула — или проскулила — это никак не было похоже на человеческий язык, но Саша уловил не только смысл вопроса, но и некоторую развязность, которую она ухитрилась придать своему вою.

— Здорово, — хотел он ответить. Получился короткий лающий звук, но этот звук и был тем, что он собирался сказать.

Лена улеглась на траву и положила морду между лапами.

— Отдохни, — провыла она, — сейчас будем долго бегать.

Саша поглядел по сторонам — под шестом по траве катался военный, на глазах обрастая шерстью прямо поверх кителя; из его штанов быстро, как травинка в учебном фильме по биологии, рос толстый лохматый хвост.

На полянке теперь стояла волчья стая — и только женщина в бусах, разносившая эликсир, оставалась человеком. Она с некоторой опаской обошла двух матерых волков и залезла в машину.

Саша повернулся к Лене и провыл:

— Она не из наших?

— Она нам помогает. Сама она коброй перекидывается.
— А сейчас будет?
— Сейчас для нее холодно. Она в Среднюю Азию ездит.

Волки прохаживались по поляне, подходили друг к другу и тихо перелаивались. Саша сел на задние лапы и постарался ощутить все стороны своего нового качества.

Во-первых, он различал множество пронизывающих воздух запахов. Это было похоже на второе зрение — например, он сразу же почуял свой рюкзак, оставшийся за довольно далеким деревом, почувствовал сидящую в машине женщину, след недавно пробежавшего по краю поляны суслика, солидный мужественный запах пожилых волков и нежную волну запаха Лены — это был, наверное, самый свежий и чистый оттенок всего невообразимо огромного спектра запахов псины.

Такая же перемена произошла со звуками: они стали гораздо осмысленней, и их число заметно увеличилось — можно было выделить скрип ветки под ветром в ста метрах от поляны, стрекотание сверчка совсем в другой стороне и следить за колебаниями этих звуков одновременно, не раздвигая внимания.

Но главная метаморфоза, которую ощутил Саша, была в самоосознании. На человеческом языке это было очень трудно выразить, и он стал лаять, визжать и скулить про себя, так же как раньше думал словами. Изменение в самоосознании касалось смысла жизни: он подумал, что люди способны только говорить о нем, а вот ощутить смысл жизни так же, как ветер или холод, они не могут. А у Саши такая возможность появилась, и смысл жизни чувствовался непрерывно и отчетливо, как некоторое вечное свойство мира, и в этом было главное очарование нынешнего состояния. Как только он понял это, он понял и то, что вряд ли по своей воле вернется в прошлое естество — жизнь без этого чувства казалась длинным болезненным сном, неправдоподобным и мутным, какие снятся при гриппе.

— Готовы? — пролаял от шеста с черепом бывший полковник.

— Готовы! — взвыл вокруг десяток глоток.

— Сейчас... Пару минут, — прохрипел кто-то сзади. — Перекинуться не могу...

Саша попытался повернуть морду и взглянуть назад — не удалось. Оказалось, что шея плохо гнется, надо было поворачиваться всем телом. Подошла Лена, ткнула его холодным носом в бок и тихонько проскулила:

— Ты не вертись, а глаза скашивай. Гляди.

Ее глаз вспыхнул красным при повороте. Саша попробовал — и действительно, скосив глаза, увидел свою спину, хвост и гаснущий костер.

— Куда побежим-то? — озабоченно спросил он.

— В Коньково, — ответила Лена, — там две коровы на поле.

— А разве они сейчас не заперты?

— Специально устроено. Иван Сергеевич устроил звонок оттуда, — Лена указала мордой вверх, — мол, изучаем влияние ночного выпаса на надои. Что-то в этом роде.

— А что, там, — Саша повторил ее жест, — тоже наши?

— А ты думал.

Иван Сергеевич — бывший мужчина в черной куртке и с ремешком на лбу, превратившимся сейчас в полоску темной шерсти, — значительно кивнул мордой.

Саша скосил на Лену глаза. Она вдруг показалась ему удивительно красивой: блестящая гладкая шерсть, нежный изгиб спины, стройные и сильные задние лапы, пушистый молодой хвост и трогательно перекатывающиеся под шкурой лопатки — в ней одновременно чувствовались сила, немного застенчивая кровожадность и то особое, собственное молодым волчицам очарование, которое так бессилен выразить волчий вой. Заметив его взгляд, Лена смутилась и отошла в сторону, опустив хвост и расстилая его над травой. Саша тоже смутился и сделал вид, что выкусывает репей из шерсти на лапе.

— Еще раз спрашиваю, все готовы? — накрыл поляну низкий лай вожака.

— Все! Все готовы! — ответил дружный вой.

Саша тоже провыл:

— Все!

— Тогда вперед.

Вожак потрусил к опушке — казалось, он специально движется медленно и расхлябанно, как спринтер, вразвалку подходящий к стартовым колодкам, чтобы подчеркнуть быстроту и собранность, которую он покажет после выстрела.

У края поляны вожак пригнул морду к земле, принялся, взвыл и вдруг прыгнул в темноту. Сразу же, с лаем и визгом, за ним рванулись остальные. Первые секунды этой гонки во тьме, утыканной острыми сучьями и колючками, Саша ощущал то же, что бывает при прыжке в воду, когда неизвестна глубина, — страх разбить голову о дно. Однако оказалось, что он чувствует встречные препятствия и без труда обходит их. Поняв это, он расслабился, и бежать стало легко и приятно — казалось, его тело мчится само по себе, высвобождая скрытую в нем силу.

Стая растянулась и образовала ромб. По краям летели матерые, мощные волки, а в центре — волчицы и волчата. Волчата ухитрялись играть на бегу, ловить друг друга за хвосты и совершать невообразимые прыжки. Сашино место было в вершине ромба, сразу за вожаком — откуда-то он знал, что это почетное место, и сегодня оно отдано ему как новичку.

Лес кончился, и открылось большое пустынное поле и дорога — стая помчалась по асфальту, надбавив скорости и растянувшись в серую ленту с правой стороны шоссе. Саша узнал дорогу. По пути на поляну она казалась темной и пустой, но сейчас он всюду замечал жизнь: вдоль дороги сновали полевые мыши, при появлении волков исчезающие в своих норах; на обочине свернулся колючим шаром еж и отлетел в поле, отброшенный легким ударом волчьей лапы, реактивными истребителями промчались два зайца, оставив густой след запаха, по которому было ясно, что они насмерть напуганы, а один вдобавок полный идиот.

Лена бежала рядом с Сашей.

— Осторожно, — провыла она и указала мордой вверх.

Он поднял глаза, предоставив телу самому выбирать путь. Над дорогой летели несколько сов — точно с такой же скоростью, с какой волки мчались по асфальту. Совы угрожающе заухали, волки в ответ зарычали. Саша почув-

ствовал странную связь между совами и стаей. Они были враждебны друг другу, но чем-то похожи.

— Кто это? — спросил он у Лены.

— Совы-оборотни. Они крутые... Был бы ты один...

Лена еще что-то прорычала и с ненавистью поглядела вверх. Совы стали отдаляться от дороги и подниматься ввысь. Они летели, не махая крыльями, а просто распластав их в воздухе. Сделав высоко в небе круг, они повернули в сторону восходящей луны.

— На птицефабрику полетели, — прорычала Лена, — днем они там вроде как спонсоры.

Они подбегали к развилке — впереди возник знакомый придорожный столб и высокое дерево. Саша учуял свой собственный, еще человеческий, след и даже какое-то эхо мыслей, приходивших ему в голову на дороге несколько часов назад, — это эхо оставалось в запахе. Стая плавно вписалась в поворот и помчалась к Конькову.

Лена чуть отстала, и теперь рядом с Сашей бежал полковник — был он крупным рыжеватым волком с как бы опаленной мордой. В его движениях было что-то странное — приглядевшись, Саша заметил, что тот иногда сбивается на иноходь.

— Товарищ полковник! — провыл он.

Получилось что-то вроде: «Х-rrr-ууу-ввыы...», но полковник все понял и дружелюбно повернул морду.

— А много у нас в армии оборотней? — зачем-то спросил Саша.

— Много, — отозвался полковник.

— А давно?

Они высоко подпрыгнули, пролетели над длинной лужей и помчались дальше.

— С самого начала, — пролаял полковник, — как, по-твоему, белых через Сибирь гнали?

Он издал серию похожих на хохот хриплых рыков и исчез впереди, высоко, как флаг на корме, подняв хвост.

«Да пошел он со своей Сибирью», — подумал Саша.

Мимо пронесся гипсовый часовой, за ним — указатель с надписью «Колхоз “Мичуринский”», и вот уже вспыхнули вдали редкие огни Конькова.

Деревня приготовилась к встрече надежно. Она напоминала состоящий из множества водонепроницаемых отсеков корабль: когда настала ночь и на улицы, которых было всего три, хлынула темнота, дома задраились изнутри и теперь поддерживали в себе желтое электрическое сияние разумной жизни независимо друг от друга. Так и встретило волков-оборотней Коньково — желтыми зашторенными окнами, тишиной, безлюдьем и автономностью каждого человеческого жилища; никакой деревни уже не было, а было несколько близкорасположенных пятен света посреди мировой тьмы.

Длинные серые тени понеслись по главной улице и закрутились перед клубом, гася инерцию бега. Двое волков отделились от стаи и исчезли между домами, а остальные уселись посреди площади — Саша тоже сел в круг и с неясным чувством поглядел на клуб, где совсем недавно собирался ночевать, про который уже успел забыть и возле которого опять оказался при таких неожиданных обстоятельствах. «Вот ведь как бывает в жизни», — сказал у него в голове чей-то мудрый голос.

— Лен, а куда они... — повернулся он к Лене.

— Сейчас придут. Помолчи.

Еще когда они подбегали к Конькову, Луна ушла за длинное рваное облако, и теперь площадь освещалась только лампой под качающимся на ветру жестяным конусом. Поглядев по сторонам, Саша нашел картину зловещей и прекрасной: стального цвета тела неподвижно сидели вокруг пустого, похожего на арену пространства; оседала поднятая волками пыль, сверкали глаза и клыки, а крашенные домики людей, облепленные телеантеннами и курятниками, гаражи из ворованной жести и кривой парфенон клуба, перед которым брел в никуда отвергнутый вождь, — все это казалось даже не декорацией к реальности, сосредоточенной в середине площади, а пародией на такую декорацию.

В тишине и неподвижности прошло несколько минут. Потом что-то выдвинулось из проулка на главную улицу, и Саша увидел три волчьих силуэта, трусцой приближающихся к площади. Двое волков были знакомы — Иван

Сергеевич и военный, а третий — нет. Саша почувствовал его запах, полный затхлого самодовольства и одновременно испуга, и подумал: кто бы это мог быть?

Волки приблизились. Военный приотстал и с разгона грудью налетел на третьего, толкнув его в круг, после чего они с Иваном Сергеевичем уселись на оставленные для них места. Круг замкнулся, и в центре его теперь находился неизвестный.

Саша внюхался в неизвестного — тот производил впечатление, какое в человеческом эквиваленте мог бы произвести мужчина лет пятидесяти, конически расширяющийся книзу, с наглым и жирным лицом — вместе с тем странно легкий и как бы надутый воздухом.

Неизвестный покосился на пихнувшего его волка и с неуверенной веселостью сказал:

— Так. Стая полковника Лебеденко в полном составе. Ну и чего мы хотим? К чему вся эта патетика? Ночь, круг?

— Мы хотим поговорить с тобой, Николай, — ответил вожак. (Саша к этому моменту понял, что им был военный.)

— Охотно, — провыл Николай, — это я всегда... К примеру, можно поговорить о моем последнем изобретении. Я назвал его игрой в мыльные пузыри. Как ты знаешь, я всегда любил игры, а в последнее время...

Саша вдруг заметил, что следит не за тем, что говорит Николай, а за тем, как — говорил он быстро, каждое следующее слово набегало на предыдущее, и казалось, что он использует слова для защиты от чего-то крайне ему не нравящегося — как если бы это что-то карабкалось вверх по лестнице, а Николай (Саша почему-то представил себе его человеческий вариант), стоя на площадке, швырял бы в него все попадающиеся под руку предметы.

— ...создать круглую и блестящую модель происходящего.

— В чем же заключается игра? — спросил вожак. — Расскажи. Мы тоже любим игры.

— Очень просто. Берется какая-нибудь мысль, и из нее выдувается мыльный пузырь. Показать?

— Покажи.

— К примеру... — Николай задумался на секунду. — К примеру, возьмем самое близкое: вы и я.

— Мы и ты, — повторил вожак.

— Да. Вы сидите вокруг, а я стою в центре. Это то, из чего я буду выдувать пузырь. Итак...

Николай улегся на брюхо и принял расслабленную позу.

— ...Итак, вы стоите, а я лежу в центре. Что это значит? Это значит, что некоторые аспекты плывущей мимо меня реальности могут быть проинтерпретированы таким образом, что я, довольно грубо вытащенный из дома, якобы приведен и якобы посажен якобы в круг якобы волков. Возможно, это мне снится, возможно — это снится вам, но безусловно одно: что-то происходит. Итак, мы срезали верхний пласт, и пузырь начал надуваться. Займемся более нежными фракциями происходящего, и вы увидите, какие восхитительные краски пройдут по его утончающимся стенкам. Вы, как это видно по вашим мордам, принесли с собой обычный набор унылых упреков. Мне не надо слушать вас, я знаю, что вы скажете. Мол, я не волк, а свинья — жру на помойке, живу с дворняжкой и так далее. Это, по-вашему, низко. А та полоумная суета, которой вы сами заняты, по-вашему, высока. Но вот сейчас на стенках моего пузыря отражаются совершенно одинаковые серые тела — любого из вас и мое, а еще в них отражается небо — и честное слово, при взгляде оттуда очень похожи будут и волк, и дворняжка, и все, чем они заняты. Вы бежите куда-то, а я лежу среди старых газет на своей помойке — как, в сущности, ничтожна разница! Причем если за начало отсчета принять вашу подвижность — обратите на это внимание! — выйдет, что на самом деле бегу я, а вы топчетесь на месте. — Он облизнулся и продолжил: — Вот пузырь наполовину готов. Далее, выплывает ваша главная претензия ко мне: я нарушаю ваши законы. Обратите внимание — ваши, а не мои. Если уж я и связан законами, то собственного сочинения, и считаю, что это мое право — выбирать, чему и как подчиняться. А вы не в силах разрешить себе это. Но чтобы не выглядеть в собственных глазах идиотами, вы сами себя уверяете, что существование таких, как я, может вам навредить.

— Вот здесь ты попал в самую точку, — заметил вожак.

— Что же, я не отрицаю, что — гипотетически — спо-

собен принести вам известные неудобства. Но если это и произойдет, почему бы вам не считать это своеобразным стихийным бедствием? Если бы вас стал лупить град, вы, думаю, вместо того чтобы обращаться к нему с увещанием, постарались бы укрыться. А разве я — с абстрактной точки зрения — не явление природы? В самом деле, выходит, что я — в своем, как вы говорите, свинстве — сильнее вас, потому что не я прихожу к вам, а вы ко мне. И это тоже данность. Видите, как растет пузырь. Теперь осталось его додуть. Мне надоели эти ночные визиты. Ладно еще, когда вы ходили по одному — сейчас вы приперлись всей стаей. Но раз уж так вышло, выясним наши отношения раз и навсегда. Чем вы можете реально мне помешать? Ничем. Убить меня вы не в состоянии — сами знаете почему. Переубедить — тоже, для этого вы просто недостаточно умны. В результате остаются только ваши слова и мои — а на стенках пузыря они равнозначны. Только мои изящнее, но это в конце концов дело вкуса. На мой взгляд, моя жизнь — это волшебный танец, а ваша — бессмысленный бег в потемках. Поэтому не лучше ли нам поскорей разбежаться? Вот пузырь отделился и летит. Ну как?

Пока Николай выл, жестикулируя хвостом и левой передней лапой, вожак молча слушал его, глядя в пыль перед собой и изредка кивая. Дослушав, он медленно поднял морду — одновременно из-за облака вышла луна, и Саша увидел, как она блестит на его клыках.

— Ты, Николай, видимо, думаешь, что выступаешь перед бродячими собаками на своей помойке. Лично я не собираюсь спорить с тобой о жизни. Не знаю, кто тебя навешал, — вожак оглянулся на остальных волков, — для меня это новость. Сейчас мы здесь по делу.

— По какому же?

Вожак повернулся к кругу:

— У кого письмо?

Из круга вышла молодая волчица и уронила из пасти свернутую трубкой бумагу.

Вожак расправил ее лапой, которая на секунду стала человеческой ладонью, и прочел:

— «Уважаемая редакция!»

Николай, мотавший до этого хвостом, опустил его в пыль.

— «Вам пишет один из жителей села Коньково. Село наше недалеко от Москвы, а подробный адрес указан на конверте. Имени своего не называю по причине, которая станет ясна из дальнейшего.

В последнее время в нашей печати появился целый ряд публикаций, рассказывающих о явлениях, ранее огульно отрицавшихся наукой. В связи с этим я хочу сообщить вам об удивительном феномене, который с научной точки зрения значительно интереснее таких привлекающих всеобщее внимание явлений, как рентгеновское зрение или ассирийский массаж. Сообщенное мной может показаться вам шуткой, поэтому сразу оговорюсь, что это не так.

Вы, вероятно, не раз натыкались на слово «вервольф», обозначающее человека, который способен превращаться в волка. Так вот, за этим словом стоит реальное природное явление. Можно сказать, что это одна из древних традиций нашего отечества, чудом уцелевшая во все выпавшие нам на долю лихие годы. В нашем селе живет Николай Петрович Вахромеев, скромнейший и добрейший человек, который владеет этим древним умением. В чем суть феномена, может, конечно, рассказать только он. Я и сам бы не поверил в возможность подобных вещей, не окажись я случайно свидетелем того, как Николай Петрович, обернувшись волком, спас от стаи диких собак маленькую девочку...»

— Это вранье? Или с корешами договорился? — перебив сам себя, спросил вожак.

Николай не ответил, и вожак стал читать дальше:

— «Я дал Николаю Петровичу слово, что никому не расскажу об увиденном, но нарушаю его, так как считаю, что необходимо изучать это удивительное явление природы. Именно из-за данного мною слова я и не называю своего имени — кроме того, прошу вас не рассказывать о моем письме. Сам Николай Петрович ни разу в жизни не сказал неправды; и я не знаю, как буду глядеть ему в глаза, если он узнает об этом. Признаюсь, что кроме желания содействовать развитию науки мной движет еще один мотив. Дело в том, что Николай Петрович сейчас находится в бедственном положении — живет на ничтожную

пенсию, которую к тому же щедро раздает направо и налево. Хоть сам Николай Петрович не придает никакого значения этой стороне жизни, ценность его познаний для всего, не побоюсь сказать, человечества такова, что ему необходимо обеспечить совсем другие условия. Николай Петрович настолько отзывчивый и добрый человек, что, я уверен, не откажется от сотрудничества с учеными и журналистами. Сообщу то небольшое, что рассказал мне Николай Петрович во время наших бесед, — в частности ряд исторических фактов...»

Вожак перевернул бумажку.

— Так, тут ничего интересного... бред... при чем тут Стенька Разин... где же... Ага, вот. «Кстати сказать, обидно, что для определения исконно русского понятия до сих пор используется иностранное слово. Я бы предложил слово «верволк» — русский корень указывает на происхождение феномена, а романоязычная приставка помещает его в общеевропейский культурный контекст».

— Уж по этой-то последней фразе, — заключил вожак, — окончательно ясно, что отзывчивый и добрый Николай Петрович и неизвестный житель Конькова — одна и та же морда.

Несколько секунд стояла тишина. Вожак отбросил бумагу и посмотрел на Николая.

— Ведь они приедут, — сказал он с грустью. — Они такие идиоты, что могут. Может, они уже были бы здесь, не попади это письмо к Ивану. Но ты и в другие журналы, верно, послал?

Николай хлопнул лапой по пыли:

— Слушайте, к чему вся эта болтовня? Я делаю то, что считаю нужным, переубеждать меня не стоит, а ваше общество, признаться, не очень мне нравится. И давайте на этом простимся.

Он приподнял брюхо с земли, собираясь встать.

— Подожди. Не торопись. Печально, но, похоже, твой волшебный танец на помойке на этот раз прервется.

— Что это значит? — подняв уши, спросил Николай.

— А то, что у мыльных пузырей есть свойство лопаться. Мы не можем тебя убить, ты прав, — но посмотри на него. — Вожак показал лапой на Сашу.

— Я его не знаю, — твякнул Николай. Его глаза опустились на Сашину тень.

Саша тоже посмотрел вниз и оторопел: тени всех остальных были человеческими, а его собственная — волчьей.

— Это новичок. Он может занять твое номинальное место в стае. Если победит тебя. Ну как?

Последний вопрос вожака явно передразнивал характерный вой Николая.

— А ты, оказывается, знаток древних законов, — ответил Николай, стараясь рычать иронично.

— Как и ты. Разве не ими ты собираешься приторговывать? Только ты не умен. Кто тебе за это заплатит? Большая часть того, что мы знаем, никому не нужна.

— Есть еще меньшая часть, — пробормотал Николай; ощупывая круг глазами. Выхода не было — круг был замкнут.

Саша наконец понял смысл происходящего. Ему предстояло драться с этим жирным старым волком.

«Но ведь я здесь случайно, — подумал он. — Я не слышал никакого зова и даже не знаю, что это такое!»

Он посмотрел по сторонам — все глаза были направлены на него.

«Может, сказать всю правду? Вдруг отпустят...»

Он вспомнил свое превращение, потом — как они мчались по ночному лесу и дороге — ничего прекраснее он не испытывал в жизни. «Ты просто самозванец. У тебя нет ни одного шанса», — проговорил чей-то знакомый голос в его голове. А другой голос — вожака — сказал в ту же секунду:

— Саша, это твой шанс.

Он собирался открыть пасть и во всем признаться, но его лапы сами собой шагнули вперед, и он услышал хриплый от волнения лай:

— Я готов.

Он понял, что сам сказал это, и сразу успокоился. Волчья часть его существа приняла на себя управление его действиями, он больше ни в чем не сомневался.

Стая одобрительно зарычала. Николай медленно поднял на Сашу тусклые желтые глаза.

— Только учти, дружок, это очень маленький шанс, — сказал он. — Совсем маленький. Похоже, что это твоя последняя ночь.

Саша промолчал. Старый волк по-прежнему лежал на земле.

— Тебя ждут, Николай, — мягко сказал вожак.

Тот лениво зевнул — и вдруг взлетел вверх; распрямленные лапы подбросили его в воздух, как пружины, и когда они ударились о землю, ничто в нем не напоминало большую усталую собаку — это был настоящий волк, полный ярости и спокойствия; его шея была напряжена, а глаза глядели сквозь Сашу.

По стае опять прошел одобрителный рык. Волки что-то быстро обсудили; один из них подбежал к вожаку и приблизил пасть к его уху.

— Да, — сказал вожак, — это несомненно так.

Он повернулся к Саше:

— Перед дракой положена перебранка. Стая желает.

Саша нервно зевнул и поглядел на Николая. Тот двинулся вдоль границы круга, не отрывая глаз от чего-то, расположенного за Сашей, — и Саша тоже пошел вдоль живой стены, следя за противником. Несколько раз они обошли круг и остановились.

— Вы, Николай Петрович, мне отвратительны, — выдавил из себя Саша.

— Об этом, — с готовностью ответил Николай, — будешь своему папаше рассказывать.

Саша почувствовал, что напряжение прошло.

— Пожалуй, — сказал он, — я-то во всяком случае знаю, кто он.

Это была, кажется, фраза из старого французского романа — она была бы уместней, возвышайся где-нибудь слева залитый луной Нотр-Дам, но ничего лучше не пришло в голову.

«Проще надо», — подумал он и спросил:

— А что это у вас под хвостом такое мокрое?

— Да это я какому-то Саше мозги вышиб, — рыкнул Николай.

Они опять пошли — по медленно сходящейся спирали, держась друг напротив друга.

— На помойках, наверное, и не такое бывает, — сказал Саша. — Вас там не раздражают запахи?

— Меня твой запах раздражает.

— Потерпите. Скоро наступит смерть, и это пройдет.

Николай остановился. Саша тоже остановился и прищурился — свет фонаря неприятно резал глаза.

— Твое чучело, — тихо сказал Николай, — будет стоять в местной средней школе, и под ним будут принимать в пионеры. А рядом будет глобус.

— Ладно, давайте напоследок на «ты», — сказал Саша. — Ты любишь Есенина, Коля?

Николай ответил неприличной переделкой фамилии покойного поэта.

— Зря ты так. Я у него замечательную строку вспомнил: «Ты скулишь, как сука при луне». Не правда ли, скупыми и емкими...

Николай Петрович прыгнул.

Саша совершенно не представлял себе, что такое драка двух волков-оборотней. Однако каким-то образом все становилось ясно по мере развития событий. Пока он и его противник ходили по кругу и переругивались, он понял, что это делается не только чтобы развлечь стаю, но и чтобы противники могли присмотреться друг к другу и выбрать момент для атаки. Он допустил оплошность — увлекся перепалкой, и противник прыгнул на него, когда его слепил свет фонаря.

Но как только это произошло — как только передние лапы и оскаленная пасть Николая высоко поднялись над землей, время изменилось: продолжение прыжка Саша видел уже замедленно, и пока задние лапы Николая отрывались от земли, он успел обдумать несколько вариантов своих действий, причем его стремительные мысли были совершенно спокойны. Он прыгнул в сторону — сначала дав телу команду, а потом просто наблюдая, как оно пришло в движение, оторвалось от земли и взлетело в плотный темный воздух, пропустив падающую сверху тяжелую серую тушу. Саша понял свое преимущество — он был легче и подвижнее. Зато противник был опытней и сильнее и наверняка знал какие-нибудь тайные приемы — опасаться надо было именно этого.

Приземлясь, он увидел, что Николай стоит боком, присев, и поворачивает к нему морду. Ему показалось, что бок Николая открыт, и он прыгнул, целясь раскрытой пастью в пятно более светлой шерсти — откуда-то он уже знал, что так выглядит уязвимое место. Николай тоже прыгнул, но как-то странно — разворачиваясь в воздухе. Саша не понимал, что происходит, — вся задняя часть Николая была открыта, и он словно сам подставлял свою плоть под клыки. Когда он понял, было уже поздно: жесткий, как стальная плеть, хвост хлестнул его по глазам и носу, ослепив и лишив обоняния. Боль была невыносимой — но Саша знал, что ничего серьезного с ним не случилось. Опасность была в том, что секундного ослепления могло хватить врагу для нового — последнего — прыжка.

Падая на вытянутые лапы и уже считая себя проигравшим, Саша вдруг понял, что враг должен снова стоять к нему боком, и вместо того чтобы отпрыгнуть в сторону, как подсказывали боль и инстинкт, он рванулся вперед, еще ничего не видя и чувствуя такой же страх, как во время своего первого волчьего прыжка — с поляны во тьму между деревьями. Некоторое время он парил в пустоте, затем его онемевший нос врезался во что-то теплое и податливое; тогда он с силой сомкнул челюсти.

В следующую секунду они уже стояли друг напротив друга, как в начале драки. Время опять разогналось до обычной скорости. Саша помотал мордой, приходя в себя после ужасного удара хвостом. Он ждал нового прыжка своего врага, но вдруг заметил, что передние лапы у того дрожат и язык вывешивается из пасти. Так прошло несколько мгновений, а потом Николай повалился на бок и возле его горла стало расплываться темное пятно. Саша сделал было шаг вперед, но поймал взгляд вожака и остановился.

Он посмотрел на умирающего волка-оборотня. Тот несколько раз дернулся, затих, и его глаза закрылись. Потом по его телу пошла дрожь, но не такая, как раньше, — Саша ясно чувствовал, что дрожит уже мертвое тело, и это было непонятно и жутко. Контур лежащей фигуры стал размываться, пятно возле горла исчезло, а на истоптанной лапами земле возник толстый человек в трусах и майке — он громко храпел, лежа на животе. Вдруг его храп пре-

рвался, он повернулся на бок и сделал движение рукой, будто поправлял подушку. Рука схватила пустоту, и, видимо, от этой неожиданности он проснулся, открыл глаза, поглядел вокруг и опять закрыл. Через секунду он открыл их снова и немедленно завопил на такой пронзительной ноте, что по ней, как подумал Саша, можно было бы настраивать самую душераздирающую из всех милицейских сирен. С этим воплем он вскочил, нелепым движением перепрыгнул через ближайшего волка и помчался вдаль по темной улице, издавая все тот же неменяющийся звук. Наконец он исчез за поворотом, и его стон стих, сменившись в самом конце какими-то осмысленными выкриками — слов, однако, нельзя было разобрать.

Стая дико хохотала. Саша поглядел на свою тень и вместо вытянутого силуэта морды увидел полукруг затылка с торчащим клоком волос и два выступа ушей — своих, человеческих. Подняв глаза, он заметил, что вожак смотрит прямо на него.

— Ты понял? — спросил он.

— Мне кажется, да, — сказал Саша. — Он будет что-нибудь помнить?

— Нет. Остаток жизни — если, конечно, считать это жизнью — он будет думать, что ему приснился кошмар, — ответил вожак и повернулся к остальным: — Уходим.

Обратная дорога не запомнилась Саше. Возвращались другим путем, напрямик через лес — так было короче, но времени это заняло столько же, потому что бежать приходилось медленнее, чем по шоссе.

На поляне догорали последние угли костра. Женщина в бусах дремала за стеклом машины — когда появились волки, она приоткрыла глаза, помахала рукой и улыбнулась. Из машины, правда, она не вылезла.

Саша почувствовал печаль. Ему было немного жаль старого волка, которого он загрыз в люди, и, вспоминая перебранку, а особенно перемену, которая произошла с Николаем за минуту до драки, он испытывал к нему почти симпатию. Поэтому он старался не думать о случившемся — и через некоторое время действительно забыл о нем. Нос еще ныл от удара. Он лег на траву.

Некоторое время он лежал с закрытыми глазами. Потом ощутил стеснившуюся тишину и поднял морду — со всех сторон на него молча глядели волки.

Казалось, они чего-то ждут. «Сказать?» — подумал Саша. И решился.

Поднявшись на лапы, он пошел по кругу, как в Конькове, только теперь перед ним не было противника. Единственное, что его сопровождало, было его тенью — человеческой тенью, как у всех в стае.

— Я хочу во всем признаться, — тихо провыл он. — Я обманул вас.

Стая молчала.

— Я не слышал никакого зова. Я даже не знаю, что это такое. Я оказался здесь совершенно случайно.

Он закрыл глаза и стал ждать ответа. Секунду стояла тишина, а затем раздался взрыв хриплого лающего хохота и воя. Он открыл глаза.

— Что такое?

Ответом была еще одна вспышка хохота. Наконец волки успокоились, и вожак спросил:

— А как ты здесь оказался?

— Заблудился в лесу.

— Я не про это. Вспомни, почему ты приехал в Коньково.

— Просто так. Я люблю за город ездить.

— Но почему именно сюда?

— Почему? Сейчас... А, я увидел одну фотографию, которая мне понравилась, — вид был очень красивый. А в подписи было сказано, что это подмосковная деревня Коньково. Только здесь все оказалось по-другому...

— А где ты увидел эту фотографию?

— В детской энциклопедии.

На этот раз все смеялись очень долго.

— Ну, — спросил вожак, — а зачем ты туда полез?

— Я... — Саша вспомнил, и это было как вспышка света в черепе, — я искал фотографию волка! Ну да, я проснулся, и мне почему-то захотелось увидеть фотографию волка! Я искал ее по всем книгам. Что-то я хотел проверить... А потом забыл... Так это и был зов?

— Именно, — ответил вожак.

Саша посмотрел на Лену, которая спрятала морду в лапы и тряслась от смеха.

— Так почему вы мне сразу не сказали?

— Зачем? — отвечал старый волк, сохраняя спокойный вид среди общего веселья. — Услышать зов — это не главное. Это не сделает тебя оборотнем. Знаешь, когда ты стал им по-настоящему?

— Когда?

— Когда ты согласился драться с Николаем, считая, что не имеешь надежды на победу. Тогда и изменилась твоя тень.

— Да. Да. Это так, — пролаяли несколько голосов.

Саша помолчал. Его мысли беспорядочно блуждали. Потом он поднял морду и спросил:

— А что это за эликсир, который мы пили?

Вокруг захохотали так, что женщина, сидящая в машине, опустила стекло и высунулась. Вожак еле сдерживался — его морду перекосила кривая ухмылка.

— Ему понравилось, — сказал он, — дайте ему еще эликсира!

И тоже захохотал. Флакон упал к Сашиним лапам — напрягая зрение, он прочел: «Лесная радость. Эликсир для зубов. Цена 92 копейки».

— Это была просто шутка, — сказал вожак. — Но если б ты знал, какой у тебя был вид, когда ты его пил... Запомни: волк-оборотень превращается в человека и обратно по желанию, в любое время и в любом месте.

— А коровы? — вспомнил Саша, уже не обращая внимания на новую вспышку веселья. — Говорили, мы бежим в Коньково, чтобы...

Он не договорил и махнул лапой.

Смеясь, волки расходились по поляне и ложились в высокую густую траву. Старый волк по-прежнему стоял напротив Саши.

— Скажу тебе еще вот что, — проговорил он, — ты должен помнить, что только оборотни — реальные люди. Если ты согласишься на свою тень, ты увидишь, что она человеческая. А если ты своими волчьими глазами посмотришь на тени людей, ты увидишь тени свиней, петухов, жаб...

— Еще бывают пауки, мухи и летучие мыши, — сказал Иван Сергеевич, остановившись рядом.

— Верно. А еще — обезьяны, кролики и козлы. А еще...

— Не пугай мальчика, — рыкнул Иван Сергеевич. — Ведь ты все придумываешь на ходу. Саша, не слушай.

Оба старых волка захохотали, глядя друг на друга.

— Даже если я и придумываю на ходу, — заметил вожак, — это тем не менее правда.

Он повернулся, чтобы уйти, но остановился, заметив Сашин взгляд.

— Ты хочешь что-то спросить?

— Кто такие верволки на самом деле?

Вожак внимательно посмотрел ему в глаза и чуть оскалился.

— А кто такие на самом деле люди?

Оставшись один, Саша лег в траву, чтобы подумать. Подошла Лена и устроилась рядом.

— Сейчас Луна достигнет зенита, — сказала она.

Саша поднял глаза.

— Разве это зенит?

— Это особенный зенит, на Луну надо не смотреть, а слушать. Попробуй.

Он поднял уши. Сначала был слышен только качавший листву ветер и треск ночных насекомых, а потом добавилось что-то похожее на далекое пение или музыку; так бывает, когда неясно, что звучит — инструмент или голос. Поймав этот звук, Саша отделил его от остальных, и звук стал расти, и через некоторое время его можно было слушать без напряжения. Мелодия, казалось, исходила прямо от Луны и была похожа на музыку, игравшую на поляне до превращения. Только тогда она казалась угрожающей и мрачной, а сейчас, наоборот, успокаивала. Она была прекрасна, но в ней были какие-то досадные провалы, какие-то пустоты. Он вдруг понял, что может заполнить их своим голосом, и завыл — сначала тихо, а потом громче, подняв вверх пасть и забыв про все остальное, — тогда, слившись с его воем, мелодия стала совершенной.

Рядом с его голосом появились другие, они были совсем разными, но ничуть не мешали друг другу.

Скоро выла уже вся стая. Саша понимал и чувства, наполняющие каждый голос, и смысл всего вместе. Каждый голос был о своем: Лены — о чем-то легком, похожем на удары капель дождя о звонкую жесть крыши; низкий бас вожака — о неизмеримых темных безднах, над которыми он взвился в прыжке; дисканты волчат — о радости из-за того, что они живут, что утром бывает утро, а вечером — вечер, и еще о какой-то непонятной печали, похожей на радость. И все вместе были о том, как непостижим и прекрасен мир, в центре которого они лежат на поляне.

Музыка становилась все громче, Луна наплывала на глаза, закрывая небо, и в какой-то момент обрушилась на Сашу, или это он оторвался от земли и упал на ее приближающуюся поверхность.

Придя в себя, он ощутил слабые толчки и слышал гул мотора. Он открыл глаза и обнаружил, что полулежит на заднем сиденье машины, под ногами у него рюкзак, рядом спит Лена, положив голову ему на плечо, а впереди за рулем сидит вожак стаи, полковник танковых войск Лебеденко. Саша собрался что-то сказать, но полковник, отраженный зеркальцем над рулем, прижал к губам палец; тогда Саша повернулся к окну.

Машины длинной цепью мчались по шоссе. Было раннее утро, солнце только что появилось, и асфальт впереди казался бесконечной розовой лентой. На горизонте возникали игрушечные дома надвигающегося города.

ОНТОЛОГИЯ ДЕТСТВА

Обычно бываешь слишком захвачен тем, что происходит с тобой сейчас, чтобы вдруг взять и начать вспоминать детство. Вообще жизнь взрослого человека самодостаточна и — как бы это сказать — не имеет пустот, в которые могло бы поместиться переживание, не связанное прямо с тем, что вокруг. Иногда только, совсем рано утром, когда просыпаешься и видишь перед собой что-то очень привычное — хотя бы кирпичную стену, — вспоминаешь, что раньше она была другой, не такой, как сегодня, хотя и не изменилась с тех пор совершенно.

Вот щель между двумя кирпичами — в ней видна застывшая полоска раствора, выгнутая волной. Если не считать лет, когда ты засыпал, ложась для разнообразия ногами в другую сторону, или того совсем уж далекого времени, когда голова еще постепенно удалялась от ног и утренний вид на стену претерпевал небольшие ежедневные сдвиги, — если не брать всего этого в расчет, то всегда этот вертикальный барашек в щели между кирпичами и был первым утренним приветом от огромного мира, в котором мы живем, — и зимой, когда стена пропитывалась холодом и иногда даже покрывалась удивительной красоты серебристым налетом, и летом, когда двумя кирпичами выше появлялось треугольное, с неровными краями, солнечное пятно (только на несколько дней в июне, когда солнце уходит достаточно далеко на запад). Но за время своего долгого путешествия из прошлого в настоящее окружающие предметы потеряли самое главное — какое-то совершенно неопределимое качество. Даже не объяснить. Вот, например, с чего раньше начинался день: взрослые уходи-

ли на работу, за ними захлопывалась дверь, и все огромное пространство вокруг, все бесконечное множество предметов и положений, становилось твоим. И все запреты переставали действовать, а вещи словно расслаблялись и переставали что-то скрывать. Взять что угодно — самое привычное, хоть лежак — верхний, нижний — не важно: три параллельные доски, поперечная железная полоса снизу, и на каждой такой полосе по три выпирающих заклепки. Так вот, если рядом был хоть один взрослый, лежак, честное слово, как-то сжимался, становился узким и неудобным. А когда они уходили работать, не то он становился шире, не то появлялась возможность удобно на нем устроиться. И каждая из досок — тогда их еще не красили — покрывалась узором, становились видны годовые кольца, пересеченные когда-то пилой под самыми немислимыми углами. То ли в присутствии взрослых они куда-то исчезали, то ли просто не приходило в голову обращать на такие вещи внимание под аккомпанемент тяжелых разговоров о пересменках, нормах и близкой смерти.

Самое удивительное, конечно, — это солнце. Главное — даже не ослепительное пятно в небе, а идущая от окна полоса воздуха, в которой висят пушистые пылинки и мельчайшие скрученные волоски. Их движения до того округлы и плавны (в детстве, кстати, видишь их рой изда-лека с удивительной ясностью), что начинает казаться, будто есть какой-то особый маленький мир, живущий по своим законам, и то ли ты сам когда-то жил в этом мире, то ли еще можешь туда попасть и стать одной из этих сверкающих невесомых точек. И опять: на самом деле кажется совсем не это, но иначе не скажешь, можно только ходить вокруг да около. Просто видишь вокруг себя замаскированные области полной свободы и счастья. У солнца есть потрясающая способность выделять в том немногом, чего оно может коснуться, переходя из верхнего угла первого окна в нижний угол второго, все самое лучшее. Даже обитаемая железом дверь сообщает про себя что-то такое, что понимаешь — бояться того, что может появиться из-за нее, не стоит. Да и вообще бояться нечего, говорят полосы света на полу и на стенах. В мире нет ничего страшного.

Во всяком случае, до тех пор, пока этот мир говорит с тобой; потом, с какого-то непонятного момента, он начинает говорить о тебе.

Обычно в детстве просыпаешься от утренней ругани взрослых. Они всегда начинают день с ругани; сквозь продолжающийся сон их речь кажется странно растянутой и вязкой, и отлично чувствуешь по их интонациям, что и те, кто орет, и те, кто оправдывается, на самом деле совершенно не испытывают тех чувств, которые стараются выразить своими голосами. Просто они тоже недавно проснулись, еще не совсем очухались от увиденного во сне — хоть ничего уже не помнят — и стараются побыстрее убедить себя и других, что утро, жизнь, несколько минут на сборы — все это на самом деле. А когда им это удастся, они приходят в зацепление друг с другом. Последние утренние сомнения исчезают, и они уже стараются найти в аду, куда только что с такой стремительностью въехали, места поуютнее. И от ругани переходят к шуткам. И то, что у них всех общая судьба, становится несущественно, раз есть минимальные различия, которые они научились видеть, — и уже не важно, что они все здесь подохнут; важно, что кто-то спит наверху и далеко от окна. Главное, что понимаешь все это еще совсем маленьким, когда никак не сумел бы выразить этого вслух, — понимаешь по голосам взрослых, которые долетают до тебя сквозь утренний полусон. И это кажется удивительным и странным — но тогда весь мир еще удивителен, все в нем странно. А потом тебя уже поднимают вместе со всеми.

Сначала взрослые нагибаются откуда-то сверху и подносят к тебе растянутое в улыбке лицо. Видимо, в мире действует закон, заставляющий их улыбаться, обращаясь к тебе, — улыбка, понятно, деланная, но главное, что понимаешь: зла тебе сделать не должны. Лица у них страшные: изрытые, в пятнах, с щетиной. Чем-то похожие на луну в окне — также много деталей. Взрослые очень понятны, но сказать при них почти нечего. Часто бывает пакостно от их пристального внимания к твоей жизни. Вроде бы они не требуют ничего: на секунду отпускают невиди-

мое бревно, которое несут всю свою жизнь, чтобы с улыбкой нагнуться к тебе, а потом, выпрямившись, опять взяться за него и понести дальше — но это только на первый взгляд. На самом деле они хотят, чтобы ты стал таким же, как они; им надо кому-то перед смертью передать свое бревно. Не зря же они его несли. По вечерам они часто собираются по несколько человек и кого-нибудь бьют — тот, кого избивают, обычно очень тонко подыгрывает тем, кто бьет, и за это его бьют чуть слабее. Как правило, на это не дают смотреть, но всегда можно спрятаться между лежаков и все разглядеть через стандартную сантиметровую щель между досками. А потом — и хоть от той минуты, когда ты, прячась, смотришь на всю процедуру, до той, когда это случится, еще далеко, — потом наступит день, когда ты сам будешь корчиться на полу среди взлетающих ног в кирзачах и валенках, стараясь подыграть тем, кто тебя бьет.

Когда начинаешь читать, еще не текст направляет твои мысли, а сами мысли — текст. Обрыв проходит всегда по самому интересному месту, и если узнаешь из кусочка газеты, как зал аплодисментами встретил товарищей такого-то и такого-то, начинаешь думать, что эти двое — очень крутые люди, раз даже их товарищей специально встречают какими-то аплодисментами. И вот закрываешь глаза и начинаешь представлять себе этих товарищей и аплодисменты, и успеваешь прожить целую маленькую жизнь, совершенно скрытую от сидящих на соседних парашах. И все это из-за куска газеты размером со сторону чайной пачки, со следом подошвы кирзача. А если в руки попадается настоящая книга, это уже ни с чем не сравнишь. И не важно какая — их тут совсем немного, пять-шесть, и каждую читаешь несколько раз, — а не важно потому, что всякий раз читаешь книгу иначе. Сначала в ней бывают важны сами по себе слова, за любым из которых сразу же вспыхивает то, что оно обозначает («сапог», «параша», «ватник»), или зияет бессмысленная чернота («онтология», «интеллигент»), и надо идти к кому-нибудь из взрослых, чего всегда хочется избежать, отчего онтология становится ручным фонарем, а интеллигент — длинным разводным

ключом со сменной головкой. В следующий раз интересуешься уже целыми ситуациями: как некто, плотно топая, входит в вонючую тесноту кухни и крепкими рабочими кулаками вдрызг расшибает кривляющееся и мерзкое лицо официанта Прошки. Нет взрослого, который не читал бы эту книжку, — и каждый раз, собравшись вокруг очередной жертвы в обычный дышащий гнилыми ртами круг, они по очереди делают маленький шагок вперед и на секунду становятся справедливым парнем Артемом, вкладывающим в удар всю ненависть к кривляющемуся и официантскому, которое мечется в центре. Наверно, нет ни одного избиения, в котором не торжествовала бы воображаемая справедливость. А потом — в третий раз — находишь описание, как на верхних нарах горячо дышит какая-то девка, и замечаешь уже только это. Надо совсем повзрослеть, чтобы понять, насколько неинтересно и убого все то, что ты успел столько раз перечитать.

В детстве счастлив потому, что думаешь так, вспоминая его. Вообще, счастье — это воспоминание. Когда ты был маленький, тебя выпускали гулять на целый день, и можно было ходить по всем коридорам, заглядывать куда угодно и забредать в такие места, где ты мог оказаться первым человеком после строителей. Сейчас это стало тщательно охраняемым воспоминанием, а тогда — всего-то: идешь по коридору и тоскуешь, что опять начинается зима и за окном будет почти все время темно, сворачиваешь, на всякий случай ждешь, пока по примыкающему коридору угромянут две матерящиеся овчины, и еще раз сворачиваешь в дверь, которая всегда закрыта, а сегодня вдруг нараспашку. Что-то светится в конце коридора. Оказывается, вдоль стены здесь идут две толстенные трубы, покрытые штукатуркой и даже побеленные. А в конце, там, где виден свет и откинут железный люк, видишь огромный агрегат синего цвета, который мелко-мелко сотрясается и гудит, а за ним — еще два таких же, и никого вокруг: можно хоть сейчас спуститься по лестнице и оказаться в этом магическом объеме, содрогающемся от собранной в нем силы. Не делаешь этого только потому, что за спиной в любой момент могут запереть дверь, — и идешь назад.

мечтая попасть сюда когда-нибудь еще. Потом, когда начинаешь попадать сюда каждый день, когда уход за этими никогда не засыпающими металлическими черепахами становится номинальной целью твоей жизни, часто тянет вспомнить, как увидел их в первый раз. Но воспоминания стираются, если пользоваться ими часто, поэтому держишь это — о счастье — про запас.

Другое воспоминание, которым почти не пользуешься, тоже связано с покорением пространства. Кажется, это было раньше: один из боковых коридоров, зимний день (окна уже синеватые — начинает смеркаться), тишина во всем огромном здании — все на работе. Похоже, что действительно никого нет — это видно по тому, как выглядит все вокруг. Взрослые изменяют окружающее, а сейчас полутемный коридор необычайно загадочен, весь в каких-то тенях — даже немного страшно. Свет еще не включили, но скоро уже должны, и можно позволить себе очень редкое удовольствие — бег. Сначала разгоняешься от пожарной доски в темном тупике коридора (очень странная доска — на ней нарисованы масляной краской топор, багор и ведро), некоторое время виляешь по коридору, наслаждаясь свободой и легкостью, с которой можешь заставлять стены наклоняться, приближаться или удаляться — и все это из-за крошечных команд, которые даешь своему телу. Но самое потрясающее, конечно, — это поворот направо, в короткое колено коридора, кончающееся затянутым проволочной сеткой окном. Уже метров за двадцать до угла забираешься к левой стене, а когда напротив мелькает фанерная дверца с надписью ПК-15Щ, отделяешься от стены и, вписываясь в длинную дугу, сильно наклоняешься вправо — вот эти-то несколько секунд, когда почти повисаешь правым боком над плитами пола, и дают ни с чем не сравнимую свободу. Потом легко пролетаешь остаток коридора и, вложив пальцы в проволочные ячейки, выглядываешь в окно: уже темно, и над забором, на столбах которого торчат высокие снежные папахи, горит несколько холодных синих фонарей.

Звуки, доносящиеся из-за окна, обладают совершенно иной природой, чем те, которые рождаются где-нибудь в

коридоре или за перегородкой. Разница не столько в свойствах самого звука — громкий он или тихий, резкий или приглушенный, — сколько в том, что его одушевляет. Почти все звуки производятся людьми, но те, что возникают внутри огромного здания, воспринимаются как урчание в кишечнике или хруст суставов огромного организма — словом, не вызывают интереса из-за своей привычности и объяснимости. А то, что прилетает из-за окна, — почти единственное свидетельство существования всего остального мира, и кажется звук оттуда необыкновенно важен. Звуковая картина мира тоже успела сильно измениться со времен детства, хотя ее главные составляющие — все те же. Вот обычный законный звук; далекие звонкие удары железа о железо, по сравнению с пульсом — реже раза в два-три. У них очень интересное эхо: кажется, что звук доносится не из какой-то одной точки, а сразу со всей дуги горизонта. Самое первое, чем был этот бой, — еще в те времена, когда можно было спать после общего подъема, — это шкалой времени или даже внешней точкой опоры, по отношению к которой вечерние разборки и утренний мордобой взрослых приобретали необходимую протяженность и последовательность. Позже этот размерный звон превратился в стук мирового сердца и оставался им до тех пор, пока кто-то не сказал, что это забивают сваи на стройплощадках. Еще среди звуков можно выделить гудение далеких машин, вой маневрового тепловоза на сортировочной, голоса и смех (очень часто — детский), гул самолетов в небе (в нем есть что-то доисторическое), шум, порождаемый ветром, и, наконец, лай собак. Говорят, что когда-то существовал такой способ сноситься с сидящим в соседней камере (в камерах сидели по одному — даже не верится, что так могло быть): сидящий в первой камере начинал определенным образом стучать в стену, зашифровывая в последовательности ударов свое сообщение, а из соседней камеры ему отвечали, пользуясь тем же кодом. Это, видимо, легенда — какой смысл разрабатывать особый язык, когда можно прекрасно обо всем поговорить, встретившись на общих работах? Но важна идея — передача сути через комбинацию самого что ни на есть простого, вроде доносящихся через стену ударов. Иногда

думаешь — если бы наш Создатель захотел с нами перестукиваться, что бы мы услышали? Наверное, что-то вроде далеких ударов по свае, забиваемой в мерзлый грунт, — непременно через равные интервалы, тут неуместна никакая морзянка.

Чем ты взрослее, тем незамысловатее этот мир, и все же в нем есть много непонятного. Взять хотя бы два квадрата неба на стене (неба, если сидеть на нижнем лежаке, а с верхнего видны еще верхушки далеких толстых труб). Ночью в них появляются звезды, а днем — облака, вызывающие очень много вопросов. Облака сопровождают тебя с самого детства, и их столько уже рождалось в окнах, что каждый раз удивляешься, встречаясь с чем-то новым. Вот, например, сейчас в правом окне висит развернутый розоватый (уже скоро закат) веер из множества пушистых полос — словно от всей мировой авиации (кстати, интересно, как видят мир те, кто мотает свой срок в небесах), а в левом небо просто расчерчено в косую линейку. Получается, что сегодня та бесконечно далекая точка, откуда дует ветер, как раз напротив правого окна. Наверняка это что-то значит, и тебе просто неизвестен код — вот оно, перестукивание с Богом. Здесь не ошибешься. Точно так же не ошибешься насчет смысла происходящего, когда на глухой ноябрьской туче появляется размытое пятно, бледный неправильный треугольник (ты уже видел его летним утром на кирпичях возле своего лица), и из его центра сквозь быстро летящие полосы тумана светит солнце. Или — летом — красный, в полнеба холм над горизонтом (только с верхних нар). Раньше существовало много вещей и событий, готовых по первому твоему взгляду раскрыть свою подлинную природу — собственно, почти все вокруг. Когда по рукам пошла фотография тюрьмы, сделанная снаружи (предположительно с каланчи над зоной кондитерской фабрики), было не очень понятно, чем так потрясены старые зеки — неужели в их жизни нет более удивительного? Вечерний кусок плохого торта, знакомая вонь из параша и наивная гордость за возможности человеческого разума. А можно перестукиваться с Богом. Ведь отвечать ему — значит просто чувствовать и понимать все это.

Вот так и думаешь в детстве, когда мир еще строится из простых аналогий. Только потом понимаешь, что переговариваться с Богом нельзя, потому что ты сам и есть его голос, постепенно становящийся все глуше и тише. С тобой, если вдуматься, происходит примерно то же, что и с чьим-нибудь криком, долетающим до тебя со двора, где играют в футбол.

Что-то творилось с миром, где ты рос, — каждый день он чуть-чуть менялся, каждый день все вокруг приобретало новый оттенок смысла. Начиналось все с самого солнечного и счастливого места на земле, где живут немного смешные в своей привязанности к кирзовым сапогам и черным ватникам люди — смешные и тем более родные; начиналось с радостных зеленых коридоров, с веселой игры солнца на облупившейся проволоочной сетке, с отчаянного щебета ласточек, устроивших себе гнездо под крышей жестяного цеха, с праздничного рева ползущих на парад танков — хоть их и не видно за забором, умеешь по звуку определять, когда идет танк, а когда самоходка; с дружного хохота взрослых, встречающего некоторые из твоих вопросов; с улыбки натыкающегося на тебя в коридоре охранника; с виляния хвоста подбегающей к тебе огромной овчарки. Потом самое лучшее место понемногу блекнет: начинаешь замечать трещины на стенах, тяжелую вонь из пищеблока, неприятную именно своей ежедневностью; начинаешь догадываться, что и за родильным забором со свежешапкеванными выщербинами существует какая-то жизнь, — словом, с каждым новым днем все меньше вопросов по поводу твоей настоящей судьбы остается без ответа. А чем меньше остается скрытого от тебя, тем меньше взрослые склонны прощать тебе за твою чистоту и наивность; получается, что просто видеть этот мир уже означает замараться и соучаствовать во всех его мерзостях — а по вечерам в тупиках коридоров и темных углах камер бывает много страшного. И вот из зыбкого тумана забывающегося детства выплывает — как при наведении фокуса — понимание того, что ты родился и вырос в тюрьме, в самом грязном и вонючем углу мира. И когда ты окончательно понимаешь это, на тебя начинают в пол-

ной мере распространяться законы твоей тюрьмы. Но и что из этого? Дело в том, что мир придуман не людьми — как бы они ни мудрили, они не в состоянии сделать жизнь последнего зека хоть сколько-нибудь отличной от жизни самого начальника хозяйственной части. И какая разница, что является поводом, если вырабатываемое душами счастье одинаково? Есть норма счастья, положенного человеку в жизни, и что бы с ним ни происходило, этого счастья не отнять. Говорить о том, что хорошо и что плохо, можно, если по меньшей мере знаешь, кем и для чего сконструирован человек.

Предметы не меняются, но что-то исчезает, пока ты растешь. На самом деле это «что-то» теряешь ты, необратимо проходишь каждый день мимо самого главного, летишь куда-то вниз — и нельзя остановиться, перестать медленно падать в никуда — можно только подбирать слова, описывая происходящее с тобой. Возможность смотреть в окна — не самое главное в жизни, но все же растреиваешься, когда тебя перестают выпускать в коридор — уже почти взрослый и к празднику получишь кирзовые сапоги и ватник. Из множества когда-то доступных панорам для постоянного пользования остается всего одна (из обоих окон под чуть разными углами видно то же самое), любоваться которой можно, только прислонив короткую лавку к стене и встав на ее край; двор, окруженный невысоким бетонным забором, два ржавых автобуса — скорее уже останки, похожие на мертвых ос пустые внутри желтые оболочки; длинное здание соседней тюрьмы под полукруглой коричневой крышей; дальше уже совсем далекие тюрьмы и небо, занимающее всю остальную часть четырехугольного проема. То, что видишь каждый день много лет, постепенно превращается в памятник тебе самому — каким ты был когда-то, — потому что несет на себе отпечаток чувств уже почти исчезнувшего человека, появляющегося в тебе на несколько мгновений, когда ты видишь то же самое, что видел когда-то он. Видеть — на самом деле значит накладывать свою душу на стандартный отпечаток на сетчатке стандартного человеческого глаза. Раньше в этом дворе играли в футбол, падали, вставляли,

били по мячу, а сейчас остались только ржавые автобусы. На самом деле с тех пор, как ты начал ходить на общие работы, ты слишком устаешь, чтобы внутри ожило хоть что-то, способное сыграть в футбол на твоей сетчатке. Но какая бы всенародная смена белья ни ждала впереди, уже никому не отнять у прошлого того, что видел кто-то (бывший ты, если это хоть что-нибудь значит), стоя на качающейся лавке и глядя в окно: несколько человек перекидывают друг другу мяч, смеются — их голоса и удары ног о кожу доносятся с небольшим опозданием; один неожиданно вырывается вперед — на нем зеленая майка, — гонит мяч к воротам из двух старых протекторов, бьет, попадает, исчезает из виду — и долетают крики игроков. Удивительно. В этой же камере жил когда-то маленький зек, видевший все это, а сейчас его уже нет. Видно, побеги иногда удаются, но только в полной тайне, и куда скрывается убежавший, не знает никто, даже он сам.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВИДОВ

Когда над головой захлопнулся люк и голоса оставшихся наверху людей стали глуше, Чарлз Дарвин осторожно пошел вниз по лестнице, держась одной рукой за отполированный множеством ладоней поручень, а другой сжимая подсвечник с толстой восковой свечой. Сойдя с последней скрипучей ступеньки, он отпустил поручень и осторожно пошел вперед.

Пол уже отмыли. Свеча давала достаточно света, чтобы разглядеть ободранные доски стены, липкую на вид бочку, несколько валяющихся на полу картофелин и длинные ряды одинаковых ящиков, которые уходили в постепенно сгущающийся мрак, — ящики стояли с обеих сторон прохода в несколько рядов и были прикреплены к стенам толстыми канатами. Через несколько шагов из тьмы выплыли несколько винных бочек и груда сложенных у стены мешков. Проход стал шире. Впереди, казалось, произошло какое-то движение. Дарвин вздрогнул и попятился назад, но сразу же понял, в чем дело — из темноты прилетал сквозняк, пламя свечи подрагивало, и вслед за ним колебались тени, отчего и казалось, что впереди что-то шевелится.

Когда ящики по бокам кончились, Дарвин оказался в довольно просторном помещении, углы которого были загромождены разным хламом — обрывками парусины, закопченными котлами и беспорядочно сваленными досками. Прямо перед его лицом слегка покачивался кусок каната. Дарвин поднял подсвечник и поглядел на потолок — в его грубые доски был ввинчен массивный крюк, к которому и был привязан обрывок. Осторожно обойдя канат, Дарвин сделал несколько шагов по пока-

чивающемуся полу и остановился возле стоящих у стены стола и скамьи.

Вокруг пахло плесенью и мышами, но этот запах не был неприятен и скорее создавал подобие уюта. У стены стояли длинная палка и прикрытая плетеной крышкой корзина — они остались на тех же местах, где он оставил их вчера вечером. Откинув длинные полы сюртука, Дарвин присел на лавку, поставил свечу на стол и задумчиво уставился во тьму.

«Не в таком ли точно сумраке, — подумал он, оглядывая выступяющие из темноты углы предметов и их тени, — блуждает человеческий разум? Не так ли точно и мы выхватываем из мрака неведения немногие доступные нашему рассудку соответствия, на которые потом и пытаемся опереться в своем понимании мира? Вот бочка, вот стоящий рядом ящик, но из того, что я сейчас их вижу, вовсе не следует, что такие же бочки и ящики будут стоять повсюду, куда я ни пойду... Только при чем тут ящики? Ящики тут ни при чем, и дело вовсе не в них, а в том, что Ламарк механически переносит на природу одну из функций человеческого сознания. Он говорит о некоем абстрактном движении жизни к самосовершенствованию. Но если бы оно действительно было главной причиной развития и изменения живого мира, как это утверждает Ламарк, то в равной мере совершенствовались бы все живые существа. Но ведь мы видим совсем иное! Один вид уступает место другому, а потом на его место приходит третий... Вчера мы установили, что именно условия, в которых существует жизнь, оказывают на нее определяющее влияние. Но каким образом? Почему один вид гибнет, а другой размножается? Что управляет этим величественным процессом? Какая сила заставляет жизнь приобретать новые формы? И как разглядеть гармонию в том, что на первый взгляд представляется полным хаосом?..»

Брежет в кармане тихо прозвенел несколько нот из увертюры к «Роберту-дьяволу», и Дарвин пришел в себя. Как всегда, мысли увели его далеко, так далеко, что, открыв глаза, он не сразу понял, где он находится и для чего он здесь оказался.

«За работу, — подумал он, — Начнем с того, на чем мы остановились вчера».

Встав, он шагнул к стене, взял палку, поднял ее над головой и три раза сильно ударил в потолок. Прошла секунда, и оттуда ответили три таких же удара. Тогда Дарвин ударил еще раз и поставил палку на место. Сняв сюртук, он аккуратно положил его на стол. На нем остался черный жилет из толстой кожи, густо усеянной короткими стальными шипами. Ослабив шнуровку на груди, Дарвин отошел от стола и принялся махать руками и подпрыгивать на месте, чтобы как следует разогреть мышцы перед опытом. Но времени на гимнастику у него почти не осталось — из темноты донесся скрип открываемого люка, угрожающие голоса и глухое ворчание; на секунду в проход, из которого он недавно вышел, упал свет, но люк сразу же захлопнулся, и опять стало темно и тихо.

Прошло несколько минут, в течение которых Дарвин неподвижно стоял у стола и вслушивался. Наконец за пределами освещенного пространства раздались скребущие звуки — там передвигали что-то тяжелое. Потом долетел скрип досок, послышалось нечто отдаленное, похожее на смех, и из прохода прямо под ноги Дарвину быстро покатилась бочка. Дарвин усмехнулся и шагнул в сторону. Бочка пронеслась мимо, врезалась в мешки с мукой и остановилась.

Опять наступила тишина. Вдруг твердый предмет ударил Дарвина в грудь и отскочил. Дарвин отпрыгнул в сторону и увидел упавшую на пол большую картофелину. Из-за ящиков вылетела другая картофелина и попала ему в плечо. Дарвин шагнул вперед, широко расставил ноги в тяжелых сапогах, нагнулся и громко свистнул. В проходе показалась неясная фигура — она взмахнула длинной рукой, и еще одна картофелина пролетела совсем рядом с его ухом. Дарвин поднял одну из картофелин с пола, прицелился и изо всех сил швырнул ее в самый центр размытого силуэта.

Из темноты донеслось обиженное верещание, перешедшее в тихие всхлипывающие звуки, и навстречу Дарвину двинулась огромная мохнатая тень. Угрожающе

рыча, она шагнула вперед и замерла на краю освещенного пространства. Теперь она была полностью видна. Хотя это зрелище и было для Дарвина довольно привычным, он непроизвольно шагнул назад.

Перед ним, упершись длинными руками в пол, стоял старый орангутан. Его заостренная на макушке голова с выступающей вперед мордой напоминала голову уродливого ребенка, набившего в рот слишком много пищи; губы были морщинистыми и вздутыми, нос — плоским и темным, а совершенно человеческие глаза глядели презрительно и лениво. Выше пояса он напоминал огромного оплывшего завсегдатая эдинбургских пабов, любителя пива, снявшего рубаху из-за жары. На его почти безволосой груди выделялись мощные складки, похожие на отвислые женские груди, — это сходство подчеркивали крупные темные соски, но Дарвин знал, что на стальных мышцах животного нет ни одной унции жира. Что-то женское было и в длинных рыжеватых косичках, в которые сплетались длинные пряди шерсти, росшие на боках мощного тела, в широких крепких бедрах и сильно выступающем вперед животе.

Орангутан оторвал от пола руки и слегка стукнул обоими кулаками в пол. Дарвин в ответ топнул ногой, еще раз свистнул и двинулся навстречу. Их глаза встретились, и Дарвин почувствовал, что обезьяна отлично все понимает. Он не знал, в каких образах ее примитивное восприятие отражает суть происходящего, но ощущал, что, как и он сам, она готова к последней схватке, к яростной и беспощадной битве за существование в этом жестоком мире. Дарвин понимал это по признакам, абсолютно ясным для его натренированного глаза.

Короткая шея самца вздрагивала, и покрывавшие ее глубокие складки то и дело растягивались — как всегда в момент высшего возбуждения, орангутан раздувал свой горловой мешок. Иногда он на секунду прикрывал веки, испускал тихий звук, похожий на «о-о», и перебирал ногами — вес его тяжелого тела покоился на упертых в пол руках. Медленно приближаясь к орангутану, Дарвин глядел именно на руки, и, когда они оторвались от пола, он резко присел.

Огромная лапа пронеслась над его головой, но не поймала ничего, кроме пустоты. Дарвин был уже совсем рядом. Он резко выпрямился и, не дожидаясь, пока самец опять попытается схватить его, с выдохом толкнул его в грудь. Орангутан на секунду потерял равновесие, неловко взмахнул руками, и Дарвин коротким и точным ударом обрушил кулак на его плоский темный нос.

Орангутан грохнулся на пол, но сразу же вскочил.

— О-о, — промычал он.

Дарвин свистнул, и самец запрыгал вокруг него, избегая, однако, подходить слишком близко. Перемещался он, опираясь на пол руками и закидывая далеко вбок короткие волосатые ноги. Дарвин с холодной улыбкой следил за ним, поворачиваясь вокруг своей оси так, чтобы все время стоять к орангутану лицом. Орангутан остановился, оторвал лапы от пола и сильно ударил себя по животу продолговатыми серыми кистями.

— О-о, — опять провыл он и развел руки в стороны.

Дарвин стремительно прыгнул ему на грудь, и они вместе повалились на пол. Пальцы Дарвина сжали морщинистое горло самца, а полусогнутые ноги цепко обхватили его выпирающий живот. Орангутан попытался вывернуться и несколько раз сильно дернулся под ним, но Дарвин удержался наверху и сжал пальцы еще сильнее. Некоторое время лапы самца беспорядочно и не сильно хлопали его по бокам, а потом вдруг вцепились ему в бакенбарды — видимо, обезьяна тоже хотела схватить его за горло, но Дарвин предусмотрительно прижал подбородок к груди. Орангутан крепче вцепился в бакенбарды и потянул их на себя, почти прижав лицо Дарвина к своей морде.

Некоторое время человек и обезьяна лежали неподвижно, и тишину нарушало только их быстрое хриплое дыхание.

«В сущности, — думал Дарвин, морщась от зловонного запаха из звериной пасти, — природа едина. Это один огромный организм, в котором разные существа и виды выполняют функции разных органов или клеток. И то, что при поверхностном взгляде может показаться непримиримой борьбой за жизнь, по сути не что иное, как самооб-

новление этого организма, процесс, подобный тому, который происходит в любом живом существе, когда старые клетки отмирают и как бы выталкиваются прочь новыми, возникающими на их месте... Что такое отдельное бытие с точки зрения вида? Что такое бытие вида с точки зрения всего живого? Мнимость...»

Два тела не шевелились, и одна пара глаз смотрела в другую. Два существования встретились, сплелись в подобии любовного объятия, и только одно из них могло победить, только одно должно было продолжиться дальше, а второе, как менее приспособленное и потому недостойное быть, должно было погибнуть и стать пищей мириадов других существ, больших, маленьких и совсем невидимых глазу, которым тоже предстояло вступить в смертельную борьбу за каждую частицу мертвой плоти.

«Итак, — набираясь сил для последнего усилия, думал Дарвин, — даже самая яростная борьба двух живых существ — просто взаимодействие двух атомов бытия, своеобразная химическая реакция. На самом деле мы едины, мы клетки одного бессмертного существа, непрерывно пожирающего самого себя, имя которому — Жизнь. Природа не различает индивидуу-у-у...»

Орангутан дернулся, выгнул спину, и два ненавидящих стоны слились в один протяжный, исполненный страдания и любви к жизни рев. На несколько мгновений возникло как бы одно четырехрукое и четырехногое тело — уже нельзя было сказать, где чье туловище и конечности. Кисть вжалась в горло; пальцы рванули клочок волос; один содрогающийся торс вдавился в другой. Хрустнули ребра, заскрипели зубы, и обнажились клыки. Запузырилась слюна, заклокотал воздух в горле, и быстро застучали в пол пятки. Каждая клетка одеревеневших в напряжении мышц вступила в смертельный бой и стремилась отдать всю накопленную в ней силу, словно ощущая, что такой возможности может не представиться больше никогда. Поджались к паху могучие бедра, выпятился таз; заелозили друг вдоль друга икры; волосатое колено вдавилось в податливый живот; расширились ноздри, и вывалился наружу синий пупырчатый язык.

Две противоположные воли некоторое время дрожали в равновесии, но дело было уже решено — одна из них дрогнула, поддалась, отступила и рассыпалась под натиском другой; прошло несколько секунд, и два глаза из четырех, подернувшись дымкой безразличия, стали медленно стекленеть.

Дарвин вновь осознал себя, помотал головой, разжал пальцы на мохнатом горле и медленно поднялся на ноги. Все тело гудело; болел сорванный ноготь на правой руке, ныло ушибленное колено, но все это не шло ни в какое сравнение с чувством, которое поднималось из глубины сердца и постепенно осознавалось рассудком. Подрагивающей рукой Дарвин стряхнул с груди прилипший мусор.

«Надо всегда видеть торжество бытия за оскаленной личиной страдания и смерти, — подумал он. — В сущности, никакой смерти нет, а есть только родовые схватки, сопровождающие рождение обновленного и более совершенного мира. Вот тут Ламарк безусловно прав».

Он огляделся по сторонам. Все составные части окружающего хлама — ящики, мешки, валяющиеся на полу картофелины — приобрели какое-то новое качество; каждый предмет был омыт восторгом победы и целомудренно открывал теперь таившуюся в нем красоту, словно дева, снимающая с лица покрывало перед завоевавшим ее воином. Мир был прекрасен.

На негнущихся от недавнего напряжения ногах Дарвин медленно вернулся к столу, на котором горела свеча, и сел на лавку. Некоторое время ему в голову не приходило никаких новых мыслей. Потом он поглядел на свой расцарапанный волосатый кулак и вспомнил о Ламарке.

«Но все же, — подумал он, — дело вовсе не в осознанном стремлении природы к совершенству. Мы видим, что происходит отбор, и менее приспособленный уступает место тому, кто приспособлен лучше. Поэтому один вид и вытесняет другой, расселяясь в его ареале. Но возникает вопрос — что именно определяет степень приспособленности? Сила?»

Он еще раз осмотрел свой кулак. На тыльной стороне кисти была татуировка, изображавшая три схематичные короны и лежащую между ними раскрытую книгу, на страницах которой синели крупные слова «*Dominus illuminatia mea*». Между «*Dominus*» и «*illuminatia*» под кожей быстро пульсировала синеватая жила.

«Нет, — подумал Дарвин. — Если бы это была просто физическая сила, тогда Землю населяли бы одни слоны и киты. Безусловно, дело в другом. Но в чем? В чем? Иногда я бываю так близко к разгадке...»

Обхватив руками могучий череп, он надолго ушел в раздумья. Огонек свечи на столе чуть подрагивал, трещал воск, и пищали невидимые мыши. Дарвин думал долго. Его величественная фигура была совсем неподвижной и походила на памятник.

Наконец он пошевелился, встал, взял стоящую у стены палку и четыре раза стукнул в потолок. Оттуда сразу же донеслось четыре ответных удара, и Дарвин стукнул в потолок еще один раз. Положив палку на место, он нагнулся к корзине, поднял плетеную крышку и вынул оттуда два зеленых банана. Сунув их в карманы широких черных штанов, он окончательно распустил стягивающую жилет тесемку, стянул его через голову и кинул на стол рядом с сюртуком.

Когда невидимый люк хлопнул и из прохода между ящиками донесся скрип досок под мягкими, но тяжелыми шагами, Дарвин уже был наготове. На этот раз никаких картофелин в него не полетело — новый гость вел себя без всякой суеты. Он шел, не касаясь руками пола, и двигался неторопливо и уверенно.

В пятне света появилась огромная горилла, равномерно покрытая короткой черной шерстью, — только лицо и кисти были голыми, и поэтому она напоминала одетого в темное трико гиганта. Дарвин вдруг ощутил себя маленьким и слабым — хоть его плечи были почти такой же ширины, он был на голову ниже.

«Итак, — подумал он, сглатывая слюну и крепко упиравшись ногами в покачивающийся пол, — дело не в грубой силе. Но что же тогда определяет выбор природы? Быть может, приспособленность к условиям

существования? Умение лучше использовать возможности среды?»

Он сделал шаг навстречу горилле. Ее небольшие глаза, глубоко вдавленные в череп, смотрели из-под надбровных дуг настороженно, но без страха, а нос походил на уродливый шрам; только уши, одно из которых Дарвин увидел, когда горилла повернула голову, чтобы посмотреть на труп своего предшественника, были совсем человеческими.

Вид мертвого тела подействовал на гориллу возбуждающе. Она тихо, совсем по-собачьи зарычала, обнажила огромные желтые клыки и перевела взгляд на Дарвина. Нельзя было медлить ни секунды.

Дарвин сделал два быстрых шага вперед, изо всех сил оттолкнулся от пола и в прыжке схватился за свивающийся с потолка канат. Подобно огромному маятнику, его тело качнулось вперед, и, когда до испуганно отшатнувшейся гориллы осталось не больше ярда, он молниеносно поджал ноги к животу и ударил ее обоими каблуками прямо в широкую бесстрастную морду — в последний момент обезьяна попыталась было заслониться, но не успела.

Удар был страшен. Горилла отшатнулась, потеряла равновесие и грузно повалилась на пол. Видимо, она была оглушена — после падения она осталась неподвижно лежать. Дарвин мягко спрыгнул на пол и шагнул к ней.

«Так что же такое приспособленность? — подумал он. — Что определяет степень готовности существа к жизни в той или иной среде? Способность выжить? Но тогда получается замкнутый круг. Приспособленность определяет способность к выживанию, а способность к выживанию определяет приспособленность. Нет. Я потерял какое-то логическое звено...»

Он отвел ногу для удара, но в этот самый момент горилла открыла глаза, оттолкнулась от пола передними лапами, и ее челюсти сомкнулись на левом сапоге Дарвина. К счастью, тот успел отдернуть ногу, и зубы животного впились в каблук, перекусив толстую стальную подкову. Дарвин рванулся назад, и его нога выскочила

из сапога. Горилла одним прыжком оказалась на ногах и, работая руками и челюстями, за несколько секунд превратила оставшийся у нее сапог в бесформенный ком рваной кожи. Отбросив его в сторону, она шагнула к ученому, зарычала, протянула вперед лапы, и волнистая шерсть на ее голове встала дыбом.

«Так, — подумал Дарвин, — а может быть, дело в том, что законы природы, хотя и всеобщие, проявляются в жизнедеятельности каждого вида с разной интенсивностью? То есть происходит как бы взаимодействие разных паттернов, совокупность которых и определяет результат естественного отбора!»

— Р-р-р-р! — закричал он.

Горилла отпрыгнула на шаг.

Дарвин выхватил из кармана банан, покрутил его перед мордой гориллы и подкинул к потолку. Обезьяна задрала голову, вскинула руки вверх, пытаясь поймать банан, но в этот момент Дарвин с размаху ударил ее пяткой босой ноги в незащищенный живот. Горилла всхлипнула и согнулась, и тут же мощный хук справа швырнул ее обратно на пол — она упала на грудь, и Дарвин, не теряя времени, повалился ей на спину и обхватил ее горло рукой.

«Интеллект, — подумал он, смыкая стальной зажим сильнее и сильнее, — или даже то, что предшествует интеллекту, — вот фактор, который способен увеличить шансы менее приспособленного в физическом отношении вида в борьбе за существование...»

Но борьба за существование еще только начиналась. Оправившись от потрясения, вызванного падением на пол, горилла зарычала и попыталась перевернуться на спину. Дарвин широко раскинул ноги, чтобы увеличить площадь опоры, и удвоил усилия. В горле у гориллы что-то забулькало, а потом она завела свою огромную лапу назад — Дарвин увидел мелькнувшую у самого лица морщинистую кисть со средними пальцами, соединенными кожистой перепонкой, — и схватила его за косичку, в которую были сплетены волосы на затылке. У Дарвина в глазах потемнело от боли, и он ослабил свою хватку. Горилла сразу же воспользовалась этим и сильным рыв-

ком перевалилась на бок. Теперь Дарвину приходилось напрягать все свои силы, чтобы удержать ее на месте — стоило ей еще чуть-чуть повернуться, и он оказался бы совершенно беззащитным перед ее страшными зубами.

Дарвин застонал и почувствовал, что теряет сознание. Перед его глазами задрожала красноватая рябь, а потом он вдруг ясно, как на раскрашенной гравюре, увидел стоящее на высоком берегу реки трехэтажное здание, заросшее плющом почти до самой крыши, — дом в Шрусбери, где прошло его детство. Он увидел свою комнату, полную коробок с коллекциями раковин и птичьих яиц, а потом — самого себя, маленького, в узком, неудобном сюртучке бредущего в час отлива по берегу моря, рассматривая вынесенных волнами моллюсков и рыб. Потом он ясно увидел вдохновенное лицо профессора Гранта, своего первого учителя, говорящего о личиночных формах пиявок и мшанок, а затем замелькали другие лица, виденные только на портретах, но странно живые — дедушки Эразма, умершего за семь лет до его рождения, Карла Линнея, Жана-Батиста Ламарка, Джона Стивенса (и сразу же вспомнилась подпись под рисунком редкого жука из его книги о британских насекомых — «пойман Ч. Дарвином»). И все эти лица с надеждой глядели на него; все они ждали, что он найдет в себе силы, победит и продолжит начатое ими дело, все они через тьму годов и миль посылали ему свою помощь и поддержку.

«У меня нет права на смерть, — подумал Дарвин, — я еще не знаю главного... Я не могу умереть сейчас».

Сверхчеловеческим усилием он напряг все мышцы своего большого тела, подвернул под себя сжавшую горло обезьяны руку и услышал тихий хруст шейных позвонков. Горилла сразу обмякла в его мощном объятии, но некоторое время Дарвин не мог разжать своего захвата и лежал на ней, восстанавливая дыхание.

«Да, — подумал он, — не только интеллект, но и воля. Воля к жизни. Все это надо спокойно обдумать».

Встав, он медленно подошел к столу, накинул на плечи сюртук и взял в руку подсвечник с догорающей свечой. Кровоточила расцарапанная грудь, болела нога,

ныла перенапряженная шея — но Дарвин был счастлив. Истина стала ближе еще на несколько шагов, и ее торжественный свет, еще не яркий, но уже явственно видный, осенял его душу. Дарвин перешагнул через мертвую гориллу, обошел непристойно раскинувшего ноги орангутана и пошел к выходу.

Когда ведущий на палубу люк распахнулся, Дарвина ослепил солнечный свет. Некоторое время он напряженно моргал, держась за перила, а потом несколько почтительных рук пришли ему на помощь и помогли подняться на палубу.

Дарвин прикрыл лицо ладонью. Когда глаза немного привыкли к свету, он разлепил веки и увидел безбрежную ярко-синюю гладь океана, над которой висели белые галочки птиц. Вдали, за невысокой стеной борта, сквозь редкую сетку уходящих вверх снастей виднелся зеленый берег какого-то неизвестного острова — он то уходил чуть вниз, то поднимался вверх.

— Сэр Чарлз, вы в порядке? — раздался над ухом голос капитана.

— Не называйте меня «сэр», — пробормотал Дарвин. — Ради Бога.

— Поверьте, — торжественно сказал капитан, — и для меня, и для всей команды брига «Бигль» — огромная честь сопровождать вас в этом путешествии.

Дарвин слабо махнул рукой. Как бы подтверждая слова капитана, на носу грохнуло орудие, и над водой вытянулся длинный клуб белого дыма. Дарвин поднял глаза. Вдоль борта ровной шеренгой стояли матросы — здесь была почти вся команда. Десятки глаз влюбленно смотрели на него, и, когда помощник капитана, в парадном кителе стоявший перед строем, взмахнул палашом, над палубой и морем понеслось раскатистое «ура».

— Я же просил, — сказал Дарвин. — Мне, право, неловко.

— Вы гордость Британии, — сказал капитан. — Каждый из этих людей будет рассказывать о вас своим внукам.

Дарвин, смущенно и хмуро косясь на строй моряков, пошел по палубе. Рядом, стараясь не отставать, шел ка-

питан, а следом спешил боцман в белых перчатках, держащий в руках ведро с замороженным шампанским. Влажный ветер, распахнувший полы сюртука, приятно охлаждал голую грудь Дарвина, и он чувствовал, что к нему быстро возвращаются силы.

— О чем вы сейчас думаете? — спросил капитан.

— Я думаю... О Боже, да скажите им, чтобы перестали вопить...

Капитан сделал знак рукой, и раскатистое «ура» стихло.

— Я думаю о своих исследованиях, — сухо сказал Дарвин.

— Сэр Чарлз, — сказал капитан, — поверьте, когда я представляю себе те высоты и бездны, где странствует ваша бесстрашная мысль, мне становится не по себе. Я знаю, что ваши идеи могут оказаться недоступными простому офицеру Ее Величества, но все же я не считаю себя полным невеждой. В свое время я тоже учился в Оксфорде...

Капитан быстрым движением задрал рукав сюртука и показал Дарвину татуировку — три расплывшиеся синие короны и раскрытую между ними книгу со знакомой надписью. Взгляд Дарвина подобрел.

— Я учился в Кембридже, — сказал он, — но дело не в этом. Я думаю о существовании. Существовать — это ведь так прекрасно, не правда ли? Но только борьба способна сделать эту радость ощутимой. Беспощадная, жестокая борьба за право вдыхать этот воздух, смотреть на это море и этих чаек. Понимаете?

Он поднял глаза на капитана. Капитан вдумчиво кивал головой, как человек, который еще не понимает смысла долетающих до него слов, но старательно запоминает их, чтобы осознать их значение позже, много раз в одиночестве повторив их про себя. Их взгляды встретились, Дарвин поднял руку, чтобы положить ее собеседнику на плечо, и вдруг глаза капитана словно выщели — восхищенное внимание в них сменилось почти физически ощутимым страхом. Дарвин грустно улыбнулся и опустил руку. В который уже раз он ощутил стену, отделившую его от остальных людей, суетливых обитателей

повседневности, среди которых так тяжело было жить, принадлежа вечности и истории.

Чтобы не смущать капитана, Дарвин перевел взгляд на длинные ряды стоящих на корме клеток. Из них на него без выражения глядели десятки огромных обезьян — некоторые держались лапами за прутья, некоторые по-туречки сидели на полу, иные вяло шевелились.

Сунув руку в карман, Дарвин нащупал что-то липко-мокрое и вытащил раздавленный в кашу банан, к которому прилипло несколько черно-рыжих шерстинок. Он швырнул банан за борт и повернулся к капитану.

— Часа через два запускайте новых, — сказал он, — я думаю, еще двух на сегодня хватит. А сейчас...

— Шампанского? — спросил справившийся с собой капитан.

— Благодарю, — сказал Дарвин, — благодарю, но мне надо поработать. И если честно, у меня ужасно болит голова.

СИНИЙ ФОНАРЬ

В палате было почти светло из-за горевшего за окном фонаря. Свет был какой-то синий и неживой, и если бы не Луна, которую можно было увидеть, сильно наклонившись с кровати вправо, было бы совсем жутко. Лунный свет разбавлял мертвенное сияние, конусом падавшее с высокого шеста, делал его таинственнее и мягче. Но когда я свешивался вправо, две ножки кровати на секунду повисали в воздухе и в следующий момент громко ударялись в пол, и звук выходил мрачный, странным образом дополняющий синюю полосу света между двумя рядами кроватей.

— Кончай там, — сказал Костыль и показал мне синеватый кулак, — не слышно.

Я стал слушать.

— Про мертвый город знаете? — спросил Толстой.

Все молчали.

— Ну вот. Уехал один мужик в командировку на два месяца. Приезжает домой и вдруг видит, что все люди вокруг мертвые.

— Чего, прямо лежат на улицах?

— Нет, — сказал Толстой, — они на работу ходят, разговаривают, в очереди стоят. Всё как раньше. Только он видит, что они все на самом деле мертвые.

— А как он понял, что они мертвые?

— Откуда я знаю, — ответил Толстой, — это же не я понял, а он. Как-то понял. Короче, он решил сделать вид, что ничего не замечает, и поехал к себе домой. У него жена была. Увидел он ее и понял, что она тоже мертвая. А он ее очень сильно любил. Ну и стал он ее

расспрашивать, что случилось, пока его не было. А она ему отвечает, что ничего не случилось. И даже не понимает, чего он хочет. Тогда он решил ей все рассказать и говорит: «Ты знаешь, что ты мертвая?» А жена ему отвечает: «Знаю». Он спрашивает: «А ты знаешь, что в этом городе все мертвые?» Она говорит: «Знаю. А сам-то ты знаешь, почему вокруг одни мертвецы?» Он говорит: «Нет». Она опять спрашивает: «А знаешь, почему я мертвая?» Он опять говорит: «Нет». Она тогда спрашивает: «Сказать?» Мужик испугался, но все-таки говорит: «Скажи». И она ему говорит: «Да потому что ты сам мертвец».

Последнюю фразу Толстой произнес таким сухим и официальным голосом, что стало почти по-настоящему страшно.

— Да, съездил дядя в командировочку...

Это сказал Коля, совсем маленький мальчик — младше остальных на год или два. Правда, он не выглядел младше, потому что носил огромные роговые очки, придававшие ему солидность.

— Теперь ты рассказываешь, — сказал ему Костыль. — Раз первый заговорил.

— Сегодня такого уговора не было, — сказал Коля.

— А он вечный, — ответил Костыль, — давай, не тяни.

— Лучше я расскажу, — сказал Вася. — Про синий ноготь знаете?

— Конечно, — отозвался шепот из другого угла. — Кто ж про синий ноготь не знает.

— А про красное пятно знаете? — спросил Вася.

— Нет, не знаем, — ответил за всех Костыль, — давай.

— Раз приезжает семья в квартиру, — медленно заговорил Вася, — а на стене — красное пятно. Дети его заметили и позвали мать, чтоб показать. А мать молчит. Сама так смотрит и улыбается. Дети тогда отца позвали. «Смотри, — говорят, — папа!» А отец матери очень боялся. Он им говорит: «Пошли отсюда. Не ваше дело». А мать улыбается и молчит. Так спать и легли.

Вася замолчал и тяжело вздохнул.

— Ну и что дальше было? — спросил Костыль через несколько секунд тишины.

— Дальше утро было. Утром просыпаются, смотрят — а одного ребенка нет. Тогда дети подходят к маме и спрашивают: «Мама, мама, где наш братик?» А мать отвечает: «Он к бабушке поехал. У бабушки он». Дети и поверили. Мать на работу ушла, а вечером приходит и улыбается. Дети ей говорят: «Мама, нам страшно!» А она опять так улыбается и говорит отцу: «Они меня не слушаются. Выпори их». Отец взял и выпорол. Дети даже убежать хотели, только их мать чем-то таким накормила на ужин, что они сидят и встать не могут...

Раскрылась дверь, и все мы мгновенно закрыли глаза и притворились спящими. Через несколько секунд дверь закрылась. Минуту Вася выждал, пока в коридоре стихнут шаги.

— На следующее утро просыпаются — смотрят, еще одного ребенка нет. Одна только маленькая девочка осталась. Она у отца и спрашивает: «А где мой средний братик?» А отец отвечает: «Он в пионерлагере». А мать говорит: «Расскажешь кому — убью!» Даже в школу девочку не пустила. Вечером мать приходит, девочку чем-то опять накормила, так что та встать не могла. А отец двери запер и окна.

Вася опять затих. На этот раз его никто не просил продолжать, и в темноте было слышно только дыхание.

— А потом другие люди приходят, — заговорил он опять, — смотрят, а квартира пустая. Прошел год, и туда новых жильцов вселили. Они увидели красное пятно и подходят, разрезали обои — а там мать сидит, вся синяя, крови насосалась и вылезти не может. Это она все время детей ела, а отец помогал.

Долгое время все молчали, а потом кто-то спросил:

— Вась, а у тебя кем мама работает?

— Не важно, — сказал Вася.

— А у тебя сестра есть?

Вася не отвечал — видно, обиделся или заснул.

— Толстой, — сказал Костыль, — давай еще что-нибудь про мертвецов.

— Знаете, как мертвецами становятся? — спросил Толстой.

— Знаем, — ответил Костыль, — берут и умирают.

— И что дальше?

— Ничего, — сказал Костыль, — как сон. Только уже не просыпаешься.

— Нет, — сказал Толстой, — я не про это. С чего все начинается, знаете?

— С чего?

— А с того, что сначала слушают истории про мертвецов. А потом лежат и думают: а чего это мы истории про мертвецов слушаем?

Кто-то нервно хихикнул, а Коля вдруг сел в кровати и очень серьезно сказал:

— Ребята, кончайте.

— Во-во, — с удовлетворением сказал Толстой, — так и становятся. Главное понять, что ты уже мертвец, а дальше все просто.

— Ты сам мертвец, — неуверенно огрызнулся Коля.

— А я не спорю, — сказал Толстой. — Ты лучше подумай, почему это ты вдруг с мертвецом разговариваешь?

Коля некоторое время думал.

— Костыль, — спросил он, — ты ведь не мертвец?

— Я-то? Да как тебе сказать.

— А ты, Леша?

Леша был Колин друг еще по городу.

— Коля, — сказал он, — ну ты сам подумай. Вот жил ты в городе, да?

— Да, — согласился Коля.

— И вдруг отвезли тебя в какое-то место, да?

— Да.

— И ты вдруг замечаешь, что лежишь среди мертвецов и сам мертвец.

— Да.

— Ну вот, — сказал Леша, — пораскинь мозгами.

— Долго мы ждали, — сказал Костыль, — думали, сам поймешь. За всю смерть такого тупого мертвеца первый

раз вижу. Ты что, не понимаешь, зачем мы тут собрались?

— Нет, — сказал Коля. Он сидел на кровати, прижимая ноги к груди.

— Мы тебя в мертвецы принимаем, — сказал Костыль.

Коля не то что-то пробормотал, не то всхлипнул, вскочил с кровати и пулей выскочил в коридор; оттуда долетел быстрый топот его босых ног.

— Не ржать, — шепотом сказал Костыль, — он услышит.

— А чего ржать-то? — меланхолично спросил Толстой.

Несколько длинных секунд стояла полная тишина, а потом Вася из своего угла спросил:

— Ребят, а вдруг...

— Да ладно тебе, — сказал Костыль. — Толстой, давай еще чего-нибудь.

— Вот был такой случай, — заговорил Толстой после паузы. — Договорились несколько человек напугать своего приятеля. Переоделись они мертвецами, подходят к нему и говорят: «Мы мертвецы. Мы за тобой пришли». Он испугался и убежал. А они постояли, посмеялись, а потом один из них и говорит: «Слушайте, ребят, а чего это мы мертвецами переоделись?» Они все на него посмотрели и не могут понять, что он сказать хочет. А он опять: «А чего это от нас живые убегают?»

— Ну и что? — спросил Костыль.

— А то. Вот тут-то они все и поняли.

— Что поняли?

— А что надо, то и поняли.

Стало тихо, потом заговорил Костыль:

— Слушай, Толстой. Ты нормально можешь рассказывать?

Толстой молчал.

— Эй, Толстой, — опять заговорил Костыль, — ты чего молчишь-то? Умер, что ли?

Толстой молчал, и его молчание с каждой секундой становилось все многозначительней. Мне захотелось на всякий случай что-нибудь сказать вслух.

— Про программу «Время» знаете? — спросил я.

— Давай, — быстро сказал Костыль.

— Она не очень страшная.

— Все равно давай.

Я не помнил точно, как кончалась история, которую я собирался рассказать, но решил, что вспомню, пока буду рассказывать.

— В общем, жил-был один мужик, было ему лет тридцать. Сел он один раз смотреть программу «Время». Включил телевизор, подвинул кресло, чтобы удобнее было. Там сначала появились часы, ну, как обычно. Он, значит, свои проверил, правильно ли идут. Все как обычно было. Короче, пробило ровно девять часов. И появляется на экране слово «Время», только не белое, как всегда раньше было, а почему-то черное. Ну он немножко удивился, но потом решил, что это просто новое оформление сделали, и стал смотреть дальше. А дальше все опять было как обычно. Сначала какой-то трактор показали, потом израильскую армию. Потом сказали, что какой-то академик умер, потом немного показали про спорт, а потом про погоду — прогноз на завтра. Ну все, «Время» кончилось, и мужик решил встать с кресла.

— Потом напомните, я про зеленое кресло расскажу, — влез Вася.

— Значит, хочет он с кресла встать и чувствует, что не может. Сил совсем нет. Тогда он на свою руку поглядел и видит, что на ней вся кожа дряблая. Он тогда испугался, изо всех сил напрягся, встал с кресла и пошел к зеркалу в ванную, а идти трудно... Но все-таки кое-как дошел. Смотрит на себя в зеркало и видит — все волосы у него седые, лицо в морщинках и зубов нет. Пока он «Время» смотрел, вся жизнь прошла.

— Это я знаю, — сказал Костыль. — То же самое, только там про футбол с шайбой было. Мужик футбол с шайбой смотрел.

В коридоре слышались шаги и раздраженный женский голос, и мы мгновенно стихли, а Вася даже начал неестественно храпеть. Через несколько секунд дверь распахнулась, и в палате загорелся свет.

— Так, кто тут главный мертвец? Толстенко, ты?

На пороге стояла Антонина Васильевна в белом халате, а рядом с ней зареванный Коля, старательно прячущий взгляд.

— Главный мертвец, — с достоинством ответил Толстой, — в Москве на Красной площади. А чего это вы меня ночью будите?

От такой наглости Антонина Васильевна растерялась.

— Входи, Аверьянов, — сказала она наконец, — и ложись. А с мертвецами завтра начальник лагеря разберется. Как бы они по домам не поехали.

— Антонина Васильевна, — медленно выговорил Толстой, — а почему на вас халат белый?

— Потому что надо так, понял?

Коля быстро взглянул на Антонину Васильевну.

— Иди в кровать, Аверьянов, — сказала она, — и спи. Мужчина ты или нет? А ты, — она повернулась к Толстому, — если еще хоть слово скажешь, пойдешь стоять голым в палату к девочкам. Понял?

Толстой молча смотрел на халат Антонины Васильевны. Она оглядела себя, потом подняла взгляд на Толстого и покрутила пальцем у лба. Потом внезапно разозлилась и даже покраснела от злости.

— Ты мне не ответил, Толстенко, — сказала она, — ты понял, что с тобой будет?

— Антонина Васильевна, — заговорил Костыль, — вы же сами сказали, что, если он еще хоть одно слово скажет, вы его... Как же он вам ответит?

— А с тобой, Костылев, — сказала Антонина Васильевна, — разговор вообще будет особый, в кабинете директора. Запомни.

Погас свет, и хлопнула дверь.

Некоторое время — минуты, наверное, три — Антонина Васильевна стояла за дверью и слушала. Потом слышались ее тихие шажки по коридору. На всякий случай мы еще минуты две молчали. Потом раздался шепот Костыля:

— Слушай, Коля, как ты от меня завтра в рог получишь...

— Я знаю, — печально отозвался Коля.

— Ой как получишь...

— Про зеленое кресло будете слушать? — спросил Вася. Никто не ответил.

— На одном большом предприятии, — заговорил он, — был кабинет директора. Там был ковер, шкаф, большой стол и перед ним зеленое кресло. А в углу кабинета стояло переходящее красное знамя, которое было там очень давно. И вот одного мужика назначили директором этого завода. Он входит в кабинет, посмотрел по сторонам, и ему очень все понравилось. Ну, значит, сел он в это кресло и начал работать. А потом его заместитель заходит в комнату, смотрит — а вместо директора в кресле скелет сидит. Ну, вызвали милицию, все обыскали и не нашли ничего. Потом, значит, назначили заместителя директором. Сел он в это кресло и стал работать. А потом в кабинет входят, смотрят — а в кресле опять скелет сидит. Опять вызвали милицию и опять ничего не нашли. Тогда нового директора назначили. А он уже знал, что с другими директорами случилось, и заказал себе большую куклу размером с человека. Он ее одел в свой костюм и посадил в кресло, сам отошел, спрятался за штору — потом напомните, я про желтую штору вспомнил, — и стал смотреть, что будет. Проходит час, два проходит. И вдруг он видит, как из кресла выдвигаются такие металлические спицы и со всех сторон куклу обхватывают. А одна такая спица — прямо в горло. А потом, когда спицы куклу задушили, переходящее красное знамя выходит из угла, подходит к креслу и накрывает эту куклу своим полотнищем. Прошло несколько минут, и от куклы ничего не осталось, а переходящее красное знамя отошло от стола и встало обратно в угол. Мужик тогда тихо вышел из кабинета, спустился вниз, взял с пожарного щита топор, вернулся в кабинет, как рубанет по переходящему знамени. И тут такой стон раздался, а из деревяшки, которую он перебил, на пол кровь полилась.

— А что дальше было? — спросил Костыль.

— Все, — ответил Вася.

— А с мужиком что случилось?

— Посадили в тюрьму. За знамя.

— А со знаменем?

— Починили и назад поставили, — поразмыслив, ответил Вася.

— А когда нового директора назначили, что с ним случилось?

— То же самое.

Я вдруг вспомнил, что в кабинете у директора, в углу, стоят сразу несколько знамен с выведенными на них краской номерами отрядов; эти знамена он уже два раза выдавал во время торжественных линеек. Кресло у него в кабинете тоже было, но не зеленое, а красное, вращающееся.

— Да, я забыл, — сказал Вася, — когда мужик из-за шторы вышел, он уже весь седой был. Про желтую штору знаете?

— Я знаю, — сказал Костыль.

— Толстой, ты про желтую штору знаешь?

Толстой молчал.

— Эй, Толстой!

Толстой не отзывался.

Я думал о том, что у меня дома в Москве на окнах как раз висят желтые шторы — точнее, желто-зеленые. Летом, когда дверь балкона все время открыта и снизу, с бульвара, долетает шум моторов и запах бензиновой гари, смешанный с запахом каких-то цветов, что ли, я часто сижу возле балкона в зеленом кресле и смотрю, как ветер колышет желтую штору.

— Слышь, Костыль, — неожиданно сказал Толстой, — а в мертвецы не так принимают, как ты думаешь.

— А как? — спросил Костыль.

— Да по-разному. Только при этом никогда не говорят, что принимают в мертвецы. И поэтому мертвецы потом не знают, что они уже мертвые, и думают, что они еще живые.

— Тебя что, уже приняли?

— Не знаю, — сказал Толстой. — Может, уже приняли. А может, потом примут, когда в город вернусь. Я ж говорю, они не сообщают.

— Кто «они»?

— Кто-кто. Мертвые.

— Ну ты опять за свое, — сказал Костыль, — заткнулся бы. Надоело уже.

— Во-во, — подал голос Коля. — Точно. Надоело.

— А ты, Коля, — сказал Костыль, — все равно завтра в рог получишь.

Толстой немного помолчал.

— Самое главное, — опять заговорил он, — что те, кто принимает, тоже не знают, что они принимают в мертвецы.

— Как же они тогда принимают? — спросил Костыль.

— Да как хочешь. Допустим, ты про что-то у кого-нибудь спросил или включил телевизор, а тебя на самом деле в мертвецы принимают.

— Я не про это. Они же должны знать, что они кого-то принимают, когда они принимают.

— Наоборот. Как они могут что-то знать, если они мертвые.

— Тогда совсем непонятно получается, — сказал Костыль. — Как тогда понять, кто мертвец, а кто живой?

— А ты что, не понимаешь?

— Нет, — ответил Костыль, — выходит, нет разницы.

— Ну вот и подумай, кто ты получаешься, — сказал Толстой.

Костыль сделал какое-то движение в темноте, и что-то с силой стукнулось о стену над самой головой Толстого.

— Идиот, — сказал Толстой. — Чуть в голову не попал.

— А мы все равно мертвые, — сказал Костыль, — думаешь.

— Мужики, — опять заговорил Вася, — про желтую штору рассказывать?

— Да иди ты в жопу со своей желтой шторой, Вася. Сто раз уже слышали.

— Я не слышал, — сказал из угла Коля.

— Ну и что, из-за тебя все слушать должны? А потом опять к Антонине побежишь плакать.

— Я плакал, потому что нога болит, — сказал Коля. — Я ногу ушиб, когда выходил.

— Ты, кстати, рассказывать должен был. Ты тогда заговорил первый. Думаешь, мы забыли? — сказал Костыль.

— Вместо меня Вася рассказал.

— Он не вместо тебя рассказал, а просто так. А сейчас твоя очередь. А то завтра точно в рог получишь.

— Знаете про черного зайца? — спросил Коля.

Я почему-то сразу понял, о каком черном зайце он говорит — в коридоре перед столовой среди прочего висела фанерка с выжженным зайцем в галстук. Из-за того, что рисунок был выполнен очень добросовестно и подробно, заяц действительно казался совсем черным.

— Вот. А говорил, не знаешь ничего. Давай.

— Был один пионерлагерь. И там на главном корпусе на стене были нарисованы всякие звери, и один из них был черный заяц с барабаном. У него в лапы почему-то были вбиты два гвоздя. И однажды шла мимо одна девочка — с обеда на тихий час. И ей стало этого зайца жалко. Она подошла и вынула гвозди. И ей вдруг показалось, что черный заяц на нее смотрит, словно он живой. Но она решила, что это ей показалось, и пошла в палату. Начался тихий час. И сразу же все, кто был в этом лагере, заснули. И им стало сниться, что тихий час кончился, что они проснулись и пошли на полдник. Потом они вроде бы стали делать все, как обычно — играть в пинг-понг, читать и так далее. А это им все снилось. Потом кончилась смена, и они поехали по домам. Потом они все выросли, кончили школу, женились и стали работать и воспитывать детей. А на самом деле они просто спали в палатах этого пионерлагеря. И черный заяц все время бил в свой барабан.

Коля замолчал.

— Что-то непонятно, — сказал Костыль. — Вот ты говоришь, что они разъехались по домам. Но ведь там у них родители, знакомые ребята. Они что, тоже спали?

— Нет, — сказал Коля. — Они не то что спали. Они снились.

— Полный бред, — сказал Костыль. — Ребят, вы что-нибудь поняли?

Никто не ответил. Похоже, почти все уже заснули.

— Толстой, ты понял что-нибудь?

Толстой заскрипел кроватью, нагнулся к полу и швырнул что-то в Колю.

— Ну и сволочь ты, — сказал Коля. — Сейчас в морду получишь.

— Отдай сюда, — сказал Костыль.

Это был его кед, которым он перед этим швырнул в Толстого.

Коля отдал кед.

— Эй, — сказал мне Костыль, — ты чего молчишь все время?

— Так, — сказал я. — Спать охота.

Костыль заворочался в кровати. Я думал, он скажет что-то еще, но он молчал. Все молчали. Что-то пробормотал во сне Вася.

Я глядел в потолок. За окнами качалась лампа фонаря, и вслед за ней двигались тени в нашей палате. Я повернулся лицом к окну. Луны уже не было видно. Вокруг было совсем тихо, только где-то очень далеко барабанной дробью стучали колеса ночной электрички. Я долго глядел на синий фонарь за окном и сам не заметил, как заснул.

МАРДОНГИ

Слух обо мне пройдет, как вонь от трупа.

Н. Антонов

Слово «мардонг» тибетское и обозначает целый комплекс понятий. Первоначально так назывался культовый объект, который получался вот таким образом: если какой-нибудь человек при жизни отличался святостью, чистотой или, наоборот, представлял собой, образно выражаясь, «цветок зла» (связи Бодлера с Тибетом только сейчас начинают проследиваться), то после смерти, которую, кстати, тибетцы всегда считали одной из стадий развития личности, тело такого человека не зарывалось в землю, а обжаривалось в растительном масле (к северу от Лхасы обычно использовался жир яков), затем обряжалось в халат и усаживалось на землю, обычно возле дороги. После этого вокруг трупа и впритык к нему возводилась стена из сцементированных камней, так что в результате получалось каменное образование, в котором можно было уловить сходство с контуром сидящей по-турецки фигуры. Затем объект обмазывался глиной (в северных районах — навозом пополам с соломой, после чего был необходим еще один обжиг), затем штукатуркой и разрисовывался — роспись была портретом замурованного, но, как правило, изображенные лица неотличимы. Если умерший принадлежал к секте Дуг-па или Бон, ему пририсовывалась черная камилавка. После этого мардонг был готов и становился объектом либо исступленного поклонения, либо настолько же исступленного осквернения — в зависимости от религиозной принадлежности участников ритуала. Такова предыстория.

Второе значение слова «мардонг» широко известно. Так называют себя последователи Николая Антонова,

так называл себя сам Антонов. Наш небольшой очерк не ставит себе целью проследить историю секты — нас больше интересуют ранний срез ее идеологии и мысли самого Антонова; кстати, мы не согласны с появившейся недавно гипотезой, что Антонов — вымышленное лицо, а его труды — компиляция, хотя аргументы сторонников этой точки зрения часто остроумны. Надо всегда помнить, что «несуществование Антонова», о котором многократно заявляли сектанты, есть одна из их мистических догм, а вовсе не намек неким будущим исследователям. Согласиться с этой гипотезой нельзя еще и потому, что все сочинения, известные как антоновские, несут на себе ясный отпечаток личности одного человека. «Пять или шесть страниц, — пишет Жиль де Шарден, — и начинает казаться, что ваша нога попала в медленные челюсти некоего гада, и все сильнее нажим, и все темнее вокруг...» Оставим излишнюю эмоциональность оценки на совести впечатлительного француза; важно то, что работы Антонова действительно пронизаны одним настроением и стилистически обособлены от всего написанного в те годы — если уж предполагать компиляцию, то автор у подделок тоже должен быть один, и в таком случае под именем Николая Антонова нами понимается этот человек.

Начало движения относится к 1993 году и связано с появлением книги Антонова «Диалоги с внутренним мертвецом».

«Смерти нет» — так называется ее первая часть. Идея, конечно, не нова, но аргументация автора необычна. Оказывается, смерти нет потому, что она уже произошла, и в каждом человеке присутствует так называемый внутренний мертвец, постепенно захватывающий под свою власть все большую часть личности. Жизнь, по Антонову, — не более чем процесс вынашивания трупа, развивающегося внутри, как плод в матке. Физическая же смерть является конечной актуализацией внутреннего мертвеца и представляет собой, таким образом, роды. Живой человек, будучи зародышем трупа, есть существо низкое и неполноценное. Труп же мыслится как высшая

возможная форма существования, ибо он вечен (не физически, конечно, а категориально).

Ошибка обычного человека заключается в том, что он постоянно заглушает в себе голос внутреннего мертвеца и боится отдать себе отчет в его существовании. По Антонову, ВМ (так обычно обозначается внутренний мертвец в изданиях нынешних антоновцев) — самая ценная часть личности, и вся духовная жизнь должна быть ориентирована на него. Мы еще вернемся к этой мысли, получившей развитие в последующих работах Антонова, а пока перейдем ко второй части «Диалогов».

Она называется «Духовный мардонг Александра Пушкина». Уже здесь, помимо введения термина, обозначены основные практические методы прижизненного пробуждения внутреннего мертвеца. Антонов пишет о духовных мардонгах, образующихся после смерти людей, оставивших заметный след в групповом сознании. В этом случае роль обжарки в масле выполняют обстоятельства смерти человека и их общественное осознание (Антонов уподобляет Наталью Гончарову сковороде, а Дантеса — повару), роль кирпичей и цемента — утверждающаяся однозначность трактовки мыслей и мотивов скончавшегося. По Антонову, духовный мардонг Пушкина был готов к концу XIX века, причем роль окончательной раскраски сыграли оперы Чайковского.

Культурное пространство, по Антонову, является Братской Могилой, где покоятся духовные мардонги идеологий, произведений и великих людей; присутствие живого в этой области оскорбительно и недопустимо, как недопустимо в некоторых религиях присутствие менструирующей женщины в храме. Братская Могила, разумеется, понятие идеальное (после выхода книги в издательство пришло много писем с просьбой указать ее местонахождение).

Существование духовных трупов в ноосфере, говорит дальше Антонов, способствует выработке правильного духовно-эмоционального процесса, где каждый шаг ведет к «утрупнению» (один из ключевых терминов работы). Практические рекомендации, приведенные в «Диалогах»,

впоследствии получили развитие, поэтому будет правильно рассмотреть их по второй книге Антонова.

Книга «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека» (1995) представляет собой на первый взгляд бессвязный набор афоризмов и медитационных методик — однако адепты утверждают, что в этих высказываниях, а также в принципах их взаимного расположения зашифрованы глубочайшие законы Вселенной. За недостатком места мы не сможем рассмотреть эту сторону книги — отметим только, что последние исследования на компьютере установили несомненную структурную связь между повторяемостью в книге слова «гармония» и ритуалом приготовления вареной суки — национального блюда индейцев навахо. (Легендарный факт съедения Антоновым в мистических целях своей собаки, предварительно якобы загримированной под Пушкина, никак не документирован и, по-видимому, является одним из многочисленных мифов вокруг этого человека; насколько известно, никакой собаки у Антонова не было.)

Практические техники, ведущие к «утрупнению», разнообразны. Еще в первой книге предложен «Разговор о Пушкине». (Утверждают, что в последние годы жизни Антонов открывал рот только для того, чтобы сделать очередное заявление о величии Пушкина; антоновцы комментируют это в том смысле, что мастер работал одновременно над двумя мардонгами — укреплял пушкинский и достраивал свой.) Эта практика среди антоновцев сейчас строго формализована: «Разговор о Пушкине» начинается с вводного утверждения о том, что поэт не знал периода ученичества, и кончается распеванием мантры «Пушкин пушкински велик» — регламентированы не только все произносимые слова, но и интонации. Можно допустить, что при жизни Антонова (антоновец бы поправил, сказав — при первосмертии) существовали отклонения от канона и в современной форме он сложился позднее.

Другой техникой «утрупнения» является изучение древнерусской культуры — разумеется, не ее самой, а ее мардонга. На этом пути Антонов высказал интересную мысль, благодаря которой к движению примкнула

масса славянофилов. Антонов заявил, что найденный археологами под Киевом горшок VIII века является первым в истории мардонгом, а находящаяся в нем малая берцовая кость принадлежала девочке по имени Горухша — это слово написано на горшке. После такого патриотического высказывания антоновцы получили государственную дотацию и их движение заметно укрепилось.

Кроме этих методик, Антонов рекомендует изучение какого-нибудь мертвого языка, например, санскрита, а также лежание в гробу.

С момента возникновения секты быт ее членов был подвергнут тщательной ритуализации. Рассказывают, например, что Антонов не терпел, когда при нем огурцы вынимали из банки пальцами — по его мнению, мертвость овощей осквернялась живым прикосновением. Работа «Ежедневное чудо», где, может быть, рассмотрены эти вопросы, не сохранилась.

Книга «Майдан» (1998), при стилистическом единстве с остальными сочинениями, сдержанней и задумчивей и чем-то напоминает суры мединского периода. В ней нет новых идей, но углублены и развиты ранее высказанные — например, появляется мысль о множественности внутренних трупов, которые как бы вложены один в другой, наподобие матрешек (по Антонову — древнерусский символ мардонга), причем каждый последующий труп созерцает предыдущий и испытывает по нему ностальгию; первичный внутренний труп тоскует по окончательному, то есть по актуализированному мертвецу — круг замыкается.

В этой книге Антонов отрекается от тех своих последователей, которые идут на самоубийство, — он презрительно называет их «недоносками». (В системе Антонова убийство рассматривается как кесарево сечение, а самоубийство — как преждевременные роды. Смерть в юности уподобляется аборт.)

В 1999 году Антонов достигает актуализации. Его мардонг устанавливают на тридцать девятом километре Можайского шоссе, прямо у дороги.

Он и сейчас на этом месте, и в любое время там

можно встретить антоновцев — это хмурые молодые люди в темных плащах, крашенные под блондинов, с перетянутыми резинками — чтобы трупно синели кисти — запястьями. У мардонга читают стихи — обычно Сологуба или Блока, отобранные по антоновскому принципу «максимума шипящих». Иногда читают стихи самого Антонова:

...а когда догорит свеча
и во тьме отзвучат часы,
мертвецы ощутят печаль,
на полу уснут мертвецы...

С шоссе открывается удивительный вид.

БУБЕН ВЕРХНЕГО МИРА

Войдя в тамбур, милиционер мельком глянул на Таню и Машу, перевел взгляд в угол и удивленно уставился на сидящую там женщину.

Женщина и вправду выглядела дико. По ее монголоидному лицу, похожему на загибающийся по краям трехдневный блин из столовой, нельзя было ничего сказать о ее возрасте — тем более что глаза женщины были скрыты кожаными ленточками и бисерными нитями. Несмотря на теплую погоду, на голове у нее была меховая шапка, по которой проходили три широких кожаных полосы — одна охватывала лоб и затылок, и с нее на лицо, плечи и грудь свисали тесемки с привязанными к ним медными человечками, бубенцами и бляшками, а две других скрещивались на макушке, где была укреплена грубо сделанная металлическая птица, задравшая вверх длинную перекрученную шею.

Одета женщина была в широкую самотканую рубаху с тонкими полосами оленьего меха, расшитую кожаной тесьмой, блестящими пластинками и большим количеством маленьких колокольчиков, издававших при каждом толчке вагона довольно приятный мелодичный звон. Кроме этого, к ее рубахе было прикреплено множество мелких предметов непонятного назначения — железные зазубренные стрелки, два ордена «Знак Почета», кусочки жести с выбитыми на них лицами без ртов, а с правого плеча на георгиевской ленте свисали два длинных ржавых гвоздя. В руках женщина держала продолговатый кожаный бубен, тоже украшенный множеством колокольчиков, а край другого бубна торчал из вместительной теннисной сумки, на которой она сидела.

— Документы, — подвел итог милиционер.

Женщина никак не отреагировала на его слова.

— Она со мной едет, — вмешалась Таня. — А документов у нее нет. И по-русски она не понимает.

Таня говорила устало, как человек, которому по несколько раз в день приходится повторять одно и то же.

— Что значит документов нет?

— А зачем пожилая женщина должна возить с собой документы? У нее все бумаги в Москве, в Министерстве культуры. Она здесь с фольклорным ансамблем.

— Почему вид такой? — спросил милиционер.

— Национальный костюм, — ответила Таня. — Она почетный оленевод. Ордена имеет. Вон, видите — справа от колокольчика.

— Тут вам не тундра. Это называется нарушение общественного порядка.

— Какого порядка? — повысила голос Таня. — Вы что охраняете? Лужи эти в тамбурах? Или их вон?

Она кивнула в сторону двери, из-за которой летели пьяные крики.

— В вагоне сидеть страшно, а вы, вместо того чтобы порядок навести, у старухи документы проверяете.

Милиционер с сомнением посмотрел на ту, кого Таня назвала старухой — она тихо сидела в углу тамбура, покачиваясь вместе с вагоном, и не обращала никакого внимания на скандал по ее поводу. Несмотря на странный вид, ее небольшая фигурка излучала такой покой и умиротворение, что, с минуту поглядев на нее, лейтенант смягчился, улыбнулся чему-то далекому, и машинальные фрикции его левого кулака вдоль висящей на поясе дубинки затихли.

— Зовут-то как? — спросил он.

— Тыймы, — ответила Таня.

— Ладно, — сказал милиционер, толкая вбок тяжелую дверь вагона. — Смотрите только...

Дверь за ним закрылась, и летевшие из вагона вопли стали чуть тише. Электричка затормозила, и перед девушками на несколько сырых секунд возникла бугристая асфальтовая платформа, за которой стояли приземистые здания со множеством труб разной высоты и диаметра; некоторые из них слабо дымили.

— Станция Крематово, — сказал из динамика бесстрастный женский голос, когда двери захлопнулись, — следующая станция — Сорок третий километр.

— Наша? — спросила Таня.

Маша кивнула и посмотрела на Тыймы, которая все так же безучастно сидела в углу.

— Давно она у тебя? — спросила она.

— Третий год, — ответила Таня.

— Тяжело с ней?

— Да нет, — сказала Таня, — она тихая. Вот так же и сидит все время на кухне. Телевизор смотрит.

— А гулять не ходит?

— Не, — сказала Таня, — не ходит. На балконе спит иногда.

— А самой ей тяжело? В смысле в городе жить?

— Сперва тяжело было, — сказала Таня, — а потом пообвыклась. Сначала все в бубен била по ночам, с невидимым кем-то дралась. У нас в центре духов много. Теперь они ей вроде как служат. На плечо эти два гвоздя повесила, вон видишь? Всех победила. Только во время салюта до сих пор в ванной прячется.

Платформа «Сорок третий километр» вполне соответствовала своему названию. Обычно возле железнодорожных станций бывают хоть какие-то поселения людей, а здесь не было ничего, кроме кирпичной избушки кассы, и увязать это место можно было только с расстоянием до Москвы. Сразу за ограждением начинался лес и тянулся насколько хватал глаз — даже неясно было, откуда на платформе взялось несколько потертых пассажиров.

Маша, сгибаясь под тяжестью сумки, пошла вперед. Следом, с такой же сумкой на плече, пошла Таня, а последней поплелась Тыймы, позвякивая своими колокольчиками и поднимая подол рубахи, когда надо было перешагнуть через лужу. На ногах у нее были синие китайские кеды, а на голених — широкие кожаные чулки, расшитые бисером. Несколько раз обернувшись, Маша заметила, что к левому чулку Тыймы пришит круглый циферблат от будильника, а к правому — болтающееся на унитазной цепочке копыто, которое почти волочилось по земле.

— Слышь, Тань, — тихо спросила она, — а что это у нее за копыто?

— Для Нижнего Мира, — сказала Таня. — Там все грязью покрыто. Это чтоб не увязнуть.

Маша хотела было спросить про циферблат, но передумала.

От платформы в лес вела хорошая асфальтовая дорога, вдоль которой росли два ровных ряда старых берез. Но через триста или четыреста метров всякий порядок в расположении деревьев пропал, потом незаметно сошел на нет асфальт, и под ногами зачавкала мокрая грязь.

Маша подумала, что жил когда-то на свете начальник, который велел проложить через лес асфальтовую дорогу, но потом выяснилось, что она никуда не ведет, и про нее забыли. Грустно было Маше глядеть на это, и собственная жизнь, начатая двадцать пять лет назад неведомой волей, вдруг показалась ей такой же точно дорогой — сначала прямой и ровной, обсаженной ровными рядами простых истин, а потом забытой неизвестным начальством и превратившейся в непонятно куда ведущую кривую тропу.

Впереди мелькнула привязанная к ветке березы белая тесемка.

— Вот здесь, — сказала Маша, — направо в лес. Еще метров пятьсот.

— Что-то близко очень, — с сомнением сказала Таня. — Непонятно, как сохранился.

— А тут никто не ходит, — ответила Маша. — Там же нет ничего. И колючкой пол-леса отгорожено.

Действительно, скоро впереди появился невысокий бетонный столб, в обе стороны от которого уходила провисшая колючая проволока. Потом стали видны еще несколько столбов — они были старые и со всех сторон густо обросли кустами, так что заметить проволоку можно было, только подойдя к ней вплотную. Девушки молча пошли вдоль проволоочной ограды, пока Маша не остановилась возле очередной белой тесемки, свисающей с куста.

— Здесь, — сказала она.

Несколько рядов проволоки были задраны и перекручены между собой. Маша и Таня поднырнули под нее без

труда, а Тыймы полезла почему-то задом, зацепилась рубашкой и долго звенела своими колокольчиками, ворочаясь в узком просвете.

За проволокой был такой же лес, как и до нее, и не было заметно никаких следов человеческой деятельности. Маша уверенно двинулась вперед и через несколько минут остановилась у оврага, на дне которого журчал небольшой ручей.

— Пришли, — сказала она, — вон в тех кустах.

Таня поглядела вниз.

— Не вижу.

— Вон хвост торчит, — показала Маша, — а вон крыло. Пошли, там спуск есть.

Тыймы вниз не пошла — она села на Танину сумку, прислонилась спиной к дереву и замерла. Маша с Таней, цепляясь за ветки и скользя по мокрой земле, спустились в овраг.

— Слышь, Тань, — тихо сказала Маша, — а ей что, посмотреть не надо? Как она будет-то?

— Это ты не волнуйся, — сказала Таня, вглядываясь в кусты, — она лучше нас знает... Действительно. И как только сохранился.

За кустами было что-то темное, грязно-бурое и очень старое. На первый взгляд это напоминало могильный холмик на месте погребения не очень значительного кочевого князя, в последний момент успевшего принять какое-то странное христианство: из длинного и узкого земляного выступа косо торчала широкая крестообразная конструкция из искореженного металла, в которой с некоторым усилием можно было узнать полуразрушенный хвост самолета, при падении отвалившийся от фюзеляжа. Фюзеляж почти весь ушел в землю, а в нескольких метрах перед ним сквозь орешник и траву виднелись контуры отвалившихся крыльев, на одном из которых чернел расчищенный крест.

— Я по альбому смотрела, — нарушила молчание Маша, — вроде это штурмовик «хейнкель». Там две модификации было — у одной тридцатимиллиметровая пушка под фюзеляжем, а у другой что-то еще. Не помню. Да и не важно.

— Кабину открывала? — спросила Таня.

— Нет, — сказала Маша. — Одной страшно было.

— Вдруг там нет никого?

— Да как же, — сказала Маша, — фонарь-то цел. Гляди.

Она шагнула вперед, отогнула несколько веток и ладонью отгребла слой многолетнего перегноя.

Таня наклонилась и приблизила лицо к стеклу. За ним виднелось что-то темное и, кажется, мокрое.

— А сколько их там было? — спросила она. — Если это «хейнкель», то ведь и стрелок должен быть?

— Не знаю, — сказала Маша.

— Ладно, — сказала Таня, — Тыймы определит. Жаль, фонарь закрыт. Если бы хоть волос клок или косточку, куда легче было бы.

— А так она не может?

— Может, — сказала Таня, — только дольше. Темнеет уже. Пошли ветки собирать.

— А на качество не влияет?

— Что значит «качество»? — спросила Таня. — Какое тут вообще бывает качество?

Костер разгорелся и давал уже больше света, чем закрытое низкими облаками вечернее небо. Маша заметила, что у нее появилась нетерпеливо приплясывающая на траве длинная тень, и ей стало немного не по себе — тень явно чувствовала себя уверенней, чем она. Маша ощущала, что в своем городском платье она выглядит глупо, зато наряд Тыймы, на который весь день с недоумением пялились встречные, в прыгающем свете костра стал казаться самой удобной и естественной для человека одеждой.

— Ну что, — сказала Таня, — скоро начнем.

— А чего ждем-то? — шепотом спросила Маша.

— Не торопись, — так же тихо ответила Таня, — она сама знает, когда и что. Ничего ей говорить сейчас не надо.

Маша села на землю рядом с подругой.

— Жуть берет, — сказала она и потерла ладонью то место на куртке, за которым было сердце. — А сколько ждать?

— Не знаю. Всегда по-разному бывает. Вот в прошлом году...

Маша вздрогнула. Над поляной пронесся сухой удар бубна, сменившийся звоном множества колокольчиков.

Тыймы стояла на ногах, нагнувшись вперед, и вглядывалась в кусты на краю оврага. Еще раз ударив в бубен, она два раза, перемещаясь против часовой стрелки, обежала поляну, с удивительной легкостью перепрыгнула стену кустов и исчезла в овраге. Снизу донесся ее жалобный и полный боли крик, и Маша решила, что Тыймы сломала себе ногу, но Таня успокаивающе прикрыла глаза.

Из оврага понеслись частые удары бубна и быстрое бормотание. Потом стало тихо, и Тыймы появилась из кустов. Теперь она двигалась медленно и церемониально; дойдя до центра поляны, она остановилась, подняла руки и стала ритмично постукивать в бубен. Маша на всякий случай закрыла глаза.

К ударам бубна вскоре добавился новый звук — Маша не заметила момента, когда он появился, и сначала не поняла, что это. Сначала ей показалось, что рядом играет неизвестный смычковый инструмент, а потом она поняла, что эту пронзительную и мрачную ноту выводит голос Тыймы.

Казалось, этот голос возникал в совершенно особом пространстве, которое он сам создавал и по которому перемещался, наталкиваясь на множество объектов неясной природы, каждый из которых заставлял Тыймы издать несколько резких гортанных звуков. Отчего-то Маша представила себе сеть, которая волочится по дну темного омута, собирая все, что попадаетеся навстречу. Вдруг голос Тыймы за что-то зацепился — Маша почувствовала, что она пытается освободиться, но не может.

Маша открыла глаза. Тыймы стояла недалеко от костра и пыталась вытащить свою кисть из пустоты. Она изо всех сил дергала рукой, но пустота не поддавалась.

— Нилти доглонг, — угрожающе сказала Тыймы, — нилти джамай!

У Маши возникло ясное ощущение, что пустота перед Тыймы сказала что-то в ответ.

Тыймы засмеялась и встряхнула бубном.

— Nein, Herr General, — сказала она, — das hat mit

Ihnen gar nicht zu tun. Ich bin hier wegen ganz anderer Angelegenheit.

Пустота что-то спросила, и Тыймы отрицательно покачала головой.

— Она что, по-немецки говорит? — спросила Маша.

— Когда камлает, говорит, — сказала Таня. — Она тогда по-любому может.

Тыймы еще раз попыталась выдернуть руку.

— Heute ist schon zu spat, Herr General. Verzeihung, ich hab es sehr eilig, — раздраженно бросила она.

На этот раз Маша почувствовала исшедшую из пустоты угрозу.

— Wozu? — презрительно крикнула Тыймы, сорвала с плеча георгиевскую ленту с двумя ржавыми гвоздями и раскрутила ее над головой. — Нилти джамай! Бляй будулан!

Пустота отпустила ее руку с такой быстротой, что Тыймы повалилась в траву. Упав, она засмеялась, повернулась к Тане с Машей и отрицательно покачала головой.

— Что такое? — спросила Маша.

— Плохо дело, — сказала Таня. — В Нижнем Мире твоего клиента нет.

— А может, она не до конца досмотрела? — спросила Маша.

— А какой там, по-твоему, конец? Там никакого конца нет. И начала тоже.

— Что же делать теперь?

— Можно в Верхнем посмотреть, — сказала Таня, — только шансов мало. Ни разу не получалось еще. Но попробовать, конечно, можно.

Она повернулась к Тыймы, которая по-прежнему сидела на траве, и ткнула пальцем вверх. Тыймы кивнула, подошла к лежащей у дерева теннисной сумке и вынула оттуда другой бубен. Потом она достала банку кока-колы и, тряхнув головой, сделала несколько глотков, чем-то напомнив Маше Мартину Навратилкову на уимблдонском корте.

Бубен Верхнего Мира звучал иначе: тише и как-то задумчивей. Голос Тыймы, взявший длинную заунывную ноту, тоже изменился и вместо страха вызвал у Маши уми-

ротворение и легкую грусть. Повторялось то же самое, что и несколько минут назад, только теперь происходящее было не жутким, а возвышенным и неуместным — потому неуместным, что даже Маша поняла: совершенно незачем тревожить те области мира, к которым обращалась Тыймы, подняв лицо к темному небу в просветах между ветвями и легонько постукивая в свой бубен.

Маша вспомнила старый мультфильм про похождения маленького серого волка в каких-то очень тесных, густо и мрачно размалеванных подмосковных пространствах; в мультфильме все это иногда исчезало и непонятно откуда появлялся залитый полуденным солнцем простор, почти прозрачный, где по бледной акварельной дороге шел вдаль еле прорисованный перышком странник.

Маша потрясла головой, чтобы прийти в себя, и огляделась. Ей показалось, что составные части окружающего — все эти кусты и деревья, травы и темные облака, только что плотно смыкавшиеся друг с другом, — раздвинулись под ударами бубна и в просветах между ними открылся на секунду странный, светлый и незнакомый мир.

Голос Тыймы на что-то наткнулся, попытался пройти дальше, не смог и застыл на одной напряженной ноте.

Таня дернула Машу за руку.

— Ты смотри, есть, — сказала она, — нашли. Сейчас подсечет...

Тыймы воздела руки вверх, пронзительно крикнула и повалилась в траву.

До Маши донесся далекий гул самолета. Он приходил непонятно откуда и звучал долго, а когда затих, в овраге раздалась целая серия звуков: стук в стекло, лязганье ржавого железа и тихий, но отчетливый мужской кашель.

Таня встала, сделала несколько шагов в сторону оврага, и тут Маша заметила стоящую на краю поляны темную фигуру.

— Шпрехен зи дойч? — хрипло проговорила Таня.

Фигура молча двинулась к огню.

— Шпрехен зи дойч? — пятась, повторила Таня. — Глухой, что ли?

Красноватый свет костра упал на крепкого мужика лет сорока в кожаной куртке и летном шлеме. Подойдя, он

сел напротив хихикнувшей Тыймы, скрестил ноги и поднял глаза на Таню.

— Шпрехен зи дойч?

— Да брось ты, — спокойно сказал мужик, — заладила. Таня разочарованно присвистнула.

— Кто будете? — спросила она.

— Я-то? Майор Звягинцев. Николай Иванович. А вы вот кто?

Маша с Таней переглянулись.

— Непонятно, — сказала Таня, — какой еще майор Звягинцев, если самолет немецкий?

— Самолет трофейный, — сказал майор. — Я его на другой аэродром перегонял, а тут...

Лицо майора Звягинцева перекошилось — было видно, что он вспомнил что-то до крайности неприятное.

— Так вы что, — спросила Таня, — советский?

— Да как сказать, — ответил майор Звягинцев, — был советский, а сейчас не знаю даже. У нас там все иначе.

Он поднял взгляд на Машу; та отчего-то смутилась и отвела глаза.

— А вот вы здесь к чему, девушки? — спросил он. — Ведь пути живых и мертвых различны. Или не так?

— Ой, — сказала Таня, — извините, пожалуйста. Мы советских не тревожим. Это из-за самолета так вышло. Мы думали, там немец.

— А немец вам зачем?

Маша подняла глаза и поглядела на майора. У него было широкое спокойное лицо, слегка курносый нос и многодневная щетина на щеках. Такие лица нравились Маше — правда, майора немного портила пулевая дырка на левой скуле, но Маша уже давно решила, что совершенства в мире нет, и не искала его в людях, а тем более в их внешности.

— Да понимаете, — сказала Таня, — сейчас ведь время такое, каждый прирабатывает как может. Ну и мы вот с ней...

Она кивнула на безучастную Тыйму.

— Короче, работа у нас такая. Сейчас ведь все отсюда валят. За фирму замуж выйти — это четыре косаря зеленых. А мы в среднем за пятьсот делаем.

— Что же, с усопшими? — недоверчиво спросил майор.

— Да подумаешь. Гражданство-то остается. Мы с таким условием оживляем, чтоб женился. Обычно немцы бывают. Немецкий труп у нас примерно как живой негр из Зимбабве идет или русскоязычный еврей без визы. Лучше всего, конечно, испанец из «Голубой дивизии». Но это дорогой покойник. Редкий. Ну и итальянцы ещё есть, финны. А румын с венграми даже и не трогаем.

— Вот оно что, — сказал майор. — А долго они потом живут?

— Да года три, — сказала Таня.

— Мало, — сказал майор. — Не жалко их?

На минуту Таня задумалась, ее красивое лицо стало совсем серьезным, и между бровями наметилась глубокая складка. Наступила тишина, которую нарушало только потрескивание сучьев в костре да тихий шелест листвы.

— Строгий вопрос, — сказала она наконец. — Вы как, всерьез спрашиваете?

— На всю катушку.

Таня подумала еще чуть-чуть.

— Я так слышала, — заговорила она, — есть закон земли и есть закон неба. Проявишь на земле небесную силу, и все твари придут в движение, а невидимые — проявятся. Внутренней основы у них нет, и по природе они всего лишь временное сгущение тьмы. Поэтому и недолго остаются в круговороте превращений. А в глубинной сути своей пустотны, оттого не жалею.

— Так и есть, — сказал майор. — Крепко понимаешь.

Морщинка между Таниных бровей разгладилась.

— А вообще, если честно — работы столько, что и думать некогда. За месяц обычно штук десять делаем, зимой меньше. На Тыймы в Москве очередь на два года вперед.

— А эти, которых вы оживляете, они что, всегда соглашаются?

— Почти, — сказала Таня. — Там же тоска страшная. Темно, тесно, благодати нет. Скрежет. Правда, как у вас, не знаю, из Верхнего Мира у нас еще клиента не было. Но, конечно, и внизу все мертвецы разные. Год назад под Харьковом такое было — жуть. Танкист один из «Мертвой головы» попался. Одели мы его, значит, помы-

ли, побрили, объяснили все. Вроде согласился. Невеста у него хорошая была, Марина с журфака. Сейчас за японского морячка вроде пристроили... Господи, видели б вы, как они всплывают... Как вспомню... Про что это я говорила?

— Про танкиста, — сказал майор.

— А ну да. Короче, мы ему денег дали немного, чтоб человеком себя почувствовал. Он, понятно, пить начал, сначала они все пьют. И тут в какой-то палатке ему водку не продали. Рубли попросили. А у него только купоны были и марки оккупационные. Так он им сначала из парабеллума витрину разнес, а ночью на «тигре» приехал и все ларьки перед вокзалом утрамбовал. С тех пор танк этот часто по ночам видят. Так и ездит по Харькову, коммерческие палатки давит. А днем исчезает. Куда — непонятно.

— Бывает такое, — сказал майор, — в мире много странного.

— С тех пор мы только по вермахту работать стали. А с СС никаких дел. Они все двинутые какие-то. То сельсовет захватят, то петь начнут. А жениться не хотят, устав запрещает.

Над поляной пронесся сильный порыв холодного ветра. Маша оторвала замороженный взгляд от майора Звягинцева и увидела, как из трех ответвлений стоявшего на краю поляны дерева вышли три прозрачных человека неопределенного вида. Тыймы испуганно вскрикнула и мгновенно забила Тане за спину.

— Ну вот, — пробормотала Таня, — начинается. Да не бойся ты, дуреха старая, не тронут.

Она встала и пошла навстречу прозрачным людям, издалека делая им успокаивающие жесты, совсем как нарушивший правила водитель остановившему его инспектору. Тыймы сжалась в комок, вдавила голову в колени и мелко затряслась. Маша на всякий случай подвинулась ближе к костру и вдруг всем телом почувствовала обращенный на нее взгляд майора Звягинцева. Она подняла глаза. Майор печально улыбнулся.

— Красивая вы, Маша, — тихо сказал он. — Я ведь, когда Тыймы ваша звать меня стала, в саду работал. Звала она, звала, надоела страшно. Хотел уж вас всех шуга-

нуть, выглянул, значит, и тут вас увидел, Маша. И так вы меня поразили, слов не найду. В школе у меня подруга была похожая, Варей звали. Такая же, как вы, была, и тоже нос в веснушках. Только волосы длинные носила. Любил я ее. Если б не вы, Маша, я бы сюда пришёл разве?

— А у вас там что, сад есть? — чуть покраснев, спросила Маша.

— Есть.

— А как это место называется, где вы живете?

— У нас никаких названий нет, — сказал майор. — Поэтому и живем в покое и радости.

— А как там у вас вообще?

— Нормально, — сказал майор и опять улыбнулся.

— Что, — спросила Маша, — и вещи есть, как у людей?

— Как вам сказать, Маша. С одной стороны, как бы есть, а с другой — как бы нет. В общем, все такое приблизительное, расплывчатое. Но это только если вдуматься.

— А где вы живете?

— У меня там как бы домик с участком. Тихо так, хорошо.

— А машина есть? — спросила Маша и сразу же смутилась, таким глупым показался ей собственный вопрос.

— Если захочется, бывает. Отчего не быть.

— А какая?

— Когда как, — сказал майор. — И печь бывает микроволновая, и это... машина стиральная. Стирать только нечего. И телевизор цветной бывает. Правда, канал всего один, но все ваши в нем есть.

— Телевизор тоже когда какой?

— Да, — сказал майор. — Когда «Панасоник» бывает, когда «Шиваки». А как припомнишь — глядь, и нет ничего. Только пар зыбкий клубится... Да я же говорю, все как у вас. Единственно, названий нет. Безымянно все. И чем выше, тем безымянней.

Маша не нашлась, что еще спросить, и замолчала, обдумывая последние слова майора. Таня тем временем что-то горячо доказывала трем прозрачным людям.

— А я вам еще раз говорю, что она от грома шаманит, — долетал ее голос, — все по закону. Ее в детстве молнией ударило, а потом ей дух грома кусочек жести подарил, чтоб она себе козырек сделала... А чего это я вам предъявлять буду? Почему она с собой носить должна? Никогда таких проблем не возникало... Постыдились бы к старой женщине придирааться. Лучше бы в Москве с народными целителями порядок навели. Такая чернуха прет до жить страшно, а вы к старухе... И пожалуюсь...

Маша почувствовала, как майор прикоснулся к ее локтю.

— Маша, — сказал он, — я пойду сейчас. Хочу тебе одну вещь подарить на память.

Маша заметила, что майор перешел на «ты», и ей это понравилось.

— Что это? — спросила она.

— Дудочка, — сказал майор. — Из камыша. Ты, как от этой жизни устанешь, так приходи к моему самолету. Поиграешь, я к тебе и выйду.

— А в гости к вам можно будет? — спросила Маша.

— Можно, — сказал майор. — Клубники поешь. Знаешь, какая у меня там клубника.

Он поднялся на ноги.

— Так придешь? — спросил он. — Я ждать буду.

Маша еле заметно кивнула.

— А как же вы... Вы ведь живой теперь?

Майор пожал плечами, вынул из кармана кожаной куртки ржавый «ТТ» и приставил к уху.

Грохнул выстрел.

Таня обернулась и в страхе уставилась на майора, который пошатнулся, но удержался на ногах. Тыймы подняла голову и захихикала. Опять подул холодный ветер, и Маша увидела, что никаких прозрачных людей на краю поляны больше нет.

— Буду ждать, — повторил майор Звягинцев и, покачиваясь, пошел к оврагу, над которым разлилось еле видимое радужное сияние. Через несколько шагов его фигура растворилась в темноте, как кусок рафинада в стакане горячего чая.

Маша глядела в окно тамбура на проносящиеся мимо огороды и домики и тихо плакала.

— Ну чего ты, Маш, чего? — говорила Таня, заглядывая подруге в заплаканное лицо. — Плюнь, бывает такое. Хочешь, поедem с девками под Архангельск. Там в болоте Б-29 лежит американский, «Летающая крепость». Одиннадцать человек, всем хватит. Поедешь?

— А когда вы ехать хотите? — спросила Маша.

— После пятнадцатого. Ты, кстати, пятнадцатого приходи к нам на праздник чистого чума. Придешь? Тыймы мухоморов насушила. На Бубне Верхнего Мира тебе поступим, раз уж понравилось так. Слышь, Тыймы, правда здорово будет, если Маша к нам в гости придет?

Тыймы подняла лицо и широко улыбнулась в ответ, показывая коричневые осколки зубов, в разные стороны торчащие из десен. Улыбка вышла жуткая, потому что глаза Тыймы были скрыты свисающими с шапки кожаными ленточками и казалось, что она улыбается одним только ртом, а ее невидимый взгляд остается холодным и внимательным.

— Не бойся, — сказала Таня, — она добрая.

Но Маша уже смотрела в окно, сжимая в кармане подаренную майором Звягинцевым камышовую дудочку, и напряженно о чем-то думала.

1

— Ты мне умно не говори, — сказал Василий Маралов, гуманитарий на пенсии. — Я сам умный, три книги написал. Проще надо. Вот у тебя что на руке? Часы, да?

Собеседник — друг и в некотором роде ученик — утвердительно икнул.

— Ну вот и поразмысли. Тут — своя диалектика.носишь ты их, носишь, они у тебя тикают, тикают...

— А при чем тут научный атеизм, Вася? Мы ж с тобой о научном ате...

— Ты дослушай. Они тикают, тикают, и вдруг — бац! Ударились о раковину.

— Почему о раковину?

— Это со мной случай был, еще до пенсии, в Сестрорецке. Я там...

— Ладно, не важно... Ну ударились, и что дальше?

— А дальше у одного маленького колесика зубчик сломался. А все другие стали недоворачиваться. И часы тебе вместо пятницы возьмут и покажут какой-нибудь вторник. Вот так и человек... Эй, Петь!

Собеседник уже спал, прижавшись ухом к бежевой кленке.

— Петь, — сказал Маралов и потряс его за плечо. — Слышь, Петь... Пойдем, на диванчик ляжешь.

2

Маралов проснулся, подвигал ногой, запутавшейся не то в сбившемся пододеяльнике, не то в не до конца снятых штанах, и хмуро, привычно выглянул из тающего ночного

мира в залитую серым светом комнату. По его пробуждающемуся мозгу медленно поползли первые утренние мысли — они касались окружающего беспорядка. Тот действительно был ужасен: в комнате царил такой хаос, что в нем даже угадывалась своя гармония — длинная лужа на полу как бы уравнивалась вдавленным в кусок колбасы окурком, а сбитый с ног стул вносил в композицию что-то военное.

Несколько раз быстро шагнув в пустоте и полностью избаваясь от штанов (ремень все-таки, как змея, цапнул холодной пряжкой за ногу), Маралов, как обычно, принялся наводить внутренний порядок. Что-то похожее на вкус во рту явственно ощущалось и в душе и было, кажется, связано со вчерашним разговором, хотя его содержание, тема и даже примерная траектория совершенно не желали вспоминаться. Словно бы что-то застряло в мозгу, обособившись от всего остального, и теперь ощущалось как плотная масса посреди знакомых мыслей — холодная, бесформенная и угрожающая.

«Вспомнить надо, — думал Маралов, — о чем-то мы таком... О часах, что ли? Да нет, о часах — это я помню. Это мы с атеизма перешли. А вот потом, когда он на диванчик лег. Час, наверно, бредил... И вот тогда я чего-то такое... Нет, не помню».

Открывая глаза, Маралов видел вокруг себя загаженную комнату, закрывая — замечал в себе присутствие глубокой внутренней ямы, где явно скрывалось что-то опасное. Так продолжалось довольно долго. Маралов не то чтоб не мог вспомнить, в чем было дело, а скорее не мог себя заставить сделать это, как никогда не мог себя заставить сразу нырнуть в холодную воду. Получилось все автоматически — за окном что-то ухнуло, в квартире наверху громко заревел ребенок, и Маралов вспомнил.

— Ухряб, — громко сказал он.

Вчера успели еще поговорить о Боге. Оказалось, верят в него оба, но каждый по-своему. Петя признался, что берет с собой на работу высушенное волчье ухо, а в особо серьезных случаях три раза обходит клумбу во дворе, отчего получает небывалый заряд бодрости и мужества.

Маралов хотел было рассказать о том, что он когда-то

видел в Сестрорецке, но совершенно неожиданно для себя начал говорить обобщениями: что никакого единого Бога нет, просто в каждой стране у людей существует какое-то главное чувство по поводу жизни, что ли, и если выразить это чувство в виде сказки или истории, то как раз и получится конкретное священное писание и каждый конкретный, отдельно взятый Бог.

— Бог, — объяснил Маралов, — и все остальные черти — это как бы персонифицированное обобщение всего непонятного.

— Чего ж, — помолчав, сказал тогда Петя с диванчика, — в стране за все это время очень много непонятного набралось, и чем дальше, тем непонятнее. Выходит, и Бог такой есть, который этому соответствует? Не тот, в которого раньше верили, а такой, который все это, как ты выражаешься, персонифицированно обобщает?

— Конечно, — сказал Маралов, — объективно должен быть.

— И соответствующая религиозная мистика тоже?

— А почему нет. Легко.

На этом разговор сам собой затих. Маралов долго ворочался, вздыхал и все думал об этом интересном предмете, пытаясь представить себе такого Бога. Только вдуматься: огромные портреты над городами и синие елочки, торжественные заседания и могилы в стенах, бронзовые бюсты и салют — не просто ведь все это так. Этому, так сказать, материальному, размышлял Маралов, неизбежно должно соответствовать что-то духовное, сущностное... Это и будет данный конкретный Бог — нечто, неявно вмещающее в себя все остальное... Маралов незаметно уснул. Потом проснулся и засуетился Петя — он уже опаздывал на работу в другом конце города. Проводив его до дверей, Маралов пошел обратно, и тут, в мутном утреннем полусне, когда он, сидя на кровати, стаскивал брюки, его настигло невероятно ясное понимание — такое, что, испытав его, он даже не стал окончательно раздеваться, а оглушенно повалился на простыни и воспользовался пьяной способностью мгновенно засыпать. Прошло несколько часов тяжелого сна, во время которого это понимание не рассосалось, а, наоборот,

как пущенный с откоса снежный ком, обросло рыхлым коконом страха и безнадежности.

— Ухряб! — вдруг сказал Маралов. Ну да, все дело было в этом слове — именно оно родилось из утренней вспышки ясности, и именно оно находилось сейчас в центре темного образования в его душе.

«А что значит — ухряб? — подумал Маралов, с гримасой боли поворачиваясь к стене. — Ухряб. Ничего не значит».

3

Порядок был наведен, и похмелье прошло. Маралов вглядывался в зеркало, зачесывая поперек головы длинную пегую прядь и думая, что так причесываться, в сущности, крайне нелепо — мало того что все видят его плешивость, так все еще видят и то, как он комплексует по ее поводу. Шевеление в душе вроде притихло и только иногда напоминало о себе этим бессмысленным словом, выбрасывая его внезапно на поверхность. Поправив галстук (пиджак и галстук он надел, чтобы защититься от этой непонятной внутренней западни), Маралов пошел на кухню.

Проходя по коридору, он вдруг схватился за грудь и прислонился к дверце стенного шкафа — квартира резко качнулась, некоторое время продержалась в наклонном состоянии и медленно вернулась в обычное положение. Маралов твердо знал, что каким-то образом только что происшедшее было связано с ухрябом.

— Что ж это такое, а? — вслух спросил он.

— Ух-ряб-зз... Ух-ряб-зз... — пробило на стене.

Убедившись, что пол больше не качается, Маралов решил повременить с обедом и часик-другой почитать что-нибудь художественно-приключенческое. Он прошел в комнату, наугад взял из шкафа серенькую, с кружком на корешке книгу и открыл ее, как это обычно делал, на странице своего возраста — шестьдесят восьмой. (Перед этим Маралов посмотрел, сколько еще осталось жить, и увидел: двести двадцать восемь. Стало спокойно.)

«...вкручиваясь в раскаленный воздух. Рябая гладь...»

Маралов хмыкнул. Как это так — рябая гладь?

Он снова пробежал глазами по строке — и вдруг всем своим пытающимся расслабиться существом налетел на ухряб, разделенный точкой.

«К черту, — подумал Маралов. — Надо читать классиков».

Он встал с дивана, вернулся к шкафу и выбрал другую книгу, с золотыми полосками на корешке.

«...вот-с, умял двух рябчиков, да еще...»

Маралов театрально засмеялся и сделал руками жест веселого недоумения, тоже очень театральный.

— Привяжется какая-нибудь чушь, — громко сказал он книжному шкафу, — так человек и с ума может сойти. Если, конечно, слаб духом.

4

Не раз еще в тот день Маралов остро ощутил враждебность судьбы.

Удивительная мерзость произошла в кинотеатре — казалось, уж там-то вовсе неоткуда было взяться ухрябу, и на тебе: на стене — картина, на картине — рябина, а по бокам два подсолнуха. Так что справа ли налево, слева ли направо — ухряб сидел в засаде и недобрым глазом смотрел на Маралова. И как замаскировался! Не будь Маралов начеку...

Выйдя из кинотеатра на улицу, Маралов прошел полсотни метров и оказался у магазина. «Надо бы мяса купить, — подумал он, — наделать котлет на праздники». Войдя в мясной отдел, он увидел мужчину в белом колпаке, который, коротко поглядев ему в глаза, поднял большой спортивного вида топор.

— У! — выдохнул он.

— Хряб! — вонзился топор в доску. И голая, мертвая нога — быка, что ли, — разделилась надвое.

Зажав рот, Маралов выскочил на улицу и быстро пошел к остановке. По дороге он заметил, как на другой стороне улицы несколько солдат-стройбатовцев в серых ордынских подшлемниках крепят на стене дома большущий

плакат. На плакате была нарисована девушка в кокошнике, с детскими глазами и развитой грудью; ее выпяченное правое бедро огибала надпись:

**УСПЕХА УЧАСТНИКАМ
XI МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ
ЗА РАЗОРУЖЕНИЕ И ЯДЕРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ!**

И хоть Маралов и не заметил во всем этом никакого ухряба, все равно у него осталось четкое чувство, что тот присутствует и на плакате, и в этих солдатах, и даже в этом октябрьском небе над головой.

Надвинув поглубже шляпу и отворачиваясь от ветра, он засеменил домой.

5

За последние два дня ухряб из маленькой щелочки внутри превратился в бездонную и безграничную пропасть, над которой Маралов висел, цепляясь за крохи уже не здравого смысла или, скажем, разума, а просто некоторой остаточной неухрябности. То, что ухряб глядел отовсюду, уже не удивляло — удивляло скорее то, что внутри еще оставалось что-то еще. Маралов пробовал размышлять, почему ухряб не был замечен раньше, и быстро нашел ответ. Все вокруг, без сомнения, было точно так же пронизано и наполнено ухрябом — и два дня, и пять лет назад, задолго до прозрения. Но тогда ухряб не был виден внутри, а раз так, не замечался и внешний ухряб, несмотря на всю свою безмерную грандиозность.

«Ведь заметить, — думал Маралов, — понять что-то про окружающий конкретный мир или про другого конкретного человека можно только одним способом — увидев в нем что-то, что уже есть у тебя внутри...»

До своего сна, до того, как это что-то, мелькнув сначала неясной точкой где-то на периферии души, вдруг с ужасающей скоростью понеслось к самому центру личности и лопнуло там, превратившись в ухряб и осветив внутренний мир Маралова тусклым красным мерцанием, — до

этого сна Маралов видел воздух как воздух, асфальт как асфальт и так далее, теперь же оказалось, что все вокруг — просто форма, в которой временно застыл ухряб, — так же, как бронза остается той же бронзой, отливаясь и в солдатика, и в крестик, и в памятник Грибоедову. И так, огромный, безмерный ухряб, а в центре — просвеченный ухрябом Маралов, осознающий, что самое главное для него — удержаться от понимания того, что и он, в сущности, тоже ухряб.

«Сколько ж я так протяну-то? — с тоской подумал Маралов и ничего не смог ответить на этот вопрос. — Надо отвлечься — заняться работой».

Работа, слава Богу, была — отвечать на письма трудящихся в журнал «Вопросы методологии», где Маралов, чтоб не чувствовать себя окончательным пенсионером, сидел на договоре. Стопка нераспечатанных писем как раз ждала на столе; Маралов наугад взял конверт, исписанный косым детским почерком, и вскрыл.

«Дорогая редакция! — прочитал он. — Я очень люблю ваш журнал и все время его читаю. Особенно мне понравилась статья Н. Сколповского о мертвых космонавтах. Сейчас я закончил десятый класс и все думаю, зачем я живу на свете? И не понимаю. Пожалуйста, ответьте мне на этот вопрос. Коля М., г. Сестрорецк».

«Нормально, — прикинул Маралов, — и всегда уместно. Напутственное слово канает в любой номер. Допустим, одна колонка — это страницы полторы... Главное — без официоза, интимно».

Маралов сел за машинку и вставил в нее чистый лист.

«Меня, признаться, надолго заставило задуматься твое письмо, Николай. Ты, судя по тому, что сообщал о себе, еще очень молод, а уже чувствуется в твоём тоне какая-то усталость, расхоленность — и это пугает. Может быть, это мне показалось — тогда извини. Теперь по существу твоего письма: Видно, что ты всерьёз размышляешь над жизнью, задавая себе вопрос, над которым всегда бились лучшие умы человечества. К сожалению, здесь вряд ли существует простой и однозначный ответ (хотя его и пытались в своё время дать многие религиозные и философские учения). Может

быть, человек отвечает на этот вопрос всей своей жизнью и только в самом ее конце начинает понимать, зачем он жил и какой в этом смысл... Для чего же все-таки мы живем? Да для того, чтобы каждое утро радоваться свежему дыханию утра...»

«Нет, так не пойдет, — подумал Маралов, — как это так: «каждое утро радоваться дыханию утра...». Некрасиво».

«...свежему дыханию ветра, солнцу, прекрасным человеческим лицам; своему делу, которое обязательно должно приносить радость. Мы живем для того, чтобы по вечерам смотреть на звезды в темном небе и думать о той безмерности, крохотной частичкой которой мы являемся; мы живем для того, чтобы любить и быть любимыми, чтобы быть счастливыми и дарить счастье другим. Мы живем для того, чтобы разгадывать тайны Вселенной и оставлять знания нашим детям для того, чтобы...»

— Достучу после «Времени», — решил Маралов.

6

— ...не обращая внимания на дождик пополам со снегом, сходятся к центру города. Бодрое, хорошее сегодня у людей настроение. День добрый! — мглистым ноябрьским вечером говорило на кухне радио.

«Ну и дался же им этот ухряб, — с тоской подумал Маралов, — хотя, если вдуматься совсем глубоко, дался он не им, а себе самому».

Окончательно он вот как ощущал свое положение: стоит на нижнем ухрябе, а сверху, плитой пресса, медленно опускается другой ухряб; сам Маралов жив до сих пор только потому, что не соглашается признать себя ухрябом, хоть и понимает, что это нечестно.

— В таких ситуациях не нужно бояться взглянуть правде в глаза. И конечно, нужно помнить все хорошее, что было. Об этом и поет группа «Дюран Дюран», — заключило радио.

— Ухряб ухряб! — крикнул Маралов, вскакивая с табуретки и кидаясь к репродуктору. — Ухряб ухряб!

Заткнувшись наконец, репродуктор повис на одном гвозде. Маралов перевел дух. Самым главным для продолжения существования было сохранить баланс между верхним и нижним ухрябом, или, может быть, между внешним и внутренним. Ухряб, заключенный в словах из радио, чуть было не нарушил этого равновесия — но от страха, в миг балансирования на самом краю распада, сознание Маралова мгновенно выработало простой и ясный план.

Дело было в том, что ухряб хоть и поглотил весь видимый мир, но еще не выявил своей подлинной сущности. А у Маралова давно уже возникло основанное на некоторых мелких наблюдениях подозрение, что никакого ухряба никогда и не было — на самом деле существовало нечто другое, и в тот момент, когда оно ворвалось к нему в душу, оно проделало в ней дыру, из которой весь Маралов вытек бы, как молоко из бракованного пакета, не заткни он брешь. Ухряб — это было, во-первых, звуковое, во-вторых — буквенное и в-третьих — смысловое сочетание, служившее для закрывания дыры. (Борт «Титаника», пропоротый айсбергом, и всякая дрянь, затыкающая пробоину; в машинном отделении ухряб — это промасленная ветошь, в пассажирском — постельное белье, смокинги и платья, и так далее.)

«Ухряб — не что иное, как символ, конкретный, отдельно взятый символ, — думал Маралов, надевая пальто и закутывая горло шарфом цвета хозяйственного мыла. — И вскрыть его надо с помощью самого этого символа, то есть ухряба. Да и исторический опыт свидетельствует, что один ухряб уничтожается с помощью другого, создаваемого на его месте».

— Сейчас узнаем, — шептал Маралов, запирая квартирную дверь и спускаясь к лифту, — сейчас узнаем, что там прячется...

Маралов знал, что там прячется нечто нестерпимое, нечто такое, присутствия чего он не мог вынести даже секунды, — и теперь собирался зайти к этой нестерпимости как бы со спины, поглядеть на нее хоть одним глазом.

Такси остановилось скоро. Маралов сел на переднее сиденье, поглядел на шофера и даже вздрогнул от отвращения: у того между усов шевелился нежно-розовый раздвоенный ухряб. Зашевелившись, он растянулся сразу во все стороны, за ним мелькнуло что-то влажное, и Маралов услышал:

— Далеко?

— Ухряб, — тихо ответил Маралов, как и предусматривал его план.

— Тут рядом, — сказал водитель, — понятие растяжимое. Где — тут рядом?

— Ухряб, — произнес Маралов с чуть другой интонацией.

— Прямо... — задумался водитель, — до самого конца?

— Ухряб! — испуганно выпалил Маралов. Слова таксиста его смутили.

— Угу так угу, — пробормотал водитель. — Вот только кричать не надо. — Он явно обиделся.

Улица понеслась навстречу — улица для водителя, а для Маралова — известно что: имевшее по бокам отдельные вертикальные ухрябы серого цвета, на которых горели другие — желтые и квадратные.

— Тут? — недружелюбно спросил водитель.

Маралов поглядел вперед. Перед ним был словно конец города — асфальтовая дорога, поднимаясь, упиралась в сугроб, за которым, по всему чувствовалось, ее уже не было — там начинался уклон в другую сторону, и из-за снежного гребня торчали только хилые верхушки деревьев.

Маралов молча протянул водителю деньги. Тот, не включая света, начал монотонно шуршать бумажками — при этом контур его головы сливался с подголовником сиденья, а из радио неслись какие-то жуткие завывания. Маралов испугался — вдруг таксист ограбит? Но тут же почувствовал, что его испуг совсем не настоящий и не

страшный по сравнению с тем, как он сам может сейчас напугать таксиста.

— Да ты не ищи, голубок, Бог с ним, — вкрадчиво сказал он. — Ты послушай-ка лучше, что я тебе расскажу...

Когда крик таксиста стих где-то за домами, Маралов вылез из машины и пошел вперед, прямо по снежным заносам. Деревья, ударив ветвями по лицу, пропустили — Маралов даже не стал нагибаться за сбитой с головы шляпой. Впереди лежало поле, покрытое заснеженными буграми и ямами, а с ближайшего бугра на него глядел ухряб в виде небольшой собаки.

— Иду! — Маралов помахал ей рукой. — Сейчас...

Каким-то образом он чувствовал, что постепенно приближается к тайне, спрятанной за странным словом. Проваливаясь в снег, он шел вперед, и эта уверенность росла. Собака увязалась за ним, привлеченная решительностью его походки. Увиденное и понятое давней пьяной ночью начинало закипать в душе, как вода в кастрюле, а понятие «ухряб» стало как бы крышкой — подняв ее, можно было все мгновенно осознать, если, конечно, не бояться возможных ожогов.

Размашисто шагая по рытвинам и не обращая никакого внимания на забившийся в ботинки снег, Маралов начал размышлять о смысле, который таило в себе звучание слова. С такой точки зрения он никогда раньше не рассматривал проблему, и сама новизна и легкость, с которой ему думалось об ухрябе, свидетельствовали о близости разгадки. «Ухряб, — раскладывал Маралов, — «хребет» и «ухаб», наверно, так. Или...»

«Или» уже не понадобилось. Маралов увидел ухряб сам по себе. Разумеется, все остальное — небо, снег, деревья — тоже было ухрябом, но как бы скрытым, принявшим другую форму, а здесь был ухряб-сырец, находящийся в своем изначальном виде, — это была длинная заснеженная яма с двумя довольно высокими, в половину мараловского роста, обледелеными хребтами по краям.

Уже зная, что делать, Маралов побежал вперед, по дороге расстегивая пальто, стряхивая с ног ботинки и залихватским смехом отвечая на лай вертящейся под ногами со-

баки. Расстояние было небольшим — и было в этой пробежке что-то от последних шагов олимпийского факельщика перед огромной факельной чашей: чем она ближе, тем торжественней и медленней шаг, тем неизбежней самое главное. Маралову пригрезились все бесконечные трамваи, автобусы и электрички, самолеты и прогулочные катера, привезшие его сюда, вся обувь, изношенная на пути к этому месту, все возникавшие когда-то мысли по поводу того, как удобней и комфортабельней достичь этой временной и пространственной точки, все те разумные и серьезные объяснения происходящего, которые нормальный взрослый человек наклеивает на каждый поворот своей жизни, — словом, вспомнилось очень многое.

— У-у-ух-ря-я-я-яб! — подняв лицо к небу, закричал Маралов.

А затем решительно, с размаху повалился в яму и, как сбрасывают покрывало с памятника, отбросил ненужное больше слово, приготовясь увидеть то, что за ним.

9

Нашли его через два дня — лыжники, по торчащему из снега красному носку.

ИВАН КУБЛАХАНОВ

Как только появилось время, он смутно припомнил, что нечто подобное уже случалось. Первый момент был подобен вечности — никаких событий за эту вечность не произошло, и она была заполнена чистым существованием, лишенным каких бы то ни было качеств. Второй момент тоже был бесконечным, но эта новая бесконечность оказалась уже чуть короче — хотя бы потому, что она была новой. Он понял, что дальше время будет постоянно убыстряться, пока не достигнет такой скорости и напора, что случится непоправимое. И хоть до этого было еще далеко, мысль о том, что ускоряющееся падение в шахту времени уже началось, вызвала у него странную тоску, словно бы связанную с каким-то воспоминанием.

Эта мысль не была оформлена в словах — никаких слов он не знал, но, будь они ему известны, он, наверно, выбрал бы похожие. Его бессловесное понимание проникало прямо в суть происходящего, а поскольку единственными событиями во вселенной были его ощущения, все его стремительно растущее знание касалось только его самого. Когда он наконец свыкся со своей неясной судьбой, он был уже бесконечно стар и мудр и спокойно взирал на ускоряющийся поток времени.

И тут в его бытие ворвалось нечто невообразимое. Он вдруг осознал, что имеет границы. Что существует находящееся внутри него и за его пределами, а сам он заключен в некие рамки, за которые не в силах выйти. Это было непостижимо, но это было реальностью, тем новым законом, по которому ему предстояло существовать. А потом он ощутил, что, кроме границ, имеет еще и форму.

Самым удивительным было то, что всем этим неужи-

данностям просто неоткуда было братья — у них не было никакого источника, никакого корня, — но они все равно вторгались в его жизнь. Зато привыкать к новому стало легче, потому что время успело сильно разогнаться и все случалось крайне быстро. Прежняя жизнь, начало которой терялось в невыразимом, была очень долгой, но в ней не было ничего такого, о чем можно было бы думать; теперь же происходило многое, но его сознание успевало только фиксировать изменения, которые стали слишком мимолетными, чтобы затронуть его настоящую основу, — поняв это, он понял и то, что у него есть настоящая основа, а осознать ее и значило проснуться.

Он пришел в себя и увидел главное — превращения происходили не с ним. На самом деле он никогда не покидал первого мига, за границей которого началось время, но, пребывая в вечности, он все же постоянно следил за той причудливой рябью, которую вздымало время на поверхности его сознания; когда же эта рябь стала больше походить на волны и порывы времени стали угрожать его покою, он ушел вглубь, туда, где ничто никогда не менялось, и понял, что видит сон — один из тех, что снились ему всегда.

Он часто впадал в это забытие и каждый раз принимал его за реальность. Для этого достаточно было просто перенести внимание на колышущуюся границу собственного сознания (забыв, что на самом деле ее просто нет — какая может быть у сознания граница?), и проходящая по ней дрожь немедленно захватывала все его существо до момента пробуждения.

Его сны становились все более запутанными и странными. В них он продолжал расширяться, и его форма усложнялась; желая познать окружающий мир, он послал в него длинные протуберанцы, которые вскоре наткнулись на препятствие, вынудившее их согнуться и сложиться. Оказалось, что мир его сновидений тоже имеет границу и его тюрма — или крепость — довольно тесна.

Но самое странное ждало впереди. Однажды он заметил, что постепенно изменился сам способ, которым он ощущает мир своих снов. Точнее, не изменился, а появился — раньше никаких способов не было. А теперь он

стал воспринимать разные качества мира разными частями сознания. Эта способность утончалась и разветвлялась, и постепенно прежнее простое присутствие оказалось расчлененным на ощущения от света, звука, вкуса и касания, которые были просто осколками прежней целостности.

Сон продолжал сниться, и в нем появлялось все больше деталей.

Он заметил, что висит в теплом океане, заполняя почти весь его объем. Иногда, от скуки и неосознанного желания изменить миропорядок, он начинал глотать его соленую воду; за это приходилось расплачиваться приступом мучительной икоты, и он нетерпеливо ожидал пробуждения, хотя проснуться в таком состоянии было очень сложно: любая форма возбуждения уводила только дальше в закоулки сна, а для бодрствования были нужны покой и определенность.

Иногда его заливало тусклое красноватое мерцание, и ему становилось страшно, потому что источник света и причина зрения находились за пределами всего, что он успел более или менее изучить в своих снах; там начиналось неизвестное, что-то такое, чему еще только предстояло развиваться. Пока его зрение было латентным, судить об этом чувстве он мог только по еле угадываемым узорам вен на своих недавно появившихся веках.

Но главным источником знаний о мире, который постепенно создавало вокруг него время, был никогда не стихающий шум. Часто бывало так, что резкий звон вдруг вырывал его из безмятежного бодрствования, где не было ни времени, ни пространства, ни прочей атрибутики его видений, и он обнаруживал, что опять вывалился из реальности в знакомое красноватое пространство сна, мокрое и тесное, чавкающее и стучащее сотнями разных звуков.

Справа и сверху раздавались никогда не стихающие удары огромного метронома; чуть ниже что-то с шорохом вздувалось и опадало, а совсем рядом время от времени начинал бурлить невидимый водопад — но этот шум звучал в его сне постоянно, и он давно не обращал на него внимания. Интерес у него вызывали другие звуки, которые складывались в длинные красивые последовательности.

ти, иногда сопровождаемые глухим бубнением голосов. Впрочем, музыка нравилась ему не всегда, а иногда вызывала настоящую ненависть, особенно когда подолгу мешала проснуться.

Все это вместе — звуки, свет, претерпеваемые им толчки и собранный им опыт — привело, конечно, к тому, что у него сложилась безмолвная, но довольно ясная картина мироздания, которую в слова можно было облечь примерно так: он парил в центре мира, созданного его привычкой видеть сны, и этот мир имел некое устройство, а за близкой границей порядка и определенности царил хаос, откуда приходили свет и звуки. Сила, необходимая для существования мира — и того кокона, где жил он, и окружающего хаоса, — исходила из центра его живота через толстый мягкий канат, уплывавший куда-то ему под ноги.

Что ждало этот мир? Он чувствовал, что быстрое расширение его тела когда-нибудь прорвет оболочку, отделяющую его от хаоса, и тогда наступит катастрофа. Но эта катастрофа могла наступить только со сном, а с ним самим ничего, разумеется, произойти не могло, потому что настоящий он, покоящийся в вечности, и был тем единственным, что происходило.

Когда он понял, что может шевелить частями своего тела, он расценил это как свидетельство надвигающегося избавления от сновидений. Иногда он чувствовал мягкие удары и отвечал на них; тогда до него долетали рокочущие раскаты смеха, и какая-то сила снаружи поглаживала его кокон. В ее действиях была явная закономерность: стоило ему пнуть ногой упругую и теплую перегородку, отделявшую его от хаоса, и оттуда приходило эхо — мягкое нажатие, сопровождаемое густыми воркующими звуками, от которых слегка содрогался весь мир. Эти звуки сопровождали его с тех пор, как он стал слышать, и он научился отделять их от множества других, очень похожих, которые раздавались реже.

Ощущения сна не вызывали у него никакого неудовольствия, но однажды к ним добавилось новое. По всему его кокону несколько раз прошла волна сжатия, и он ощутил испуг — такого раньше не бывало. Вскоре все кончилось,

и он проснулся, снова оказавшись у себя дома, там, где не было ничего, кроме него самого и его неопределимого блаженства. Но что-то тревожило его покой, что-то вытягивало его наружу, в сон, и, когда он вывалился туда, первым, что он почувствовал, был ужас.

До этого он никогда не испытывал боли и не знал, что это такое. А сейчас он столкнулся с ней и понял, что эта сила способна сколь угодно долго удерживать его во сне и не пускать назад в реальность. Это качество боли было самым пугающим; кроме того, она была крайне неприятна сама по себе.

Боль исходила отовсюду, а ее причиной было растущее усилие, с которым на него давили мягкие стены его дома. Раньше ему казалось, что он будет бесконечно расширяться, пока не займет собой все существующее пространство, а теперь оказалось, что мир вокруг решил сдвинуть его в точку, вернуть все к тому моменту, когда сон, еще безвредный и непонятный, только начинался.

Но он уже не мог исчезнуть. Он был просто не в состоянии поддаться сдавившей его силе — он мог только страдать и ждать, когда страдание кончится. Страшные спазмы сминали и скручивали его; он уже решил, что вечность отныне и будет такой, когда рядом с той областью его тела, которой он слышал звуки и ощущал слабое красноватое мерцание, вдруг появился просвет, и он почувствовал, как вся вселенная с безжалостной силой выталкивает его туда.

Он никак не мог помешать или помочь происходящему; он просто чувствовал, что движется по какой-то мягкой упругой трубе, и, когда он изо всех сил захотел, чтобы это как можно быстрее кончилось, что-то пришло ему на помощь снаружи.

Страдание кончилось. Он чувствовал, что висит в пустоте и ничто больше не касается его рук и ног. Что-то осторожно подняло его в воздух, и он увидел вокруг себя ослепительные разноцветные пятна. Было очень холодно; открыв рот, он впустил в себя холодную пустоту; и сразу же в его уши ворвался резкий и тонкий звук; прошло довольно много времени, прежде чем он с изумлением понял, что издает его сам.

Вскоре он мирно лежал на какой-то твердой поверхности, защищенный от холода несколькими слоями тонких покровов. Время от времени он впускал в себя воздух и любовался сверкающими красками своего нового мира. Недавно пережитый страх успел исчезнуть без следа, и он почти ничего не боялся.

Когда вокруг наконец стало темно и тихо, он проснулся и понял, что его последний сон увел его от реальности слишком далеко — настолько далеко, что он чуть было не забыл о том, что же такое жизнь на самом деле. И это напугало его даже сильнее, чем только что прекратившийся кошмар. Он почувствовал, что может уснуть навсегда и решить, что снявшийся ему сон и есть явь; это было тем более легко, что все его сны были последовательными и как бы вырастали один из другого.

Но, рассмотрев эту мысль как следует, он успокоился и даже развеселился — ведь все, что он мог решить во сне, тоже было частью сна и не имело никакого отношения к его ненарушимому и вечному бытию. Разница между сновидением и реальностью была очень простой — просыпаясь и вспоминая, кто он, он испытывал ни с чем не сравнимую радость, а во сне он осознавал не себя, а происходящее; при этом он забывал, что на самом деле с ним никогда и ничего не может случиться, — появлялся страх.

Его сны были прекрасным и увлекательным развлечением, тем более занимательным, что он даже забывал, кто, собственно, развлекается — он как бы переставал существовать, и вместо него на время возникало нечто непостижимо нелепое.

Он понял и причину, по которой ему снились сны, — это было просто выражение его безграничной власти над бытием.

Страдания и страха не существовало, но он создал фантомный мир, где они были главным, и изредка нырял в него, сам на время становясь фантомом и не оставляя себе никакой связи с реальностью; так он обнимал не только все сущее, но и то, чего на самом деле не существовало. Да и потом, бесконечное и ненарушимое счастье было бы довольно скучным, если бы он не мог вновь и вновь бросаться в него извне, каждый раз узнавая его заново. Нич-

то не могло сравниться по силе с радостью пробуждения, а чтобы испытывать ее чаще, надо было чаще засыпать.

Сон между тем развивался по своему собственному закону. В мельтешении световых пятен и звуков постепенно стали возникать закономерности; он научился различать причины и следствия, и вскоре поток бессмысленных раздражителей разделился на лица, голоса, небо и землю. Над ним часто склонялись двое, от которых исходила любовь и забота; они подолгу повторяли одни и те же звуки, и, складываясь из узанных им слов, из хаоса выступил удивительный мир, населенный теньями, одной из которых был он сам.

Вскоре он сделал свои первые шаги по его поверхности и в совершенстве изучил волшебное искусство общения с теньями — для этого служили те же слова, из которых состоял мир.

Бодрствуя, он часто задавался вопросом: откуда берутся те, кто населяет иллюзорное пространство его снов? Они могли просто сниться ему. И еще они могли сниться кому-то другому — но кому? Однажды на пороге пробуждения у него даже возникла фантастическая мысль, что он в мире не один и существует еще кто-то, с кем он может встретиться, только заснув, но проверить это никакой возможности не было — во сне он мог, например, посмотреть через плечо, нет ли кого-нибудь у него за спиной, но в том, что существовало на самом деле, не было, конечно, ни возможности оглянуться, ни плеча, ни спины, ни направлений, в которых можно было бы посмотреть.

Кроме того, все спутники, в обществе которых он наслаждался небытием, появлялись только тогда, когда их освещало его внимание, и не было никаких доказательств, что они существуют остальное время даже во сне. Конечно же, мысль о существовании других могла родиться только спросонья — бодрствующему сознанию было совершенно ясно, что понятие «другие» — такая же точно нелепица, как «пространство» и «время», и для их существования необходим фантазмагорический мир сна.

Была, правда, еще одна возможность: другие могли быть теми его снами, которых он не помнил; в таком слу-

чае статус их небытия несколько повышался. Но все это было не важно.

Короткие мгновения сна были насыщены событиями. Он уже успел узнать, как окружающие его тени объясняют причину его возникновения, и после очередного пробуждения отдал дань их inferнальному юмору. Одновременно тени объяснили, что ему рано или поздно придет конец, — при этом они ссылались на свой опыт, что тоже было довольно забавно. Происходило и множество другого, но, проснувшись, он не особо об этом вспоминал.

Вскоре ему приснилось, что он стал совсем взрослым. Время к этому моменту успело настолько разогнаться, что вся его призрачная жизнь после рождения казалась намного короче тех бесчисленных и бесконечных снов, которые он видел в материнской утробе.

Размышляя о своих сновидениях, он пришел к выводу, что их истинная природа непознаваема — возможно, удивительная логика и стройность, которая была им свойственна, рождалась в его собственном сознании, безупречные зеркала которого образовывали калейдоскоп, способный создать симметричную картину из бесформенных осколков хаоса.

Но все же самым невообразимым атрибутом сна было имя, сочетание букв, которое выделяло его тень среди остальных. Просыпаясь, он любил размышлять над тем, что же именно обозначали эти слова — Иван Кублаханов. Получалось следующее.

Иван Кублаханов был просто мгновенной формой, которую принимало безымянное сознание, — но сама форма ничего об этом не знала. А ее жизнь, как и у остального сонма теней, была почти чистым страданием. Разумеется, это страдание было ненастоящим и мимолетным, но таким же был и сам Иван Кублаханов, ничего не знавший о своей иллюзорности — потому что знать было некому.

Это был парадокс, неразрешимый и непреодолимый. По природе Иван Кублаханов был просто страданием, сложенным из атомов счастья; смертью, сложенной из атомов бессмертия; он не понимал, что он просто сон, не особо даже интересный, и часто роптал на судьбу, чисто-сердечно считая, что у него есть судьба. Он был подобен

отсеку корабля, затопленному водой и изолированному от всех остальных отсеков. Кораблю это было безразлично, да и никакого отсека отдельно от корабля, если вдуматься, не существовало, но тот, кто плыл на корабле, забывал про это, стоило ему только войти в затопленный отсек: там он начинал воображать себя утопленником по фамилии Кублаханов и приходил в себя, только выбираясь наружу, — получалось, что все проведенные в затопленном отсеке секунды складывались в жизнь эфемерного существа.

Хоть Иван Кублаханов и был всего лишь рябью сознания, но, когда эта рябь возникала, она страстно хотела жить, искренне верила, что она есть на самом деле, и даже считала сознание, по поверхности которого она проходила, одним из своих атрибутов.

Сон мчался вперед, и было ясно, что с его концом придет конец и Ивану Кублаханову. Ему никак нельзя было помочь. Для него не существовало пробуждения, потому что сном, от которого требовалось проснуться, был он сам. Пробуждение означало бесследное исчезновение Ивана Кублаханова, который больше всего в своей странной жизни боялся исчезнуть, хотя в нем не было ничего такого, что могло исчезать.

Но во сне было много красивого. Например, закаты так называемого солнца — иногда наблюдающий их Иван Кублаханов на время переставал думать о себе, и тогда оставалось только то, что он видел; эти моменты его жизни были ближе всего к реальности, меньше всего похожи на сон — тот, кому он снился, видел сквозь его глаза красные полосы над горизонтом, и никакого Кублаханова, переполненного смесью страдания и надежды, в это время не существовало. Был только закат и тот, кто смотрел на него, а Иван Кублаханов становился прозрачной призмой, расщепляющей реальность на краски удивительной красоты.

И вот однажды эта призма прекратила свое существование. Сон про Ивана Кублаханова перестал сниться — он подошел к своему естественному концу, за которым началось нечто новое, такое же странное и захватывающее, как первые мгновения после рождения. Переход был очень похож на роды — опять пришлось перемещаться по какому-

то тоннелю, опять снаружи пришла безымянная помощь, опять были яркие вспышки света, и опять невыносимая мука сменилась сначала покоем, а потом — радостью пробуждения. Начался новый сон, героем которого был уже кто-то другой, и память об Иване Кублаханове стала постепенно исчезать.

И все же тот, кому когда-то снился Иван Кублаханов, испытывал странную жалость к этому никогда на самом деле не существовавшему комку надежды и страха, верившему, что он будет жить вечно, но не понимавшему, что это значит. Ведь больше всего Иван Кублаханов боялся именно исчезновения, а оно и было главным условием вечности.

Хотя, если вдуматься, даже этот страх был лишен всяких оснований — ведь и раньше каждую ночь Иван Кублаханов полностью исчезал, а пробуждение того, кем он был на самом деле, представлялось ему чем-то вроде бездонной черной ямы, через которую он прыгает в свое новое солнечное утро.

ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ

Ближе к концу второй мировой войны, когда даже тем из членов НСДАП, кто контролировал свои мысли со спокойным автоматизмом Марлен Дитрих, подправляющей макияж, когда даже тем из них, кто вообще обходился без мыслей, полностью сливая свое сознание с коллективным разумом партии, — словом, когда даже самым тупым и безмозглым партийцам стали приходиться в голову неприятные догадки о перспективах дальнейшего развития событий, германская пропаганда глухо и загадочно заговорила о новом оружии, разрабатываемом и почти уже созданном инженерами рейха.

Делалось это сперва исподволь. Например, «Фолькшпер беобахтер» печатала в рубрике «Ты и Фатерлянд» материал о каком-то ученом, потерявшем на Восточном фронте все, кроме правой руки, но ставшем на протезы и продолжающем одной рукой ковать победу «где-то у суровых балтийских волн», как поэтично зашифровывалось местоположение секретной лаборатории, о которой шла речь; статья кончалась как бы вынужденным умолчанием о том, что именно кует однорукий патриот. Или, например, киножурнал «Дойче Руденштау» показывал коптящие обломки английских бомбардировщиков, летевших, как сообщалось, «к одному из расположенных на побережье научных институтов, занятых чрезвычайно важной работой»; в конце сюжета, когда уже вступала бодрая музыка, диктор скороговоркой добавлял, что немцы могут быть спокойны — научный мозг нации, занятый созданием небывалого доселе оружия, защищен надежно.

Через некоторое время появился сам термин — «оружие возмездия». Уже из самого факта употребления слова

«возмездие» видно, что росшая в стране паника затронула и аппарат пропаганды, который начал давать сбои — ведь возмездие предполагает в качестве повода успешные вражеские действия, а все военные операции союзников официально объявлялись неуспешными, обеспечившими новые позиции ценой невероятных жертв. Но, может быть, это было не сбоем, а тем кусочком эмоциональной правды, которым любой опытный пропагандист сдобривает свое вранье, создавая у слушателя чувство, что к нему обращается человек, пусть и стоящий на официальных позициях, но по-своему честный и совестливый. Как бы там ни было, но слова «оружие возмездия» одинаково доходили и до сердца матери, потерявшей сыновей где-то в Северной Африке, и до работника партийного аппарата, предчувствующего скорую ликвидацию своей должности, и до паренька из Гитлерюгенда, ничего не понимающего в развитии событий, но по-детски любящего оружие и тайны. Поэтому неудивительно, что это словосочетание стало в скором времени так же популярно в летящей навстречу гибели стране, как, скажем, слова «Новый курс» в послекризисной Америке. Без всякого преувеличения можно сказать, что мысль об этом загадочном оружии захватила умы; даже скептики, иронически переглядывавшиеся при каждой новой радиосводке с театра военных действий, даже надежно замаскированные евреи, тихо качавшие головами при очередном безумном радиопризыве Геббельса, — даже они, совершенно забыв о своем подлинном отношении к режиму, пускались в бредовые разговоры о природе оружия возмездия и предполагаемом месте и времени его применения.

Сначала прошел слух, что это какая-то особая, небывалой силы бомба. Эта мысль увлекла в основном малышей и подростков — известно много детских рисунков того времени, на которых изображен взрыв, какой обычно рисуют дети, — черно-красный куст с волнистой опушкой, только очень-очень большой, и в углу листа — маленький зеленый самолетик с крестами на фюзеляже. (Удивительная однотипность этих рисунков показывает, что делом воспитания нового поколения в Германии занимались настоящие профессионалы.) Другой распространенной вер-

сией была следующая: оружие возмездия представляет собой реактивные снаряды гигантских размеров, способные самостоятельно наводиться на выбранную цель. (Некоторые утверждали, что ими управляют пилоты, отобранные из подлежащего уничтожению человеческого материала, со вживленными в мозг специальными электродами.) Говорили, кроме этого, о лучах смерти, о газе, который поражает всех, кроме преданных партии и лично Адольфу Гитлеру (это, видимо, было чьей-то шуткой), о голубях с зажигательными бомбами, о смертельных радиоволнах и так далее.

Интерес здесь вызывает прежде всего позиция правоохранительных органов и министерства пропаганды. Гестапо, которое вполне могло стереть человека в пыль за невыход на добровольные сверхурочные работы по случаю дня рождения фюрера или его овчарки, которое вполне могло отправить в концлагерь за найденный в уборной клочок газеты с портретом Риббентропа, никак не реагировало на доносы по поводу слишком вольных рассуждений об оружии возмездия. Наоборот, после того как исчезло несколько десятков доносчиков, стало ясно, что такие разговоры негласно поощряются властями; патриоты сориентировались и стали доносить на не желавших участвовать в обсуждении этой темы — и оклеветанный исчезал в течение трех дней.

Что касается официальной пропаганды, то она вела себя просто непостижимо. Оружие возмездия упоминалось буквально в каждой передовой; о нем пел берлинский хор мальчиков; защищая его тайну, слагали льняные полубоксы и польки киногерои из фильмов, которые Лени Рифтеншталь так и не успела доснять, — но прямо никак не объяснялось, что это за оружие. Ведомство Геббельса предпочитало использовать метафоры и аллегории, что, вообще-то, было для него характерно всегда, но только в качестве побочного приема, — а здесь ничего, кроме поэтических сравнений, не приводилось вообще, и переживающий очередной налет обыватель, развернув в бомбоубежище газету, узнавал, что уже недалек тот день, когда, «подобно копыю Вотана, оружие возмездия поразит врага в самое сердце»; прочитав это сообщение, он, по

характерной для жителей фашистской Германии привычке вычитывать самое главное между строк, решал, что, должно быть, прав был давешний кондуктор в трамвае, говоривший о снарядах невероятной мощи и дальности действия. Но когда на следующий день на совещании ячейки НСДАП зачитывалась, среди прочего, информация о том, что «меч Зигфрида уже занесен над потоками азиатских орд», он решал, что оружие возмездия, без всякого сомнения, — бомба. Когда же в вечерней радиопередаче сообщалось, что «огнеглазые Валькирии рейха вот-вот обрушат на агрессора свое священное безумие», он начинал склоняться к мысли, что это все же лучи или психический газ.

Когда немецкие «Фау-2» стали падать на Лондон, выяснилось, что оружие возмездия — при том, что «Фау» первая буква слова «Фергелтунгсваффе», то есть «оружие возмездия», — это все-таки вовсе не ракеты, потому что сообщения о ракетных обстрелах печатались рядом с обычным набором поэтических образов, посвященных последней надежде Германии. Когда с берлинских аэродромов взлетали в небо первые реактивные «мессершмитты», стало ясно, что оружие возмездия — не реактивная авиация, потому что в одной из радиопередач новый истребитель был уподоблен верному ворону фюрера, выматривающему хищным взглядом место для будущего пира ярости. На смену отпавшим версиям приходили новые — так, некий районный фюрер объявил выстроенному для напутствия батальону фаустников, что оружие возмездия — это 14,9 миллиона зараженных чумой крыс, которые в специальных контейнерах обрушатся с неба на Москву, Нью-Йорк, Лондон и Иерусалим. Учитывая, что все районные фюреры фашистской Германии были людьми удивительно тупыми, трусливыми, подлыми и неспособными даже к простейшим умственным комбинациям — все это и служило негласным условием их выдвижения на должность, — можно предположить, что слухи о характере действия оружия возмездия распространялись централизованно; придумать такое (особенно цифру 14,9) сам районный руководитель не смог бы ни за что, а повторять в официальном сообщении

болтовню парикмахера или шофера он никогда не решился бы.

Централизованность распространения этих слухов подтверждает еще одна провокация на городском уровне: в городе Оснабрюке лектор из Берлина объявил, что оружие возмездия — это секретный браваурный марш, существующий в англо- и русскоязычной версиях, который предлагается воспроизводить через мощную звукоусилительную машину прямо на передовой; услышав оттуда хотя бы один куплет, любой, понимающий эти языки, сойдет с ума от величия германского духа. (При этом с французами, болгарами, румынами и прочими предполагалось покончить с помощью обычных частей вермахта.)

Известно огромное число других версий.

Между тем развязка приближалась. Гибли дивизии и армии, сдавались города, и наступала обычная томительная предсмертная неразбериха. Последнее официальное упоминание об оружии возмездия относится к тому дню, когда по радио был зачитан приказ Гиммлера, в соответствии с которым любой немецкий солдат был обязан убить любого другого немецкого солдата, встретив его вдали от шума битвы. После этого приказа в эфир пошла обычная программа «Горизонты завтрашнего дня», в которой были названы сроки применения оружия возмездия: «еще до первых знойных дней, до первых майских гроз». Было также повторено — очевидно, в связи с попытками если не заключить перемирие с англичанами и американцами, то хотя бы задобрить их, — что оружие возмездия будет применено только против «азиатских жидобольшевиков». Через пять минут после этого, после последней в истории рейха трансляции «Лили Марлен», в здание берлинского радио попала комбинированная фугасно-агитационная бомба, содержавшая три тонны тринитротолуола и пятьдесят тысяч листовок.

После капитуляции Германии разведки стран — участниц коалиции немедленно принялись за поиски секретных заводов и лабораторий — союзникам была хорошо известна вся официальная немецкая информация по поводу оружия возмездия, а также большое количество слухов, которые в последние годы тщательно собирала агентура.

Балтийское побережье, где, как предполагалось, находились соответствующие исследовательские и производственные центры, было обшарено буквально метр за метром. По предварительным данным разведок, особый интерес вызвали два места. В зоне американской оккупации обнаружили циклопические, площадью с большой поселок, железобетонные руины — незадолго до прихода американских войск там что-то было уничтожено таким количеством взрывчатки, что самыми ценными находками оказались немецкий военный сапог вместе с оторванной ногой (обрывок штанины был идентифицирован как форма СС) и четырехтональная губная гармошка фирмы «Целло» со следами зубов и пробоинами от осколков. Все остальное представляло собой месиво из бетонной крошки, арматуры и мелких металлических фрагментов.

Проведенные вскоре опросы местных жителей показали, что здесь проходило замороженное в 1942 году строительство самого крупного в истории зоопарка, где для разных животных воспроизводилась естественная среда их обитания. (Один только участок «Иудейские горы» обошелся, как выяснилось из документов, в 80 миллионов рейхсмарок.)

На побережье советской зоны были найдены неясного назначения катакомбы, куда, после оцепления местности, опустились семеро агентов СМЕРШа. Ни один из них не вернулся, после чего катакомбы были взяты штурмом армейского подразделения. В помещении недалеко от входа обнаружили все семь трупов; там же был схвачен заросший длинной бородой мужчина в лохмотьях, вооруженный пожарным багром; он назвался профессором берлинского стоматологического института Авраамом Шумахером и утверждал, что скрывается здесь с 1935 года, питаясь дарами моря. (Способность человека провести десять лет в полной изоляции вызвала естественное недоверие проводивших допрос офицеров СМЕРШа, но, возможно, Шумахер не лгал, так как впоследствии выяснилось, что он обладал необычайно высоким уровнем приспособляемости к неблагоприятным условиям; он умер в одном из дальних лагерей в 1957 году, став перед тем известным в уголовной среде лидером («паханом»); это тот самый Фик-

са-Живорез, о котором столько пишет в своих мемуарах народная артистка Коми АССР балерина Лубенец-Лупянова.)

Остальная часть катакомб, расположенная ниже уровня моря, оказалась затопленной. Шумахер показал, что никаких строительных работ на его памяти здесь не велось. Однако, так как его искренность и, во всяком случае, психическое состояние не внушали доверия, было решено осмотреть затопленную часть помещений. Посланный на обследование водолаз исчез; шланг и сигнальный трос оказались оборванными или перекушенными. На вопрос, чем это могло быть вызвано, Шумахер ответил, что здесь, вероятно, набезобразничал некий Михель, которого он описал с помощью междометий и жестов, создав в итоге образ чего-то огромного и пугающего. Говорить об этом в нормальной манере и подробнее Шумахер отказался, мотивировав свою категоричность тем, что Михель наверняка услышит и придет. На этом допрос и исследование затопленных катакомб закончились.

Таким образом, ни в одной из зон Балтийского побережья Германии не было обнаружено ничего похожего на научный институт или завод по производству оружия возмездия. Не нашлось даже сколько-нибудь крупныхстроек: огромный котлован под Варнемюнде, как выяснилось, предназначался для гигантской скульптурной группы «Шахтеры империи». (Сами фигуры так и не были отлиты, но о предполагавшихся масштабах памятника можно судить по пяти двадцатиметровым отбойным молоткам из бронзы, обнаруженным в ангарах неподалеку от котлована.)

Подробное обсуждение вопроса об оружии возмездия произошло на Берлинской конференции. Был заслушан трехсторонний отчет о ходе поисков секретного немецкого оружия — к этому времени уже вся территория Германии была обследована, и специалисты констатировали, что никаких вещественных доказательств разработки и производства подобного оружия не имеется; не обнаружено ни одного документа, описывающего это оружие с технической стороны, как нет и бумаг, где такие документы хотя бы упоминались.

В обсуждении данного вопроса Сталин проявил характерные для него твердость и упорство. Он был уверен, что американцы уже обнаружили оружие возмездия, но держат это в тайне. Сталин, как вспоминают очевидцы, был настолько раздражен даже простой возможностью такого поворота событий, что впал в тяжелую депрессию и срывал свою злобу на всех, кто попадался ему под руку, — так, например, маршала Конюшенко, опоздавшего к началу вечернего совещания, вместо обычного в таких случаях штрафного стакана ждало следующее: его одели в рыцарские доспехи XIV века, стоявшие в одном из коридоров здания советской резиденции, и сбросили с крыши в декоративный пруд с карпами, после чего Сталин из окна произвел по нему несколько выстрелов из двустволки, а какой-то пьяный тип, державшийся со Сталиным запанибрата, плюнул в маршала стальной оперенной иглой из духовой трубки; к счастью, игла отскочила от забрала. (После госпиталя маршал был награжден орденом Александра Невского и сослан на Дальний Восток; обходя этот эпизод молчанием, маршал в своих воспоминаниях неоднократно возвращался к низким боевым качествам немецких танков, что, на его взгляд, объяснялось недостаточной толщиной брони.)

Атмосфера на конференции стала критической. Перед одним из заседаний агент американской службы безопасности обратил внимание начальника президентской охраны на торчавшую у Сталина из-за голенища наборную рукоять ножа, отчетливо выделявшуюся на фоне белой атласной штанины. После короткого совещания с английским премьером Трумэн, желая дать мыслям Сталина новое направление, сказал, что в США создана бомба огромной мощности со взрывным устройством размером всего с апельсин. По воспоминаниям секретаря американской миссии У. Хогана, Сталин спокойно заметил, что прятал бомбы в корзинах с апельсинами еще в начале века и что первый дилижанс с гальем раздрючили с его подмастырки еще тогда, когда Трумэн, верно, только учился торговать газетами. Вернувшись через некоторое время к этой теме, Сталин добавил, что, как считает советская сторона, если вместе прихват рисовали, то потом

на вздержку брать в натуре западло, и что когда он пытался на туруханской конторе, таких хавырок брали под красный галстук, и что он сам бы их чикнул, да неохота перо мочить.

Поняв из перевода, что подписание запланированных соглашений оказалось под угрозой, Трумэн провел несколько напряженных часов со своими консультантами, в числе которых были и опытные специалисты по русской уголовной традиции. На следующее утро перед началом переговоров президент отвел Сталина в сторону и дал ему зуб, что американцы не скрывают абсолютно ничего, касающегося оружия возмездия. То же сделал и английский премьер, после чего переговоры вошли в нормальное русло.

Вскоре участникам конференции были представлены показания высших чиновников рейха, захваченных в плен. Оказалось, что они большей частью слабо знакомы с вопросом, так как никогда не читали немецких газет, предпочитая им американскую бульварную прессу, но думают, что ведомство Геббельса называло так снаряды «Фау-2».

Тема оружия возмездия поднималась на Берлинской конференции еще раз, когда рассматривался вопрос о лаборатории реактивного оружия на Пенемюнде; был сделан предположительный вывод, что немцы называли оружием возмездия ракеты «Фау-1» и «Фау-2», возлагая на них большие надежды; когда же эти ракеты были применены, но не оказали ожидаемого воздействия на ход войны, аппарат Геббельса продолжал эксплуатировать воодушевляющую людей идею.

Последовавшее вскоре применение атомного оружия, начавшее новую эпоху в жизни человечества, окончательно отбросило вопрос об оружии возмездия в область малопонятных исторических загадок. С тех пор в большинстве исторических пособий под оружием возмездия понимаются те несовершенные и небезопасные в обращении ракеты, которые вермахт время от времени запускал через Ла-Манш; самое удивительное, что охотнее всех такую версию приняли сами немцы. Это, возможно, объясняется ее трезвостью, простотой и, если так можно выразиться,

антимистичностью, чрезвычайно целительной для нации основательных прагматиков, потрясенной двенадцатилетним мистическим кошмаром, и вполне устраивающей социумы, так безоглядно погруженные в собственные мистические видения, что само существование мистики является в них государственной тайной и отрицается. Но отрицание пронизывающего жизнь и историю мистицизма само по себе есть очень тонкая и опасная форма мистики — тонкая потому, что становится невидимым краеугольный камень общественного устройства, отчего государственные институты и идеологии приобретают космическое величие реально существующих феноменов, а опасная потому, что даже крохотная угроза, объявленная несуществующей, может оказаться роковой.

Здесь уместно будет привести цитату из малоинтересной в целом работы некоего П. Стецюка «Память огненных лет».

«...Молодой белобрысый немец с МГ-34 на плече считал себя не только культуртрегером, но и единственным защитником древней европейской цивилизации, оказавшейся на краю гибели. Ржание большевистской конницы и звон еврейского золота, сливающиеся в одну траурную мелодию, были для воспитанников Бальдура фон Шираха самыми реальными звуками на свете, хоть и раздавались только в тех местах, куда попадали уже наученные слышать их постоянно адепты... Для обученного необходимой методологии человека ничего не стоит придать реальность как еврейскому заговору, так и, например, троцкистско-зиновьевскому блоку, и хотя эта реальность будет временной, но на период своего существования она будет непоколебимой и вечной. Ведь все наши понятия — продукт общественного соглашения, не более... Поэтому в 1937 году в СССР действительно существовал троцкистско-зиновьевский блок, чего не отрицали даже его участники; этот заговор был настолько же реален, насколько реальны были Магнитка и Соловки, и таковым его делала общая убежденность в его существовании. В конце концов кому, как не руководству мирового коммунистического движения, решать, является та или иная группа людей троцкистско-зиновьевским блоком или нет? Большого ав-

торитета в этой области не существует, да и сама терминология не принята в других кругах. Предположим, что изобретатель языка эсперанто ввел специальное слово для обозначения какой-то группы людей. Эсперантисты будущего могут не употреблять этого слова, но кто из них скажет, что доктор Заменхоф лгал или ошибался?.. Реальность словам придают люди. Когда умрет последний марксист, исчезнет вся объективная реальность, и ничто не скопируется и не сфотографируется ничьими чувствами, и ничто не дастся никому в ощущение, существуя независимо, как не происходило этого ни в Древнем Египте, ни в Византийской империи. Сколько осиротевших демонов носится уже над ночной землей! Мир создает вера, а предметы создает уверенность в их существовании, и наоборот: мир создает веру в себя, а предметы убеждают в своей подлинности; без одного нет другого...»

Конечно, развязный тон и неумные обобщения П. Стецюка возмутительны, чтобы не сказать — отвратительны, но некоторые из его мыслей заслуживают внимания. В частности, он почти точно раскрыл принцип действия оружия возмездия — не этих жалких пороховых болванок, падавших время от времени на лондонские кино-театры, а настоящего, грозного оружия, заслужившего все процитированные реминисценции из «Кольца Нибелунгов».

Когда множество людей верит в реальность некоего объекта (или процесса), он начинает себя проявлять: в монастыре происходят религиозные чудеса, в обществе разгорается классовая борьба, в африканских деревнях в назначенный срок умирают проклятые колдуном бедняги и так далее — примеров бесконечно много, потому что это основной механизм жизни. Если поместить перед зеркалом свечу, то в зеркале возникнет ее отражение. Но если каким-то неизвестным способом навести в зеркале отражение свечи — то для того, чтобы не нарушились физические законы, свеча обязана будет возникнуть перед зеркалом из пустоты. Другое дело, что нет способа создать отражение без свечи.

Принцип равновесия, верный для зеркала и свечи, так же верен для события и человеческой реакции на него,

но реакцию на событие в масштабах целой страны, особенно страны, охваченной идеологической ревностью, довольно просто организовать с помощью подчиненных одной воле газет и радио, даже если самого события нет. Применительно к нашему случаю это значит, что с появлением и распространением слухов об оружии возмездия оно возникнет само — никому, даже его создателям, неизвестно, где и каким образом; чем больше будет мнений о его природе, тем более странным и неожиданным окажется конечный результат. И когда будет объявлено, что это оружие приводится в действие, сила ожидания миллионов людей неизбежно изменит что-то в истории.

Осталось сказать несколько слов о результатах применения оружия возмездия против СССР. Впрочем, можно обойтись и без слов, тем более что они горьки и не новы. Пусть любопытный сам поставит небольшой опыт. Например, такой: пусть он встанет рано утром, подойдет на цыпочках к окну и, осторожно отведя штору, выглянет наружу...

ДЕВЯТЫЙ СОН ВЕРЫ ПАВЛОВНЫ

Здесь мы можем видеть, что солипсизм совпадает с чистым реализмом, если он строго продуман.

Людвиг Витгенштейн

Перестройка ворвалась в сортир на Тверском бульваре одновременно с нескольких направлений. Клиенты стали дольше засиживаться в кабинках, оттягивая момент расставания с осмелевшими газетными обрывками; на каменных лицах толпящихся в маленьком кафельном холле голубых весенним светом заиграло предчувствие долгожданной свободы, еще далекой, но уже несомненной; громче стали те части матерных монологов, где, помимо Господа Бога, упоминались руководители партии и правительства; чаще стали перебои с водой и светом.

Никто из вовлеченных во все это толком не понимал, почему он участвует в происходящем, — никто, кроме уборщицы мужского туалета Веры, существа неопределенного возраста и совершенно бесполого, как и все ее коллеги. Для Веры начавшиеся перемены тоже были некоторой неожиданностью — но только в смысле точной даты их начала и конкретной формы проявления, а не в смысле их источника, потому что этим источником была она сама.

Началось все с того, что как-то однажды днем Вера первый раз в жизни подумала не о смысле существования, как она обычно делала раньше, а о его тайне. Результатом было то, что она уронила тряпку в ведро с темной мыльной водой и издала что-то вроде тихого «ах». Мысль была неожиданная и непереносимая и, главное, ни с чем из окружающего не связанная — просто пришла вдруг в голову, в которую ее никто не звал; а выводом из этой мысли было то, что все долгие годы духовной работы, потраченные на поиски смысла, оказывались потерянными зря, потому что дело было, оказывается, в тайне. Но Вера как-то все же успокоилась и стала мыть дальше. Когда про-

шло десять минут и значительная часть кафельного пола была уже обработана, появилось новое соображение — о том, что другим людям, занятым духовной работой, эта мысль тоже вполне могла приходить в голову и даже наверняка приходила, особенно если они были старше и опытнее. Вера стала думать, кто это может быть из ее окружения, и сразу безошибочно поняла, что не надо ходить слишком далеко и надо поговорить с Маняшей, уборщицей соседнего туалета, такого же, но женского.

Маняша была намного старше. Это была худая старушка тоже неопределенных, но преклонных лет; при взгляде на нее Вере отчего-то — может быть, из-за того, что та сплетала волосы в седую косичку на затылке, — вспоминалось словосочетание «Петербург Достоевского». Маняша была Вериной старшей подругой; они часто обменивались ксерокопиями Блаватской и Рамачараки, настоящая фамилия которого, как говорила Маняша, была Зильберштейн; ходили в «Иллюзион» на Фасбиндера и Бергмана, но почти не говорили на серьезные темы; Маняшино руководство духовной жизнью Веры было очень ненавязчивое и не прямое, отчего у Веры никогда не появлялось ощущения, что это руководство существует.

Стоило Вере только вспомнить о Маняше, как раскрылась маленькая служебная дверь, соединявшая оба туалета (с улицы в них вели разные входы), и Маняша появилась. Вера тут же принялась путано рассказывать о своей проблеме; Маняша, не перебивая, слушала.

— ...И получается, — говорила Вера, — что поиск смысла жизни — сам по себе единственный смысл жизни. Или нет, не так — получается, что знание тайны жизни, в отличие от понимания ее смысла, позволяет управлять бытием, то есть действительно прекращать старую жизнь и начинать новую, а не только говорить об этом, — и у каждой новой жизни будет свой особенный смысл. Если овладеть тайной, то уж никакой проблемы со смыслом не останется.

— Вот это не совсем верно, — перебила внимательно слушавшая Маняша. — Точнее, это совершенно верно во всем, кроме того, что ты не учиываешь природы человеческой души. Неужели ты действительно считаешь, что, зная ты эту тайну, ты решила бы все проблемы?

— Конечно, — ответила Вера. — Я уверена. Только как ее узнать?

Маняша на секунду задумалась, а потом словно на что-то решилась и сказала:

— Здесь есть одно правило. Если кому-то известна эта тайна и ты о ней спрашиваешь, тебе обязаны ее открыть.

— Почему же ее тогда никто не знает?

— Ну почему? Кое-кто знает, а остальным, видно, не приходит в голову спросить. Вот ты, например, кого-нибудь когда-нибудь спрашивала?

— Считаю, что я тебя спрашиваю, — быстро проговорила Вера.

— Тогда коснись рукой пола, — сказала Маняша, — чтобы вся ответственность за то, что произойдет, легла на тебя.

— Неужели нельзя без этих сцен из Мейринка? — недовольно пробормотала Вера, наклоняясь к полу и касаясь ладонью холодного кафельного квадрата. — Ну?

Маняша пальцем подозвала Веру к себе и, взяв ее за голову и наклонив так, что Верино ухо приходилось точно напротив ее рта, прошептала что-то не очень длинное.

И в эту же секунду за стенами раздался гул.

— Как, и все? — разгибаясь, спросила Вера.

Маняша кивнула головой.

Вера недоверчиво засмеялась.

Маняша развела руками, как бы говоря, что не она это придумала и не она виновата. Вера притихла.

— А знаешь, — сказала она, — я ведь что-то похожее всегда подозревала.

Маняша засмеялась:

— Так все говорят.

— Ну что же, — сказала Вера, — для начала я попробую что-нибудь простое. Например, чтоб здесь на стенах появились картины и заиграла музыка.

— Я думаю, у тебя получится, — ответила Маняша, — но учти, что произойти в результате твоих усилий может что-то неожиданное, совсем вроде бы не связанное с тем, что ты хотела сделать. Связь выявится только потом.

— А что может произойти?

— А вот посмотришь сама.

Посмотреть удалось не скоро, только через несколько месяцев, в те отвратительные ноябрьские дни, когда под ногами чавкает не то снег, не то вода, а в воздухе висит не то пар, не то туман, сквозь который просвечивают синева милицейских шапок и багровые кровоподтеки транспарантов.

Произошло это так: в уборную спустились несколько праздничных пролетариев с большим количеством идеологического оружия — огромными картонными гвоздиками на длинных зеленых шестах и заклинаниями на специальных листах фанеры. Справив нужду, они поставили двухцветные копыя к стене, заслонили писсуары своими промокшими транспарантами — на верхнем была непонятная надпись «Девятый трубоволоочильный» — и устроились на небольшой пикник в узком пространстве перед зеркалами и умывальниками. Сильней, чем мочой и хлоркой, запахло портвейном; зазвучали громкие голоса. Сначала доносился смех и разговоры, потом вдруг стало тихо и строгий мужской голос спросил:

— Что ж ты, сука, на пол льешь специально?

— Да не специально я, — затараторил неубедительный тенор, — тут бутылка нестандартная, горлышко короче. А я тебя заслушался. Проверь сам, Григорий! У меня рука всегда автоматически...

Тут раздался звук удара во что-то мягкое и одобрительная матерная разноголосица, но после этого пикник как-то быстро сошел на нет, и голоса, гулко взыв напоследок с ведущей на бульвар лестницы, исчезли. Тогда только Вера решилась выглянуть из-за угла.

В центре кафельного холла сидел на полу мужичонка с расквашенной мордой и через равные интервалы времени плевал кровью на залитый портвейном кафель. Увидев Веру, он отчего-то перепугался, вскочил на ноги и убежал на улицу, под открытое небо. После него в холле осталась мокрая надломленная гвоздика и маленький транспарантик с кривой надписью: «Парадигма перестройки безальтернативна!» Вера совершенно не поняла, какой в этих словах заключен смысл, но долгий опыт жизни ясно говорил: началось что-то новое, и даже не верилось, что это новое

вызвано ею. На всякий случай она подхватила гигантский цветок и транспарант и отнесла их в свою каморку, представлявшую собой две крайние кабинки — перегородка между ними была убрана, и места было как раз достаточно, чтобы разместились ведра, швабры и стул, на котором можно было иногда передохнуть.

После этого все еще долго тянулось по-старому (да и что нового может быть в туалете?). Жизнь текла размеренно и предсказуемо, только количество пустых бутылок, которое приносил день, стало падать, а народ стал злее.

Но вот однажды в туалете появилась компания зашедших явно не по нужде. Они были в одинаковых джинсовых костюмах и темных очках, а с собой у них был складной метр и такая специальная штучка на треножном штативе — Вера не знала, как она называется, — в которую какие-то люди на улицах часто глядят на особым образом разграфленную палку, которую держат другие люди. Гости обмерили входную дверь, озабоченно оглядели все помещение и ушли, так и не воспользовавшись своим оптическим приспособлением. Еще через несколько дней они появились в сопровождении человека в коричневом плаще и с коричневым портфелем — Вера знала его, это был начальник всех городских туалетов. Вели себя прибывшие непонятно — они ничего не обсуждали и не измеряли, как в прошлый раз, а просто прохаживались взад и вперед, задевая плечами спины переливающихся в писсуары (как зыбок мир!) трудящихся, и время от времени замирали, мечтательно заглядываясь на что-то, Вере и посетителям невидимое, но, очевидно, прекрасное: об этом можно было догадаться по улыбкам на их лицах и по тем удивительным романтическим положениям, в которых застывали их тела, — Вера не смогла бы выразить своих чувств словами, но поняла она все безошибочно, и на несколько мгновений перед ее глазами встала когда-то висевшая у них в детстве репродукция картины «Товарищи Киров, Ворошилов и Сталин на строительстве Беломорско-Балтийского канала».

А еще через два дня Вера узнала, что теперь работает в кооперативе.

Обязанности остались, в общем, прежние, но невероятно изменилось все вокруг. Как-то постепенно и быстро, без остановки производственных мощностей, был сделан ремонт. Сначала бледный советский кафель на стенах заменили на крупную плитку с изображением зеленых цветов. Потом переделали кабинки — их стены обшили пластиком под орех; вместо строгих унитазов победившего социализма поставили какие-то розово-фиолетовые пиршественные чаши, а у входа установили турникеты, как в метро, — только вход стоил не пять, а десять копеек.

В завершение этих изменений Вере подняли зарплату на целых сто рублей в месяц и выдали новую рабочую одежду: красную шапку с козырьком и черный полухалат-полушинель с петлицами — словом, все как в метро, только на петлицах и кокарде сверкала не буква «М», а две скрещенные струи, выбитые в тонкой меди. Две соединенные кабинки, где раньше можно было хотя бы поспать, теперь превратились в склад туалетной бумаги, куда уже было не втиснуться. Теперь Вера сидела возле турникетов в специальной будке, похожей на трон марсианских коммунистов из фильма «Аэлита», улыбалась, разменивала деньги; в ее жестах появилась счастливая плавность, совсем как у виденной однажды в детстве и запомнившейся на всю жизнь продавщицы из Елисеевского — та, белокурая и женственно полная, резала семгу на фоне настенной фрески, изображавшей залитую солнцем долину, где прямо в полуметре от реальности висела прохладная виноградная кисть, — и было утро, и нежно пело радио, и Вера была девушкой в красном ситцевом платье.

В турникетах весело звенели деньги — за каждый день набегало полтора-два больших холщовых мешка. «Кажется, — смутно думала Вера, — Фрейд где-то сопоставил экскременты и золото. Все-таки умный мужик был, чего говорить... за что только его так люди ненавидят... вот тот же Набоков...» И она погружалась в привычные неторопливые мысли, часто состоявшие из одного только начала и так и не доползавшие до собственного конца, потому что им на смену приходили другие.

Жить постепенно становилось все лучше: у входа появились зеленые бархатные портьеры, которые посетитель должен был, входя, раздвинуть плечом, а на стене у входа — купленная в обанкротившейся пельменной картина, в какой-то странной перспективе изображавшая тройку: трех белых лошадей, впряженных в заваленные сеном сани, где, не обращая никакого внимания на бегущих следом сосредоточенных волков, сидели трое — два гармониста в расстегнутых полушубках и баба без гармонии (отчего гармонь казалась признаком пола). Единственным, что смущало Веру, был какой-то далекий грохот или гул, иногда доносившийся из-за стен, — она никак не могла взять в толк, что может так странно гудеть под землей, но потом решила, что это метро, и успокоилась.

В кабинках зашуршала настоящая туалетная бумага — не то что раньше. На умывальниках появились куски мыла, рядом — настенные электрические ящики для сушения рук. Словом, когда один постоянный клиент сказал Вере, что приходит сюда, как в театр, она не удивилась сравнению и даже не особенно была польщена.

Новым начальником был румяный парень в джинсовой куртке и темных очках — он появлялся на месте редко и, как понимала Вера, курировал еще два-три туалета. Вере он казался очень загадочным и могущественным человеком, но однажды выяснилось, что заправляет всем вовсе не он.

Обычно румяный молодой человек, входя с улицы, раскидывал половинки зеленой бархатной портьеры коротким и властным движением ладони; затем появлялось его лицо с двумя черными стеклянными эллипсами вместо глаз, а потом раздавался тонкий голос. В тот раз все было наоборот: сначала Вера услышала его высокий заискивающий тенор, раздавшийся на лестнице, в ответ там же что-то снисходительное рывкнул бас, и портьера разошлась, но вместо ладони и черных очков появилась даже не согнутая, а какая-то сложившаяся джинсовая спина — это пятился и что-то на ходу объяснял Верин начальник, а вслед за ним шествовал пожилой толстый гном с большой рыжей бородой, в красной кепке и красной заграничной майке, на которой Вера прочла:

What I really need
is less shit
from you people

Гном был крошечный, но держался так, что казался выше всех. Быстро оглядев помещение, он открыл портфель, вынул связку печатей и приложил одну из них к листу бумаги, торопливо подставленному начальником Веры. После этого он дал какую-то короткую инструкцию, ткнул молодого человека в черных очках пальцем в живот, захохотал и исчез — Вера даже не заметила как: стоял напротив зеркала — и нету, словно нырнул в какой-то только для гномов открытый подземный ход.

После развоплощения карлика с печатями Верин начальник успокоился, вырос в длину и сказал несколько ни к кому не обращенных фраз, из которых Вера поняла, что гном — на самом деле очень большой человек и заправляет всеми московскими туалетами.

— Ну и начальники теперь у нас, — бормотала себе под нос Вера, звякая монетами на стоящем перед ней блюде и выдавая одноразовые полотенца. — Прямо ужас.

Она любила делать вид, что воспринимает все происходящее так, как должна была бы воспринять его некая абстрактная Вера, работающая уборщицей в туалете, и старалась не думать о том, что сама разбудила эти подземные силы, и разбудила для смеха, для того, чтобы на стене повисла картина. Что касалось музыки, то она полагала, что ее желание уже воплотилось в двух нарисованных гармониях.

Вообще, насколько скучной и однообразной была раньше Верина жизнь, настолько теперь она стала значительной и интересной. Теперь Вера довольно часто видела разных удивительных людей — ученых, космонавтов и артистов, а однажды туалет посетил отец братского народа маршал Пот Мир Суп — ехал в Кремль, да не стерпел по дороге. С ним была уйма народу, и, пока он сидел в кабинке, возле Вериной будки на длинных флейтах играли какую-то протяжную и печальную мелодию три волнующихся накрашенных пионера — так трогательно и хорошо, что Вера украдкой всплакнула.

Вскоре после этого случая Верин начальник принес с собой магнитофон и колонки, и уже на следующий день в сортире заиграла музыка. Теперь к Вериным обязанностям добавилась еще одна — переворачивать и менять кассеты. Утро обычно начиналось с «Мессы» и «Реквиема» Джузеппе Верди; первые взволнованные посетители появлялись обычно тогда, когда страстное сопрано из второй части уже успевало попросить Господа об избавлении от вечной смерти.

— Либера ме домини де морте азтерна, — тихонько подпевала Вера и в такт тяжелым ударам невидимого оркестра позвякивала медью на блюде. Потом обычно ставилась «Рождественская оратория» Баха или что-нибудь в этом роде, по-немецки и на духовные темы, и Вера, разбиравшая этот язык с некоторыми усилиями, прислушивалась, как далекие звонкоголосые дети весело уверяют в чем-то Господа, пославшего их в дольний мир.

— Так зачем Господь создал нас? — с сомнением спрашивало конвоируемое двумя скрипками сопрано.

— Затем, — убежденно отвечал хор, — чтобы мы его славили.

— Так ли это? — недоверчиво переспрашивало сопрано.

— Это несомненно так! — спешили подтвердить детские голоса из хора.

Потом, когда время подходило часам к двум-трем, Вера заводила Моцарта, и растревоженная душа медленно успокаивалась, скользя над холодным мраморным полом какого-то огромного зала, в котором, перебивая друг друга, дребезжали два минорных рояля.

А совсем близко к вечеру Вера ставила Вагнера, и летящие в бой валькирии несколько секунд никак не могли взять в толк, что это за кафельные стены и раковины мелькнули на миг возле их бешено несущихся коней.

Все было бы прекрасно, если б не одна странность, сначала почти незаметная и даже показавшаяся галлюцинацией. Вера стала замечать какой-то странный запах, а сказать откровенно — вонь, на которую она раньше не обращала внимания. По какой-то необъяснимой причине вонь появлялась тогда, когда начинала играть музыка, — точ-

нее, не появлялась, а проявлялась. Все остальное время она тоже присутствовала — собственно, она была изначально свойственна этому месту, но до каких-то пор не ощущалась из-за того, что находилась в гармонии со всем остальным, — а когда на стенах появились картины да еще заиграла музыка, вот тут-то и стало заметно то особое, непередаваемое туалетное зловоние, которое совершенно невозможно описать и о котором некоторое представление дает разве что словосочетание «Париж Маяковского».

Как-то вечером к Вере зашла Маняша, послушала увертюру к «Корсару» и вдруг тоже почувствовала вонь.

— Ты, Вера, никогда не задумывалась над тем, почему наши воля и представление образуют вокруг нас эти сортиры? — спросила она.

— Задумывалась, — ответила Вера. — Я давно над этим думаю и никак не могу понять. Я знаю, что ты сейчас скажешь. Ты скажешь, что мы сами создаем мир вокруг себя и причина того, что мы сидим в сортире, — наши собственные души. Потом ты скажешь, что никакого сортира на самом деле нет, а есть только проекция внутреннего содержания на внешний объект и то, что кажется вонью, на самом деле просто экстериоризованная компонента души. Потом ты прочтешь что-нибудь из Сологуба...

— И мне светила возвестили, — нараспев перебила Маняша, — что я природу создал сам...

— Во-во, или еще что-нибудь в этом роде. Все верно?

— Не вполне. Ты допускаешь свою обычную ошибку. Дело в том, что в солипсизме интересна исключительно практическая сторона. Кое-что в этой области тобой уже сделано — вот, например, картина с тройкой или эти цимбалы — брень-брень! Но вот вонь — в какой момент и почему мы ее создаем?

— С практической стороны я могу тебе ответить, — сказала Вера, — что мне теперь несложно убрать вонь и сам сортир.

— Мне тоже, — ответила Маняша. — Я и убираю его каждый вечер. Но вот что наступит дальше? Ты действительно думаешь, что это возможно?

Вера открыла было рот для ответа, но вместо этого надолго закашлялась в ладонь.

Маняша высунула язык.

Прошло два-три дня, и вот зеленую штору на входе откинули несколько посетителей, сразу же напомнивших Вере тех первых, в джинсовых куртках, с которых все и началось. Только эти были в коже и еще румяней — а в остальном вели себя так же, как и те: медленно ходили по помещению, тщательно оглядывая все вокруг. И вскоре Вера узнала, что туалет закрывают и теперь здесь будет комиссионный магазин.

Ее так и оставили уборщицей, а на время ремонта даже дали оплачиваемый отпуск — Вера хорошо отдохнула и перечитала некоторые книги по солипсизму, до которых никак не доходили руки. А когда она в первый день вышла на новую работу, уже ничего не напоминало ей о том, что в этом месте когда-то был туалет.

Теперь справа от входа начинался длинный стеллаж, где продавались всякие мелочи; дальше — там, где раньше были писсуары, — помещался длинный прилавок с одеждой, а напротив — стойка с радиоаппаратурой. В дальнем конце зала висели зимние вещи — кожаные плащи и куртки, дубленки и женские пальто, и за каждым прилавком теперь стояла продавщица.

Работы стало намного меньше, а денег — просто уйма. Теперь Вера ходила по помещениям в новом синем халате, вежливо раздвигала толпящихся посетителей и протирала сухой фланелевой тряпочкой стекла прилавков, за которыми новогодней разноцветной фольгой («Все мысли веков! все мечты! все миры!» — тихонько шептала Вера) мерцали жевательные резинки и презервативы, отсвечивали пластмассовые клипсы и броши, мерцали очки, зеркальца, цепочки и карандашники.

Затем, во время обеденного перерыва, надо было вымести грязь, которую на своих башмаках принесли посетители, и можно было отдыхать до самого вечера.

Теперь музыка играла круглый день — иногда даже несколько музык, — а вонь исчезла, о чем Вера с гордостью сообщила зашедшей как-то через дверь в стене Маняше. Та поджала губы.

— Боюсь, все не так просто. Конечно, с одной стороны, мы действительно создаем все вокруг, но с другой — мы сами просто отражения того, что нас окружает. Поэтому любая индивидуальная судьба в любой стране — это метафорическое повторение того, что происходит со страной, а то, что происходит со страной, складывается из тысяч отдельных жизней.

— Ну и что? — не поняла Вера. — Какое отношение это имеет к разговору?

— А такое, — сказала Маняша, — ты же говоришь, что вонь пропала. А она не пропадала вовсе. И ты с ней еще столкнешься.

С тех пор как мужской туалет перенесли на Маняшину половину и объединили с женским, Маняша сильно изменилась — стала меньше говорить и реже заглядывать в гости. Сама она объясняла это достигнутой уравновешенностью Инь и Ян, но Вера в глубине души считала, что дело в большем объеме работ по уборке и в зависти к ее, Вериному, новому образу жизни, — зависти, прикрытой внешней философичностью. При этом Вера совсем не думала о том, кто научил ее всему необходимому для осуществления метаморфозы. Маняша, видимо, почувствовала изменение Вериного отношения к ней, но отнеслась к этому спокойно, как к должному, и просто реже стала заходить.

Вскоре Вера поняла, что Маняша была права. Произошло это так: однажды она, разгибаясь от витрины, краем глаза заметила что-то странное — вымазанного говном человека. Он держался с большим достоинством и двигался сквозь раздающуюся толпу к прилавку с радиоаппаратурой. Вера вздрогнула и даже выронила тряпку — но, когда она повернула голову, чтобы как следует рассмотреть этого человека, оказалось, что с ней произошел обман зрения — на самом деле на нем просто была рыже-коричневая кожаная куртка.

Но после этого случая такие обманы зрения стали происходить все чаще и чаще. То Вере вдруг мерещилось, что на застекленном прилавке разложены мятые бумажки, и надо было несколько секунд внимательно глядеть на него, чтобы увидеть нечто другое. То ей начинало казаться, что

дорогие — в три-четыре советские зарплаты каждый — флаконы со сказочными названиями, стоящие на длинной полке за спиной продавщицы, недаром находятся в том самом месте, где раньше бодро журчали писсуары; и само название «туалетная вода», выведенное красным фломастером на картонке, вдруг приобретало эвфемический смысл. За стенами теперь почти все время что-то тихо, но грозно рокотало, как будто тихо шептал какой-то исполин: звук был негромким, но рождал ощущение невероятной мощи.

Вера стала присматриваться к новым посетителям. Сначала стали заметны странности с их одеждой: некоторые вещи, надетые на них, упорно выдавали себя за говно, или, наоборот, размазанное по ним говно упорно выдавало себя за некоторые вещи. Лица многих были вымазаны говном в форме черных очков; оно покрывало их плечи в виде кожаных курток и джинсами облегалo ноги. Все они были вымазаны в разной степени: трое или четверо были покрыты полностью, с ног до головы, а один — в несколько слоев; к нему народ подходил с наибольшим почтением.

Вокруг крутилось множество детей. Один мальчик очень напоминал Вере ее брата, когда-то утопленного в пионерлагере, и она внимательно следила за тем, что с ним происходит. Сначала он просто сообщал покупателям, у кого из обмазанных говном они могут купить ту или иную вещь, и даже сам подлетал ко входящим и спрашивал:

— Что нужно?

Вскоре он уже продавал какую-то мелочь сам, а однажды днем Вера, переставляя по полу ведро по направлению к прилавку с огромными черными кусками говна со строгими японскими именами, подняла глаза и увидела его сияющее счастьем лицо. Посмотрев вниз, она увидела, что его ноги, на которых раньше были ботинки, теперь густо вымазаны тем же самым, чем было покрыто большинство стоящих вокруг. Чисто инстинктивным движением она провела по ним тряпкой, а в следующий момент мальчик довольно грубо отпихнул ее.

— Под ноги надо смотреть, дура старая, — сказал он и продемонстрировал ей вынутый из кармана кукиш, который после секундного размышления переделал в кулак.

И вдруг Вера поняла, что, пока она управляла миром, к ней пришла старость и впереди теперь только смерть.

Уже давно Вера не видела Маняшу. Отношения между ними стали в последнее время значительно холоднее, и дверь в стене, ведущая на Маняшину половину, уже долго не отпиралась. Вера стала вспоминать, при каких обстоятельствах обычно появлялась Маняша, и оказалось, что единственной вещью, которую можно было сказать на этот счет, было то, что иногда она просто появлялась.

Вера стала вспоминать историю их отношений, и чем дольше она вспоминала, тем крепче становилось в ней убеждение, что во всем виновата именно Маняша, хотя, чем было это «все», она вряд ли сумела бы сказать. Но она решила отомстить и стала готовить гостинец к встрече с Маняшей — так и называя то, что она приготовила, «гостинцем», и даже про себя не давая вещам настоящих имен, словно Маняша из-за стены могла прочесть ее мысли, испугаться и не прийти.

Видно, Маняша ничего из-за стены не прочла, потому что однажды вечером она появилась. Выглядела она усталой и неприветливой, что Вера автоматически объяснила про себя тем, что у Маняши очень много работы. Забыв до поры свои планы, Вера с недоумением и страхом рассказала про свои галлюцинации. Маняша оживилась.

— Это как раз понятно, — сказала она. — Дело в том, что ты знаешь тайну жизни, поэтому способна видеть метафизическую функцию предметов. Но поскольку ты не знаешь ее смысла, ты не в состоянии различить их метафизической сути. Поэтому тебе кажется, что то, что ты видишь, — галлюцинации. Ты пыталась объяснить это сама?

— Нет, — сказала, подумав, Вера. — Очень трудно понять. Наверное, что-то такое превращает вещи в говно. Некоторые превращает, а некоторые — нет... А-а-а... Поняла, кажется. Сами-то по себе они не говно, эти вещи. Это когда они сюда попадают, они им становятся... Или даже нет — то говно, в котором мы живем, становится заметным, когда попадает на них...

— Вот это уже ближе, — сказала Маняша.

— Ой Господи... А я-то думаю: картины, музыка...

Вот дура. А вокруг на самом деле туалет, какая ж тут музыка может быть... А кто виноват? Ну, насчет говна понятно — вентиль коммунисты открыли...

— В каком смысле? — спросила Маняша.

— А и в том, и в этом... Нет, если кто и виноват, так это, Маняша, ты, — закончила вдруг Вера и нехорошо посмотрела на бывшую уже подругу, так нехорошо, что та даже сделала шагок назад.

— Почему же я? Я, наоборот, столько раз тебе говорила, что все эти тайны никакой пользы тебе не принесут, пока ты со смыслом не разберешься... Вера, ты что?

Вера, глядя куда-то вниз и в сторону, пошла на Маняшу; та стала пятиться от нее прочь, и так они дошли до неудобной узкой дверцы, ведущей на Маняшину половину. Маняша остановилась и подняла на Веру глаза.

— Вера, что ты задумала?

— А топором тебя хочу, — безумно ответила Вера и вытащила из-под халата свой страшный гостинец с гвоздодерным выростом на обухе. — Прямо по косичке, как у Федора Михайловича.

— Ты, конечно, можешь это сделать, — нервничая, сказала Маняша, — но предупреждаю: тогда мы с тобой больше никогда не увидимся.

— Да это уж я сообразить могу, не такая дура, — замалчиваясь, вдохновенно прошептала Вера и с силой обрушила топор на Маняшину седую головку.

Раздался звон и грохот, и Вера потеряла сознание.

Придя в себя от рокота за стеной, она обнаружила, что лежит в примерочной кабинке с топором в руках, а над ней в высоком, почти в человеческий рост, зеркале зияет дыра, контурами похожая на огромную снежинку.

«Есенин», — подумала Вера.

Самым страшным ей показалось то, что никакой двери в стене, как оказалось, не было, и непонятно было, что делать со всеми теми воспоминаниями, где эта дверь фигурировала. Но даже это уже не имело никакого значения — Вера вдруг не узнала саму себя. Казалось, какая-то часть ее души исчезла — часть, которой она никогда раньше не ощущала и почувствовала только теперь, как это бывало с людьми, которых мучают боли в ампутированной конечности. Все вроде

бы осталось на месте — но исчезло что-то главное, придававшее остальному смысл; Вере казалось, что ее заменили плоским рисунком на бумаге, и в ее плоской душе поднималась плоская ненависть к плоскому миру вокруг.

— Ну погодите, — шептала она, ни к кому особо не обращаясь, — я вам устрою.

И ее ненависть отражалась в окружающем — что-то содрогалось за стенами, и посетители магазина, или туалета, или просто подземной ниши, где прошла вся ее жизнь (Вера ни в чем теперь не была уверена), иногда отрывались от изучения размазанного по прилавкам говна и испуганно оглядывались по сторонам.

Какая-то исполинская сила давила на стены снаружи, что-то гудело и дрожало за тонкой выгибающейся поверхностью — как будто огромная ладонь сжимала картонный стаканчик, на дне которого сидела крохотная Вера, окруженная прилавками и примерочными кабинками, сжимала пока несильно, но в любой момент могла полностью сплющить всю Верину реальность.

И однажды, ровно в 19.40 (как раз тогда, когда Вера думала, что три одинаковых куса говна на полке секции бытовой электроники зелеными цифрами показывают год ее рождения), этот момент настал.

Вера с ведром в руке стояла напротив длинной стойки с одеждой, где попеременно висели дубленки, кожаные плащи и похабные розовые кофточки, и рассеянно смотрела на покупателей, шупающих такие близкие и одновременно недостижимые рукава и воротники, когда у нее вдруг сильно кольнуло в сердце. И тут же гудение за стеной стало невыносимо громким; стена задрожала, выгнулась, треснула, и из трещины, опрокинув стойку с одеждой, прямо на закричавших от ужаса людей хлынул отвратительный черно-коричневый поток.

— А-ах! — успела выдохнуть Вера, а в следующий момент ее подняло с пола, крутануло и сильно ударило о стену; последним, что сохранило ее сознание, было слово «Карма», написанное крупными черными буквами на белом фоне тем же шрифтом, каким печатают название газеты «Правда».

В себя она пришла от другого удара, уже слабого, о какие-то прутья. Путь оказались ветками высокого старого дуба, и Вера в первый момент не поняла, каким образом ее, только что стоявшую на знакомом до последней кафельной плитки полу, могло вдруг ударить о какие-то ветки.

Оказалось, что она плывет вдоль Тверского бульвара в черно-коричневом зловонном потоке, плещущем уже в окна второго или третьего этажа. Она оглянулась и увидела над поверхностью жижи что-то вроде горы, образованной бьющим снизу потоком точно в том месте, где раньше был ее подземный ход.

Течение несло Веру вперед, в направлении Тверской. Уровень жижи поднимался со сказочной быстротой — двух-трехэтажные дома по бокам бульвара были уже не видны, а огромный уродливый театр теперь напоминал гранитный остров — на его крутом берегу стояли три женщины в белых кисейных платьях и белогвардейский офицер, из-под приставленной ко лбу ладони глядящий вдаль; Вера поняла, что там только что давали «Трех сестер».

Ее уносило все дальше. Мимо нее проплыла детская коляска с изумленно глядящим по сторонам младенцем в синей шапочке с большой пластмассовой красной звездой, потом рядом оказался угол дома, увенчанный круглой башенкой с колоннами, на которой двое жирных солдат в фуражках с синими околышами торопливо готовили к стрельбе пулемет, и, наконец, течение вынесло ее на почти затопленную Тверскую и повлекло в направлении далеких сумрачных пиков с еле видными рубиновыми пентаграммами.

Поток теперь несся намного быстрее, чем несколько минут назад; сзади и справа над торчащими из черно-коричневой лавы крышами виден был огромный, в полнеба, грохочущий гейзер; к его шуму присоединилось еле различимое стрекотание пулемета.

— Блажен, кто посетил сей мир, — шептала Вера, — в его минуты роковые...

Она увидела плывущий рядом земной шар и догадалась, что это глобус из стены Центрального телеграфа. Она подгребла к нему и ухватила за Скандинавию. Видимо, вме-

сте с глобусом из стены телеграфа вырвало и электромотор, который его крутил, и теперь он придавал всей конструкции устойчивость — Вера со второй попытки вскарабкалась на синий купол, уселась на выделенное красным государством трудящихся и огляделась.

Где-то вдалеке торчала Останкинская телебашня, еще были видны похожие на острова крыши, а впереди медленно наплывала как бы несущаяся над водами красная звезда; когда Вера приблизилась к ней, ее нижние зубья уже погрузились. Вера ухватила за холодное стеклянное ребро и остановила свой глобус. Рядом с его бортом на поверхности жижи покачивались две солдатские фуражки и сильно размокший синий галстук в мелкий белый горошек — судя по тому, что они почти не двигались, течение здесь было слабым.

Вера еще раз оглянулась по сторонам, удивилась было той легкости, с которой исчез огромный многовековой город, но сразу же подумала, что все изменения в истории, если они и случаются, происходят именно так — легко и как бы сами собой. Думать совершенно не хотелось — хотелось спать, и она прилегла на выпученную поверхность СССР, подсунув под голову мозолистый от швабры кулак.

Когда она проснулась, мир состоял из двух частей — предвечернего неба и бесконечной ровной поверхности, в сумраке ставшей совсем черной. Ничего больше видно не было; рубиновые пентаграммы давно ушли на дно и были теперь Бог знает на какой глубине. Вера подумала об Атлантиде, потом о Луне и ее девяноста шести законах — но все эти уютные старые мысли, внутрь которых вчера еще душа так приятно сворачивалась в калачик, теперь были неуместны, и Вера опять задремала. Сквозь дрему она вдруг заметила, как вокруг тихо, — заметила, потому что послышался тихий плеск; он долетел с той стороны, где над горизонтом возвышался величественный красный холм заката.

К ней приближалась надувная лодка, в которой стояла высокая и широкоплечая фигура в фуражке, с длинным веслом. Вера приподнялась на руках и подумала, вглядываясь в приближающегося, что она на своем глобусе похо-

жа, должно быть, на аллегорическую фигуру, и даже поняла, на аллгорию чего — самой себя, плывущей на шаре с сомнительной историей по безбрежному океану бытия. Или уже небытия — но никакого значения это не имело.

Лодка подплыла, и Вера узнала стоящего в ней — это был маршал Пют Мир Суп.

— Вера, — сказал он с сильным восточным акцентом, — ты знаешь, кто я такой?

В его голосе было что-то ненатуральное.

— Знаю, — ответила Вера, — кое-чего читала. Я уже все поняла давно, только вот там было написано про туннель. Что должен быть какой-то туннель.

— Туннель? Можно.

Вера почувствовала, что часть поверхности глобуса, на котором она сидела, открывается внутрь и она падает в образовавшийся проем. Это произошло очень быстро, но она все же успела уцепиться руками за край этого проема и стала яростно дрыгать ногами, стремясь найти опору, но под ногами и по бокам ничего не было, только темная пустота, в которой дул ветер. Над ее головой оставался кусок грустного вечернего неба в форме СССР (ее пальцы изо всех сил вжимались в южную границу), и этот знакомый силуэт, всю жизнь напоминавший чертеж бычьей туши со стены мясного отдела, вдруг показался самым прекрасным из всего, что только можно себе представить, потому что, кроме него, не оставалось больше ничего вообще.

Из прекрасного мимолетного мира, который уходил навсегда, донесся плеск, и тяжелое весло ударило Веру сначала по пальцам правой, а потом по пальцам левой руки; светлый контур Родины завертелся и исчез где-то далеко внизу.

Вера почувствовала, что парит в каком-то странном пространстве — это нельзя было назвать падением, потому что вокруг не было воздуха и, что самое главное, не было ее самой — она попыталась увидеть хоть часть собственного тела и не смогла, хотя там, куда она поворачивала взгляд, положено было находиться ее рукам и ногам. Оставался

только этот взгляд — но он не видел ничего, хотя смотрел, как с испугом поняла Вера, сразу во все стороны, так что поворачивать его не было никакой необходимости. Потом Вера заметила, что слышит голоса, — но не ушами, а просто осознает чей-то разговор, касающийся ее самой.

— Тут одна с солипсизмом на третий стадии, — сказал как бы низкий и рокошующий голос. — Что за это полагается?

— Солипсизм? — переспросил другой голос, как бы высокий и тонкий. — За солипсизм ничего хорошего. Вечное заключение в прозе социалистического реализма. В качестве действующего лица.

— Там уже некуда, — сказал низкий голос.

— А в казаки к Шолохову? — с надеждой спросил высокий.

— Занято.

— А может, в эту, как ее, — увлеченно заговорил высокий голос, — военную прозу? Каким-нибудь двухабзачным лейтенантом НКВД? Чтоб только выходила из-за угла, вытирая со лба пот, и пристально вглядывалась в окружающих? И ничего нет, кроме фуражки, пота и пристального взгляда. И так целую вечность, а?

— Говорю же, все занято.

— Так что делать?

— А пусть она сама нам скажет, — пророкотал низкий голос в самом центре Вериного существа. — Эй, Вера! Что делать?

— Что делать? — переспросила Вера. — Как что делать?

Вокруг словно подул ветер — это не было ветром, но напоминало его, потому что Вера почувствовала, что ее куда-то несет, как подхваченный ветром лист.

— Что делать? — по инерции повторила Вера и вдруг все поняла.

— Ну! — ласково прорычал низкий голос.

— Что делать?! — с ужасом закричала Вера. — Что делать?! Что делать?!

Каждый из ее криков усиливал это подобие ветра; скорость, с которой она неслась в пустоте, становилась все быстрее, а после третьего крика она ощутила, что попала

в сферу притяжения некоего огромного объекта, которого до этого крика не существовало, но который после крика стал реален настолько, что Вера теперь падала на него, как из окна на мостовую.

— Что делать?! — крикнула она в последний раз, со страшной силой врезалась во что-то и от этого удара заснула — и сквозь сон донесся до нее бубнящий, монотонный и словно какой-то механический голос:

— ...место помощника управляющего, я выговорил себе вот какое условие: что я могу вступить в должность когда захочу, хоть через месяц, хоть через два. А теперь я хочу воспользоваться этим временем: пять лет не видал своих стариков в Рязани — съезжу к ним. До свидания, Верочка. Не вставай. Завтра успеешь. Спи.

XXVII

Когда Вѣра Павловна на другой день вышла изъ своей комнаты, мужъ и Маша уже набивали вещами два чемодана,

ЗИГМУНД В КАФЕ

За гладкими каменными лицами этих истуканов
нередко скрываются лабиринты трещин и пустот,
в которых селятся разного рода птицы.

Джозеф Лэвендер, «Остров Пасхи»

На его памяти в Вене ни разу не было такой холодной зимы. Каждый раз, когда открывалась дверь и в кафе влетало облако холодного воздуха, он слегка ежился. Долгое время никого не появлялось, и Зигмунд успел впасть в легкую старческую дрему, но вот дверь снова хлопнула, и он поднял голову.

В кафе вошло двое новых посетителей — господин с бакенбардами и дама с высоким шиньоном.

Дама держала в руках длинный острый зонт.

Господин нес небольшую женскую сумочку, отороченную темным блестящим мехом, чуть влажным из-за растаивших снежинок.

Они остановились у вешалки и стали раздеваться — мужчина снял плащ, повесил его на крючок, а потом попытался нацепить шляпу на одну из длинных деревянных шишечек, торчавших из стены над вешалкой, но промахнулся, и шляпа, выскочив из его руки, упала на пол. Мужчина что-то пробормотал, поднял шляпу, повесил ее все-таки на шишечку и засуетился за спиной у дамы, помогая ей снять шубу. Освободясь от шубы, дама благосклонно улыбнулась, взяла у него сумочку, и вдруг на ее лице появилась расстроенная гримаса — замок на сумочке был раскрыт, и в нее набился снег. Дама укоризненно покачала шиньоном (мужчина виновато развел руками бархатного пиджака), вытряхнула снег на пол и защелкнула замок. Затем она повесила сумочку на плечо, поставила зонт в угол, отчего-то повернув его ручкой вниз, взяла своего кавалера под руку и пошла с ним в зал.

— Ага, — тихо сказал Зигмунд и покачал головой.

Между стеной и стойкой бара, недалеко от столика, к

которому направились господин с бакенбардами и его спутница, был небольшой пустой закуток, где возились хозяйские дети — мальчик лет восьми в широком белом свитере, усеянном ромбами, и девочка чуть помладше, в темном платье и полосатых шерстяных рейтузах.

Недалеко от них на полу лежал полуспущенный резиновый мяч.

Вели себя дети на редкость тихо. Мальчик возился с горой больших кубиков с цветными рисунками на боках — он строил из них дом довольно странной формы, с просветом в передней стене — постройка все время рушилась, потому что просвет выходил слишком широким и верхний кубик проваливался в щель между боковыми. Каждый раз, когда кубики рассыпались, мальчик некоторое время горестно ковырял в носу грязным пальцем, а потом начинал строительство заново. Девочка сидела напротив, прямо на полу, и без особого интереса следила за братом, возясь с горкой мелких монет — она то раскладывала их по полу, то собирала в кучку и запихивала под себя. Вскоре ей наскучило это занятие, она оставила монеты в покое, наклонилась в сторону, схватила за ножки ближайший стул, подтянула его к себе и стала двигать им по полу, слегка подталкивая мяч его ножками. Один раз толчок вышел слишком сильным, мяч покатился в сторону мальчика, и его шаткое сооружение обрушилось на пол в тот самый момент, когда он собирался водрузить на его вершину последний кубик, на сторонах которого были изображены ветка с апельсинами и пожарная каланча. Мальчик поднял голову и погрозил сестре кулаком, в ответ на что она открыла рот и показала ему язык — она держала его высунутым так долго, что его можно было, наверное, рассмотреть во всех подробностях.

— Ага, — сказал Зигмунд и перевел взгляд на мужчину с бакенбардами и его даму.

Им уже подали закуски. Господин глотал устриц, уверенно раскрывая их раковины маленьким серебряным ножичком, и говорил что-то своей спутнице, которая улыбалась, кивала и отправляла в рот шампиньоны — она по одному цепляла их с блюда двузубчатой вилкой и внимательно разглядывала перед тем, как обмакнуть в густой

желтый соус. Затем господин, звякая горлышком бутылки о край стакана, налил себе белого вина, выпил его и подвинул к себе тарелку с супом.

Подошел официант и поставил на стол блюдо с длинной жареной рыбой.

Поглядев на рыбу, дама вдруг хлопнула себя ладонью по лбу и стала что-то говорить своему кавалеру. Тот поднял на нее глаза, послушал ее некоторое время и недоверчиво скривился, затем выпил еще один стакан вина и стал аккуратно заправлять сигарету в конический красный мундштук, который он держал между мизинцем и безымянным пальцем.

— Ага! — сказал Зигмунд и уставился в дальний угол зала, где стояли хозяйка заведения и кряжистый официант.

Там было темно, вернее, темней, чем в остальных углах, — под потолком перегорела лампочка. Хозяйка глядела вверх, уперев в бока полные руки — из-за этой позы и фартука с разноцветными зигзагами она походила на античную амфору. Официант уже принес длинную стремянку, которая теперь стояла возле пустого стола. Хозяйка проверила, крепко ли стоит стремянка, задумчиво почесала голову и что-то сказала официанту. Тот повернулся и подошел к стойке бара, завернул за нее, наклонился и некоторое время совсем не был виден. Через минуту он выпрямился и показал хозяйке какой-то вытянутый блестящий предмет. Хозяйка энергично кивнула, и официант вернулся к ней, держа найденный фонарик в поднятой руке. Он протянул его хозяйке, но та отрицательно помотала головой и показала пальцем на пол.

В полу возле пустого столика был большой квадратный люк.

Он был почти незаметен из-за того, что его крышка была выложена паркетными ромбами, как и весь остальной пол, и догадаться о его существовании можно было только по двойному бордюру из тонкой меди, пересекавшему замысловатые паркетные узоры, и по утопленному в дереве медному кольцу.

Аккуратно подтянув брюки на коленях, официант сел на корточки, взялся за кольцо и одним сильным движением открыл люк. Хозяйка чуть поморщилась и переступила

с ноги на ногу. Официант вопросительно поглядел на нее — она опять энергично кивнула, и он полез вниз. Видимо, под полом была короткая лестница, потому что он погружался в глубину черного квадрата короткими рывками, каждый из которых соответствовал невидимой ступени. Сначала он сам придерживал крышку, но, когда он спустился достаточно глубоко, хозяйка пришла ему на помощь — наклонясь вперед, она взялась за нее двумя руками и напряженно уставилась в темную дыру, где исчез ее напарник.

Через некоторое время белая куртка официанта, уже изрядно испачканная паутиной и пылью, снова возникла над поверхностью пола. Выбравшись наружу, он решительно закрыл люк и шагнул к стремянке, но хозяйка жестом остановила его и велела повернуться. Тщательно отряхнув его куртку, она взяла у него лампочку, подышала на ее стеклянную колбу и несколько раз нежно провела по ней ладонью. Шагнув к стремянке, она поставила ногу на ее нижнюю ступеньку, подождала, пока официант крепко ухватится за лестницу сбоку, и полезла вверх.

Перегоревшая лампочка располагалась внутри узкого стеклянного абажура, висевшего на длинном шнуре, так что лезть надо было не очень высоко. Поднявшись на пять или шесть ступенек, хозяйка просунула руку внутрь абажура и попыталась вывернуть лампочку, но та была ввинчена слишком прочно, и абажур стал поворачиваться вместе со шнуром. Тогда она зажала новую лампочку во рту, осторожно обхватив ее губами за цоколь, и подняла вторую руку, которой ухватила абажур за край; после этого дело пошло быстрее. Вывернув перегоревшую лампочку, она сунула ее в карман своего фартука и стала вворачивать новую.

Сильными руками сжимая лестницу, официант заворуженно следил за движениями ее пухлых ладоней, время от времени проводя по пересохшим губам кончиком языка. Вдруг под матовым абажуром вспыхнул свет, официант вздрогнул, зажмурился и на секунду ослабил свою хватку. Половинки лестницы стали разъезжаться; хозяйка взмахнула руками и чуть не полетела на пол, но в самый последний момент официант успел удержать лестницу; с неправ-

доподобной быстротой преодолев три или четыре ступеньки, бледная от испуга хозяйка прыгнула на паркет и обессиленно замерла в успокаивающем объятии напарника.

— Ага! Ага! — громко сказал Зигмунд и устался на пару за столиком.

Дама с шиньоном успела перейти к десерту — в ее руке была продолговатая трубочка с кремом, которую она понемножку обкусывала с широкой стороны. Когда Зигмунд поднял на нее глаза, дама как раз собралась откусить порцию побольше — засунув трубку в рот, она сжала ее зубами, и густой белый крем, прорвав тонкую золотистую корочку, выдавился из задней части пирожного. Господин с бакенбардами мгновенно среагировал, и вырвавшийся из пирожного кремовый протуберанец, вместо того чтобы шлепнуться на скатерть, упал в его собранную лодочкой ладонь. Дама расхохоталась. Господин поднес ладонь с кремовой горкой ко рту и в несколько приемов слизнул ее, вызвав у своей спутницы еще один приступ смеха — она даже не стала доедать пирожное и отбросила его на блюдо со скелетом рыбы. Слизав крем, господин поймал над столом руку дамы и с чувством ее поцеловал, а та подняла стоявший перед ним бокал с золотистым вином и отпила несколько маленьких глотков. После этого господин закурил новую сигарету — вставив ее в свой конический красный мундштук, он сделал несколько быстрых затяжек, а потом принялся пускать кольца.

Несомненно, он был большим мастером этого сложного искусства. Сначала он выпустил одно большое сизое кольцо с волнистой кромкой, а затем — кольцо поменьше, которое пролетело сквозь первое, совершенно его не задев. Помахав перед собой в воздухе, он уничтожил всю дымовую конструкцию и выпустил два новых кольца, на этот раз одинакового размера, которые повисли одно над другим, образовав почти правильную восьмерку.

Его спутница с интересом наблюдала за происходящим, машинально тыкая тонкой деревянной шпилькой в лежащую на тарелке голову рыбы.

Еще раз набрав полные легкие дыма, господин выпустил две тонкие длинные струи, одна из которых прошла сквозь верхнее, а другая сквозь нижнее кольцо, где они

соприкоснулись и слились в мутный синеватый клуб. Дама зааплодировала.

— Ага! — воскликнул Зигмунд, и господин, повернувшись, смерил его заинтересованным взглядом.

Зигмунд снова стал смотреть на детей. Видно, кто-то из них успел сбегать за новой порцией игрушек — теперь, кроме кубиков и мяча, вокруг них лежали растрепанные куклы и бесформенные куски разноцветного пластилина. Мальчик по-прежнему возился с кубиками, только теперь он строил из них не дом, а длинную невысокую стену, на которой через равные промежутки стояли оловянные солдатики с длинными красными плюмажами.

В стене было оставлено несколько проходов, каждый из которых сторожило по три солдатика — один снаружи, а двое — внутри. Стена была полукруглой, а в центре отгороженного ею пространства на аккуратно устроенной подставке из четырех кубиков помещался мяч — он опирался только на кубики и не касался пола.

Девочка сидела к брату спиной и рассеянно покусывала за хвост чучело небольшой канарейки.

— Ага! — беспокойно крикнул Зигмунд. — Ага! Ага!

На этот раз на него покосился не только господин с бакенбардами (он и его спутница уже стояли у вешалки и одевались), но и хозяйка, которая длинной палкой поправляла шторы на окнах. Зигмунд перевел взгляд на хозяйку, а с хозяйки — на стену, где висело несколько картин — банальная марина с луной и маяком, пейзаж с сумрачной расщелиной меж двух холмов и еще одно огромное, непонятно как попавшее сюда авангардное полотно — вид сверху на два открытых рояля, в которых лежали мертвые Бунюэль и Сальвадор Дали, оба со странно длинными ушами.

— Ага! — изо всех сил закричал Зигмунд. — Ага! Ага!! Ага!!!

Теперь на него смотрели уже со всех сторон — и не только смотрели. С одной стороны к нему приближалась хозяйка с длинной палкой в руке, с другой — господин с бакенбардами, в руке у которого была шляпа. Лицо хозяйки было, как всегда, хмурым, а лицо господина, напротив, выражало живой интерес и умиление. Лица прибли-

жались и через несколько секунд заслонили собой почти весь обзор, так что Зигмунду стало немного не по себе, и он на всякий случай сжался в пушистый комок.

— Какой у вас красивый попугай, — сказал хозяйке господин с бакенбардами. — А какие он еще слова знает?

— Много всяких, — ответила хозяйка. — Ну-ка, Зигмунд, скажи нам еще что-нибудь.

Она подняла руку и просунула кончик толстого пальца между прутьями.

— Зигмунд — молодец, — кокетливо сказал Зигмунд, на всякий случай передвигаясь по жердочке в дальний угол клетки. — Зигмунд — умница.

— Умница-то умница, — сказала хозяйка, — а вот клетку свою всю обгадил. Чистого места нет.

— Не будьте так строги к бедному животному. Это ведь его клетка, а не ваша, — приглаживая волосы, сказал господин с бакенбардами. — Ему в ней и жить.

В следующий момент он, видимо, ощутил неловкость оттого, что беседует с какой-то вульгарной барменшей. Сделав каменное лицо и надев шляпу, он повернулся и пошел к дверям.

В самом начале третьего семестра, на одной из лекций по эм-эл философии Никита Сонечкин сделал одно удивительное открытие.

Дело было в том, что с некоторых пор с ним творилось непонятное: стоило маленькому ушастому доценту, похожему на одолеваемого кощунственными мыслями попики, войти в аудиторию, как Никиту начинало смертельно клонить в сон. А когда доцент принимался говорить и показывать пальцем в люстру, Никита уже ничего не мог с собой поделать — он засыпал. Ему чудилось, что лектор говорит не о философии, а о чем-то из детства: о каких-то чердаках, песочницах и горящих помойках; потом ручка в Никитиных пальцах забиралась по диагонали в самый верх листа, оставив за собой неразборчивую фразу; наконец он клевал носом и проваливался в черноту, откуда через секунду-другую выныривал, чтобы вскоре все повторилось в той же самой последовательности. Его конспекты выглядели странно и были непригодны для занятий: короткие абзацы текста пересекались длинными косыми предложениями, где шла речь то о космонавтах-невозвращенцах, то о рабочем визите монгольского хана, а почерк становился мелким и прыгающим.

Сначала Никита очень расстраивался из-за своей неспособности нормально высидеть лекцию, а потом задумался: неужели это происходит только с ним? Он стал приглядываться к остальным студентам, и здесь-то его и ждало открытие.

Оказалось, что спят вокруг почти все, но делают это гораздо умнее, чем он, — уперев лоб в раскрытую ладонь, так, что лицо оказывалось спрятанным. Кисть правой руки

при этом скрывалась за локтем левой, и разобрать, пишет сидящий или нет, было нельзя. Никита попробовал принять это положение и обнаружил, что сразу же изменилось качество его сна. Если раньше он рывками перемещался от полной отключенности до перепуганного бодрствования, то теперь эти два состояния соединились — он засыпал, но не окончательно, не до черноты, и то, что с ним происходило, напоминало утреннюю дрему, когда любая мысль без труда превращается в движущуюся цветную картинку, следя за которой можно одновременно дожидаться звонка переведенного на час вперед будильника.

Выяснилось, что в этом новом состоянии даже удобнее записывать лекции — надо было просто позволить руке двигаться самой, добившись, чтобы бормотание лектора скатывалось от уха прямо к пальцам, ни в коем случае не попадая в мозг, — в противном случае Никита или просыпался, или, наоборот, засыпал еще глубже, до полной потери представления о происходящем. Постепенно, балансируя между этими двумя состояниями, он так освоился во сне, что научился уделять одновременно нескольким предметам внимание той крохотной части своего сознания, которая отвечала за связи с внешним миром. Он мог, например, видеть сон, где действие происходило в женской бане (довольно частое и странное видение, поражавшее целым рядом нелепостей: на бревенчатых стенах висели рукописные плакаты со стихами, призывавшими беречь хлеб, а кряжистые русоволосые бабы со ржавыми шайками в руках носили короткие балетные юбочки из перьев), и одновременно с этим мог не только следить за потоком яичного желтка на лекторском галстуке, но и выслушивать анекдот про трех грузин в космосе, который постоянно рассказывал сосед.

Просыпаясь после философии, Никита в первые дни не мог нарадоваться своим новым возможностям, но самодовольство улетучилось, когда он понял, что может пока только слушать и писать во сне, а ведь тот, кто в это время рассказывал ему анекдот, тоже спал! Это было ясно по особому маслянистому блеску глаз, по общему положению туловища и по целому ряду мелких, но несомненных деталей. И вот, уснув на одной из лекций, Никита попробо-

вал рассказать анекдот в ответ — специально выбрал самый простой и короткий, про международный конкурс скрипачей в Париже. У него почти получилось, только в самом конце он сбился и заговорил о мазуте Днепропетровска вместо маузера Дзержинского. Но собеседник ничего не заметил и басовито хохотнул, когда за последним сказанным Никитой словом истекли три секунды тишины и стало ясно, что анекдот закончен.

Больше всего Никиту удивляла та глубина и вязкость, которые при разговоре во сне приобретал его голос. Но обращать на это слишком большое внимание было опасно — начиналось пробуждение.

Говорить во сне было трудно, но возможно, а до каких пределов могло в этом дойти человеческое мастерство, показывал пример лектора. Никита никогда бы не догадался, что тот тоже спит, если бы не заметил, что лектор, имевший привычку плотно прислоняться к высокой кафедре, время от времени переворачивается на другой бок, оказываясь к аудитории спиной и лицом к доске (чтобы оправдать невежливое положение своего туловища, он вяло взмахивал рукой в направлении пронумерованных белых предпосылок). Иногда лектор поворачивался на спину; тогда его речь замедлялась, а высказывания становились либеральными до радостного испуга — но основную часть курса он читал на правом боку.

Скоро Никита понял, что спать удобно не только на лекциях, но и на семинарах, и постепенно у него стали выходить некоторые несложные действия — так, он мог, не просыпаясь, встать, приветствуя преподавателя, мог выйти к доске и стереть написанное или даже поискать в соседних аудиториях мел. Когда его вызывали, он сперва просыпался, пугался и начинал блуждать в словах и понятиях, одновременно восхищаясь неподражаемым умением спящего преподавателя морщиться, кашлять и постукивать рукой по столу не только держа глаза открытыми, но и придавая им подобие выражения.

Первый раз ответить во сне получилось у Никиты неожиданно и без всякой подготовки — просто он краем сознания заметил, что пересказывает какие-то «основные понятия» и одновременно находится на верхней площадке

высокой колокольни, где играет маленький духовой оркестр под управлением любви, оказавшейся маленькой желтоволосой старушкой с обезьяньими ухватками. Никита получил пятерку и с тех пор даже конспекты первоисточников вел не просыпаясь и приходя в бодрствующее состояние только для того, чтобы выйти из читального зала. Но мало-помалу его мастерство росло, и к концу второго курса он уже засыпал, входя утром в метро, а просыпался, выходя с той же станции вечером.

Но кое-что стало его пугать. Он заметил, что все чаще засыпает неожиданно, не отдавая себе в этом отчета. Только проснувшись, он понимал, что, например, приезд к ним в институт товарища Луначарского на тройке вороных с бубенцами — не часть идеологической программы, посвященной трехсотлетию первой русской балалайки (к этой дате готовилась в те дни вся страна), а обычное сновидение. Было много путаницы, и, чтобы иметь возможность в любой момент выяснить, спит ли он или нет, Никита стал носить в кармане маленькую булавку с зеленой горошиной на конце; когда у него возникали сомнения, он колот себя в ляжку, и все выяснялось. Правда, появился новый страх, что ему может просто сниться, будто он колет себя булавкой, но эту мысль Никита отогнал как невыносимую.

Отношения с товарищами по институту у него заметно улучшились — комсорг Сережа Фирсов, который мог во сне выпить одиннадцать кружек пива подряд, признался, что раньше все считали Никиту психом или, во всяком случае, человеком со странностями, но вот наконец выяснилось, что он вполне свой. Сережа хотел добавить что-то еще, но у него заплелся язык, и он неожиданно стал говорить о сравнительных шансах Спартака и Салавата Юлаева в этом году, из чего Никита, которому в этот момент снилась Курская битва, понял, что приятель видит что-то римско-пугачевское и крайне запутанное.

Постепенно Никиту перестало удивлять, что спящие пассажиры метро ухитряются переругиваться, наступать друг другу на ноги и удерживать на весу тяжелые сумки, набитые рулонами туалетной бумаги и консервами из морской капусты, — всему этому он научился сам. Поразитель-

ным было другое. Многие из пассажиров, пробравшись к пустому месту на сиденье, немедленно роняли голову на грудь и засыпали — не так, как спали за минуту до этого, а глубже, полностью отъединяя себя от всего вокруг. Но, услышав сквозь сон название своей станции, они никогда не просыпались окончательно, а с потрясающей меткостью попадали в то самое состояние, из которого перед этим ныряли во временное небытие. Первый раз Никита заметил это, когда сидевший перед ним мужик в синем халате, храпевший на весь вагон, вдруг дернул головой, заложил проездным раскрытую на коленях книгу, закрыл глаза и погрузился в неподвижное неорганическое оцепенение; через некоторое время вагон сильно потрянуло, и мужик, еще раз дернув головой, захрапел опять. То же самое, как догадался Никита, происходило и с остальными, даже если они не храпели.

Дома он стал внимательно приглядываться к родителям и скоро заметил, что никак не может застать их в бодрствующем состоянии — они спали все время. Один только раз отец, сидя в кресле, откинул голову и увидел кошмар: завопил, замахал руками, вскочил и проснулся — это Никита понял по выражению его лица, — но тут же выругался, заснул опять и сел ближе к телевизору, где как раз синим цветом мерцало какое-то историческое совместное засыпание.

В другой раз мать уронила себе на ногу утюг, сильно ушиблась и обожглась и так жалобно всхлипывала во сне до приезда бригады «Скорой помощи», что Никита, не в силах вынести этого, заснул сам и проснулся только вечером, когда мать уже мирно клевала носом над «Одним днем Ивана Денисовича». Книгу принес заглянувший на запах бинтов и крови сосед, старик антропософ Максимка, с детства напоминавший Никите опустившегося библейского патриарха. Максимка, изредка посещаемый кем-нибудь из многочисленных уголовных внуков, тихо досыпал свой век в обществе нескольких умных котов да темной иконы, с которой он шепотом переругивался каждое утро.

После случая с утюгом начался новый этап Никитиных отношений с родителями. Оказалось, что все скандалы и непонимания ничего не стоит предотвратить, если засы-

пать в самом начале беседы. Однажды они с отцом долго обсуждали положение в стране; во время разговора Никита ерзал на стуле и вздрагивал, потому что ухмыляющийся Сенкевич, привязав его к мачте папирусной лодки, что-то говорил на ухо худому и злому Туру Хейердалу; лодка зате-рялась где-то в Атлантике, и Хейердал с Сенкевичем, не скрываясь, ходили в черных масонских шапочках.

— Умнеешь, — сказал отец, одним глазом глядя в по-толок, а другим на тумбочку для морской капусты, — только непонятно, кто тебе эту чушь наплел насчет шапо-чек. У них фартуки, длинные такие. — Отец показал ру-ками.

Вообще выяснилось: к какому бы роду человеческой де-ятельности ни пытался приспособить себя Никита, трудно-сти существовали только до того момента, когда он засы-пал, а потом, без всякого участия со своей стороны, он делал все необходимое, да так хорошо, что, проснув-шись, удивлялся. Это относилось не только к институту, но и к свободным часам, бывшим для этого довольно му-чительными из-за своей бессмысленной протяженности. Во сне Никита проглотил многие из книг, никак не подда-вавшихся до этого расшифровке, и даже научился читать газеты, чем окончательно успокоил родителей, нередко до этого с горечью шептавшихся по его поводу.

— У тебя прямо какое-то возрождение к жизни! — го-ворила ему мать, любившая торжественные обороты. Обычно эта фраза произносилась на кухне, во время при-готовления борща. В кастрюлю упала свекла, и Никите начинало сниться что-то из Мелвилла. В открытое окно влетал запах жареной морской капусты и коровье мычание валторн; музыка стихала, и радиоголос говорил:

— Сегодня в девятнадцать часов предлагаем вашему вниманию концерт мастеров искусств, являющийся как бы заключительным аккордом в торжественной симфонии, посвященной трехсотлетию первой русской балалайки!

Вечером семья собиралась у синего окна во вселенную. У Никитиных родителей была любимая семейная передача: «Камера смотрит в мир». Отец по-домашнему выходил к ней в своей полосатой серой пижаме и сворачивался в кресле; из кухни с тарелкой в руке подтягивалась мать, и

они часами заворуженно поворачивали полуприкрытые глаза за плывущими по экрану пейзажами.

— Если вы хотите отведать свежих бананов и запить их кокосовым молоком, — говорил телевизор, — если вы хотите насладиться шумом прибоя, теплым золотым песком и нежными лучами солнца, то...

Тут телевидение делало интригующую паузу.

— ...то это значит, что вы хотите побывать в бананово-лимоновом Сингапуре.

Никита посапывал рядом с родителями. Иногда до него долетало предомленное мутной призмой сна название передачи, и содержание сновидения задавалось экраном. Так, во время программы «Наш сад» Никите несколько раз привиделся основатель популярного полового извращения; на французской маркизе был клюквенный стрелецкий кафтан с золотыми галунами, и он звал с собой в какое-то женское общежитие. А иногда все смешивалось в полную неразбериху, и архимандрит Юлиан, неперемный участник любого уважающего себя «круглого стола», выглядывал из длинного «ЗИЛа» с мигалкой и говорил:

— До встречи в эфире!

При этом он испуганно тыкал пальцем вверх, в небесную пустоту, где одиноко стояла красная точка Антареса из передачи об Иване Бунине. Кто-нибудь из родителей переключал программу, Никита чуть приоткрывал глаза и видел на экране майора в голубом берете, стоящего в жарком горном ущелье. «Смерть? — улыбался майор. — Она страшна только сначала, в первые дни. По сути, служба здесь стала для нас хорошей школой — мы учили духов, духи учили нас...»

Щелкал выключатель, и Никита отправлялся в свою комнату спать под одеялом на кровати. Утром, услышав шаги в коридоре или звон будильника, он осторожно приоткрывал глаза, некоторое время привыкал к дневному свету, вставал и шел в ванную, где в его голову обычно приходили разные мысли и ночной сон уступал место первому из дневных.

«Как же все-таки одинок человек, — думал он, ворочая во рту зубной щеткой. — Ведь я даже не знаю, что снится моим родителям, или прохожим на улицах, или

дедушке Максиму. Хоть бы спросить кого, почему мы все спим».

И тут же он пугался, понимая, насколько эта тема невозможна для обсуждения. Ведь даже самые бесстыдные из книг, какие прочел Никита, ни словом об этом не упоминали; точно так же никто при нем не говорил об этом вслух. Никита догадывался, в чем дело, — это была не просто одна из недомолвок, а своеобразный шарнир, на котором поворачивались жизни людей, и если кто-то даже и кричал, что надо говорить всю как есть правду, то делал это не потому, что очень уж ненавидел недомолвки, а потому, что к этому его вынуждала главная недомолвка существования. Однажды, стоя в медленной очереди за морской капустой, заполнившей пол-универсама, Никита увидел даже особый сон на эту тему.

Он находился в каком-то сводчатом коридоре, потолок которого был украшен лепными виноградными кистями и курносими женскими профилями, а по полу шла красная ковровая дорожка. Никита пошел по коридору, несколько раз повернул и вдруг оказался в аппендиксе, кончающемся закрашенным окном; одна из дверей короткого коридорного тупика открылась, оттуда выглянул пухлый мужчина в темном костюме и, сделав счастливые глаза, поманил Никиту рукой. Никита вошел.

В центре комнаты за большим круглым столом сидели человек десять — пятнадцать, все в костюмах, с галстуками, и все довольно похожие друг на друга — лысоватые, пожилые, с тенью одной какой-то невыразимой думы на лицах. На Никиту не обратили внимания.

— Ни тени сомнения! — говорил выступающий. — Надо сказать всю правду. Люди устали.

— А почему бы и нет? Конечно! — отозвались несколько бодрых голосов, и заговорили все сразу; началась неразбериха, шум, пока тот, кто говорил в самом начале, не хлопнул изо всех сил по столу папкой с надписью «ВРПО. Дальрыба» (надпись, как сообразил Никита, была на самом деле вовсе не на папке, а на банке морской капусты из другого сна). Удар пришелся всей плоскостью, и звук вышел тихим, но очень долгим и увесистым, похожим на звон колокола с глушителем. Все стихло.

— Понятно, — вновь заговорил хлопнувший, — надо сначала выяснить, что из всего этого выйдет. Попробуем составить комиссию, скажем, в составе трех человек.

— Зачем? — спросила девушка в белом халате.

Никита понял, что она здесь из-за него, и протянул ей деньги за свои пять банок. Девушка издала ртом звук, похожий на трещащее жужжание кассового аппарата, но на Никиту даже не поглядела.

— А затем, — ответил ей мужчина, хоть Никита уже миновал кассу и шел теперь к дверям универсама, — затем, что те, кто войдет в эту комиссию, сначала попробуют сказать всю-всю правду друг другу.

Очень быстро договорились насчет членов комиссии — ими стали сам оратор и двое мужчин в синих тройках и роговых очках, похожие как родные братья: даже перхоти у обоих было больше на левом плече. (Разумеется, Никита отлично знал, что и перхоть на плечах, и простонародный выговор некоторых слов не настоящие и являются просто проявлениями принятой в таких снах эстетики.) Остальные вышли в коридор, где светило солнце, дул ветер и гудели машины, и, пока Никита спускался в подземный переход, дверь в комнату заперли, а чтоб никто не подглядывал, замочную скважину замазали икрой с бутерброда.

Стали ждать. Никита миновал памятник противотанковой пушке, магазин «Табак» и дошел уже до огромной матерной надписи на стене панельного Дворца бракосочетаний — это значило, что до дома еще пять минут ходьбы, — когда из комнаты, откуда все это время доносились тихие неразборчивые голоса, вдруг послышалось какое-то бульканье и треск, вслед за чем наступила полная тишина. Вся правда, видимо, была сказана, и кто-то постучал в дверь.

— Товарищи! Как дела?

Ответа не было. В маленькой толкучке у дверей начали переглядываться, и какой-то загорелый, европейского вида мужчина по ошибке переглянулся с Никитой, но сразу же отвел глаза и раздраженно что-то пробормотал.

— Ломаем! — решили наконец в коридоре.

Дверь вылетела с пятого или с шестого удара, как раз когда Никита входил в свой подъезд, после чего он вместе

с ломавшими дверь очутился в совершенно пустой комнате, на полу которой расплзлась большая лужа. Никита сперва решил, что это лужа, которую он видел в лифте, но, сравнивая их контуры, убедился, что это не так. Хотя длинные языки мочи еще ползли к стенам, ни под столом, ни за шторами никого не было, а на стульях горбились и обвисали три пустых, обгорелых изнутри костюма. Возле ножки опрокинутого стула блестели треснутые роговые очки.

— Вот она, правда, — прошептал кто-то за спиной.

Сон, уже порядком надоевший, никак не кончался, и Никита полез в карман за булавкой. Как назло, ее там не было. Войдя в свою квартиру, он швырнул на пол сумку с консервными банками, открыл шкаф и стал шарить по карманам всех висящих там штанов. Тем временем все вышли из комнаты в коридор и стали тревожно шептаться; опять загорелый тип чуть было не шепнул что-то Никите, но вовремя остановился. Решили, что надо срочно куда-то звонить, и загорелый, которому это было доверено, уже двинулся к телефону, как вдруг все взорвались ликующими криками — впереди, в коридоре, показались исчезнувшие трое. Они были в синих спортивных трусах и кроссовках, румяные и бодрые, как из бани.

— Вот так! — закричал, махая рукой, тот, что говорил в самом начале сна. — Это, конечно, шутка, но мы хотели показать некоторым нетерпеливым товарищам...

Со зла Никита уколол себя булавкой несколько раз сильнее, чем требовалось, и что случилось дальше, осталось неизвестным.

Подняв сумку, он отнес ее на кухню и подошел к окну. На улице был летний вечер, шли и весело переговаривались о чем-то люди, гудели машины, и все было так, как если бы любой из прохожих действительно шел сейчас под Никитиными окнами, а не находился в каком-то только ему ведомом измерении. Глядя на крохотные фигурки людей, Никита с тоской думал, что до сих пор не знает ни содержания их сновидений, ни отношения, в котором для них находятся сны и явь, и что ему совсем некому пожаловаться на повторяющийся кошмар или поговорить о снах, которые ему нравятся. Ему вдруг так захотелось пойти на

улицу и с кем-нибудь — совершенно не важно с кем — заговорить обо всем этом, что он понял: как ни дик такой замысел, сегодня он именно это и сделает.

Минут через сорок он уже шел от одной из окраинных станций метро по поднимающейся к горизонту пустой улице, похожей на половинку разрезанной надвое липовой аллеи, — там, где должен был расти второй ряд деревьев, проходила широкая асфальтовая дорога. Он приехал сюда потому, что здесь были тихие, почти не посещаемые милицией патрулями места. Это было важно — Никита знал, что от спящего милиционера можно убежать только во сне, а адреналин в крови — плохое снотворное. Никита шел вверх, покалывая себе ногу и любясь огромными, похожими на застывшие фонтаны зеленых чернил липами; он так загляделся на них, что чуть не упустил своего первого клиента.

Это был старичок с несколькими разноцветными значками на ветхом коричневом пиджаке, вышедший, вероятно, на обычный вечерний моцион. Он вышмыгнул из кустов, покосился на Никиту и пошел вверх. Никита догнал его и пошел рядом. Старичок время от времени поднимал руку и с силой проводил вытянутым большим пальцем по воздуху.

— Чего это вы? — помолчав, спросил Никита.

— Клопы, — отозвался старик.

— Какие клопы? — не понял Никита.

— Обыкновенные, — сказал старик и вздохнул. — Из верхней квартиры. Тут все стены дырявые.

— Надо дезинсекталем, — сказал Никита.

— Ничего. Я пальцем за ночь больше передавлю, чем вся твоя химия. Знаешь, как Утесов поет? «Мы врагов...»

Тут он замолчал, и Никита так и не узнал про клопов и Утесова. Несколько метров они прошли в тишине.

— Хряп, — вдруг сказал старик. — Хряп.

— Это клопы лопаются? — догадался Никита.

— Не, — сказал старик и улыбнулся. — Клопы тихо мрут. А это икра.

— Какая икра?

— А вот поразмысли, — оживился старик, и его глаза

заблестели хитроватым суворовским маразмом, — видишь киоск?

На углу и правда стоял запертый киоск «Союзпечати».

— Вижу, — сказал Никита.

— Видишь. Хорошо. А теперь представь, что тут косая такая будка стоит. И в ней икру продают. Ты такой икры не видел и не увидишь никогда — каждое зернышко с виноградину, понял? И вот продавщица, ленивая такая баба, взвешивает тебе полкило, совком берет из бочки — и на весы. Так она пока тебе твои полкило положит, на землю — хряп! — столько же уронит. Понял?

Глаза старика погасли. Он поглядел по сторонам, плюнул и пошел через улицу, иногда обходя что-то невидимое, возможно лежащие на асфальте его сна кучки икры.

«Нет, — решил Никита, — надо прямо спрашивать. Черт знает, кто о чем говорит. А если милицию позовут, убегу...»

На улице уже было довольно темно. Зажглись фонари, работала из них половина, а из горевших большинство испускало слабое фиолетовое сияние, которое не столько освещало, сколько окрашивало асфальт и деревья, придавая улице характер строгого загробного пейзажа. Никита сел на скамейку под липами и замер.

Через несколько минут на краю видимой полусферы сумрака появилось что-то поскрипывающее и попискивающее, состоящее из темных и светлых пятен. Оно приближалось, двигаясь с короткими остановками, во время которых раскачивалось взад-вперед, издавая утешительный и фальшивый шепот. Приглядевшись, Никита различил женщину лет тридцати в темной куртке и катящуюся перед ней светлую коляску. Было совершенно ясно, что женщина спит: время от времени она поправляла у головы невидимую подушку, притворяясь, по обычной женской привычке лицемерить даже в одиночестве, что приводит в порядок свои пегие волосы.

Никита поднялся с лавки. Женщина вздрогнула, но не проснулась.

— Простите, — начал Никита, злясь на собственное смущение, — можно задать вам один личный вопрос?

Женщина задрала на лоб выщипанные в ниточку брови

и растянула широкие губы к ушам, что, как понял Никита, означало вежливое недоумение.

— Вопрос? — переспросила она низким голосом. — Ну давай.

— Скажите, что вам сейчас снится?

Никита сделал идиотский жест рукой, обводя все вокруг, и окончательно смутился, почувствовав, что в его голосе прозвучала какая-то совершенно неуместная игривость. Женщина засмеялась воркующим голубиным смехом.

— Дурачок, — ласково сказала она, — мне не такие нравятся.

— А какие? — спросил Никита.

— С овчарками, глупыш. С большими овчарками.

«Издевается», — подумал Никита.

— Вы только поймите меня правильно, — сказал он. — Я и сам понимаю, что перехожу, так сказать, границу...

Женщина тихо вскрикнула и, отведя от него глаза, пошла быстрее.

— Понимаете, — волнуясь, продолжал Никита, — я знаю, что об этом нормальные люди не говорят. Может, я ненормальный. Но неужели вам самой никогда не хотелось с кем-нибудь это обсудить?

— Что обсудить? — переспросила женщина, словно пытаясь выиграть время в разговоре с сумасшедшим. Она уже почти бежала, зорко вглядываясь во тьму; коляска подпрыгивала на неровностях асфальта, и внутри что-то тяжело и безмолвно билось в клеенчатые борта.

— Именно это и обсудить, — ответил Никита, переходя на трюсу. — Вот, например, сегодня. Включаю телевизор, а там... Не знаю, что страшнее — зал или президиум. Целый час смотрел и ничего нового не увидел, только, может, пара незнакомых поз. Один в тракторе спит, другой — на орбитальной станции, третий во сне про спорт рассказывает, а эти, которые с трамплина прыгают, тоже все спят. И выходит, что поговорить мне не с кем...

Женщина лихорадочно поправила подушку и перешла на откровенный бег. Никита, стараясь удержать сбиваемое разговором дыхание, побежал рядом — впереди стремительно росла зеленая звезда светофора.

— Вот, например, мы с вами... Слушайте, давайте я вас булавкой уколою! Как я не догадался... Хотите?

Женщина вылетела на перекресток, остановилась, да так резко, что в коляске что-то увесисто сместилось, чуть не прорвав переднюю стенку, а Никита, прежде чем затормозить, пролетел еще несколько метров.

— Помогите! — заорала женщина.

Как нарочно, метрах в пяти на боковой улице стояли двое с повязками на руках, в одинаковых белых куртках, делавших их похожими на ангелов. В первый момент они отпрянули назад, но, увидев, что Никита стоит под светофором и не проявляет никакой враждебности, осмелели и медленно приблизились. Один вступил в разговор с женщиной, которая горячо запричитала, махая руками и все время повторяя слова «пристал» и «маньяк», а второй подошел к Никите.

— Гуляешь? — дружелюбно спросил он.

— Типа того, — ответил Никита.

Дружинник был ниже его на голову и носил темные очки. (Никита давно заметил, что многим трудно спать при свете с открытыми глазами.) Дружинник обернулся к напарнику, который сочувственно кивал женщине головой и записывал что-то на бумажку. Наконец женщина выговорила, победоносно поглядела на Никиту, поправила подушку, развернула свою коляску и двинула ее вверх по улице. Напарник подошел. Это был мужчина лет сорока с густыми усами, в надвинутой на самые уши — чтобы за ночь не растрепалась прическа — кепке и с сумкой на плече.

— Точняк, — сказал он напарнику, — она.

— А я сразу понял, — сказал очкарик и повернулся к Никите: — Тебя как звать?

Никита представился.

— Я Гаврила, — сказал очкарик, — а это Михаил. Ты не пугайся, это местная дура. Нам на инструктаже про нее каждый раз напоминают. Ее в детстве два пограничника изнасиловали, прямо в кинотеатре, во время фильма «Ко мне, Мухтар!». С тех пор она и тронулась. У нее в коляске бюст Дзержинского в пеленках. Она каждый вечер в отделение звонит, жалуется, что ее трахнуть хотят, а сама к

собачникам пристаёт, хочет, чтобы на нее овчарку спустили...

— Я заметил, — сказал Никита, — она странная.

— Ну и Бог с ней. Ты пить будешь?

Никита подумал.

— Буду, — сказал он.

Устроились на лавке, там же, где за несколько минут до этого сидел, размышляя, Никита. Михаил вынул из сумки бутылку экспортной «Особой московской», брелоком в виде маленького меча отделил латунную пробку от фиксирующего кольца и свинтил ее одним замысловатым движением кисти. Он, видимо, был из тех еще встречающихся на Руси самородков, которые открывают пиво глазами и ударом крепкой ладони вышибают пробку из бутылки болгарского сушняка сразу наполовину, так, что уже несложно ухватиться крепкими белыми зубами.

«А может, их спросить? — подумал Никита, принимая тяжелый картонный стаканчик и бутерброд с морской капустой. — Хотя страшно. Все-таки двое, а этот Михаил — здоровый...»

Выдохнув воздух, Никита уставился в сложное переплетение теней на асфальте под ногами. С каждой волной теплого вечернего ветра узор менялся: то были ясно видны какие-то рожи и знамена, то вдруг появлялись контуры Южной Америки, то возникали три адидасовские полосы от висящих над деревом проводов, то казалось, что все это просто тени от просвеченной фонарем листвы.

Никита поднес стакан к губам. Призванная представлять страну за рубежом жидкость, решив, видимо, что дело происходит где-то в западном полушарии, проскользнула внутрь с удивительной мягкостью и тактом.

— Кстати, где это мы сейчас? — спросил Никита.

— Маршрут номер три, — отозвался очкарик Гаврила, принимая стакан.

— Ну и пенек же ты, — засмеялся Михаил. — Неужто если мент в опорном пункте, чего-то там на схеме напишет, так это уже и впрямь будет «маршрут номер три»? Это бульвар Степана Разина.

Гаврила покачал пустым стаканом, ткнул почему-то пальцем в Никиту и спросил:

— Добьем?

— Ты как? — серьезно спросил Никиту Михаил, подбрасывая на ладони пробку.

— Да мне все равно, — сказал Никита.

— Ну тогда...

Второй круг стакан совершил в тишине.

— Вот и все, — задумчиво сказал Михаил. — Ничего другого людям пока не светит.

Он размахнулся и хотел уже зашвырнуть бутылку в кусты, но Никита успел поймать его за рукав.

— Дай поглядеть, — сказал он.

Михаил отдал ему бутылку, и Никита заметил на его кисти тщательно выполненную татуировку, кажется, всадника, вонзающего копьё во что-то под ногами коня, но Михаил сразу спрятал руку в карман, а просить разрешения поглядеть на татуировку было неудобно. Никита уставился на бутылку. Этикетка была такой же, как и на «Особой московской» внутреннего разлива, только надпись была сделана латинскими буквами и с белого поля глядела похожая на глаз эмблема «Союзплодоимпорта» — стилизованный земной шарик с крупными буквами «СПИ».

— Пора, — вдруг сказал Михаил, поглядев на часы.

— Пора, — эхом повторил за ним Гаврила.

— Пора, — зачем-то произнес вслед за ними Никита.

— Надень повязку, — сказал Михаил, — а то капитан развоняется.

Никита полез в карман, вынул мятую повязку и продел в нее руку; тесемки были уже связаны. Слово «Дружинник» было перевернуто, но Никита не стал возиться: все равно, подумал он, ненадолго.

Встав с лавки, он почувствовал, что прилично закошел, и даже испугался на секунду, что это заметят в опорном пункте, но тут же вспомнил, в каком состоянии к концу дежурства был в прошлый раз сам капитан, и успокоился.

Втроем молча дошли до светофора и повернули на боковую улицу, к опорному пункту, до которого было минут десять ходьбы.

То ли дело было в водке, то ли в чем-то другом, но Никита давно не ощущал такой легкости во всем теле — казалось, он не идет, а несется ввысь, в небо, качаясь на воздушных струях.

Михаил и Гаврила шли по бокам, с пьяной строгостью оглядывая улицу. Навстречу время от времени попадались компании. Сначала какие-то легкомысленные девочки, одна из которых подмигнула Никите, потом пара явных уголовников, потом несколько человек, прямо на улице поедавших торт «Птичье молоко», и другие, уже совсем непонятные люди.

«Хорошо, — подумал Никита, — что втроем. А то бы на части разорвали — вон какие хари...»

Думалось с трудом. В голове, как неоновые трубки, весело вспыхивали и гасли слова детской песни о том, что лучше всего на свете шагать вместе по просторам и хором напевать. Смысла слов Никита не понимал, но это его не беспокоило.

В опорном пункте оказалось, что все уже разошлись. Дежурный сказал, что можно было возвращаться еще час назад. Пока Никита на ощупь искал свою сумку в темной комнате, где обычно проводили инструктаж и делили людей по маршрутам, Михаил и Гаврила ушли — им надо было успеть на электричку.

Сдав повязку, Никита тоже сделал вид, что спешит: ему совершенно не хотелось идти к метро вместе с капитаном и говорить о Ельцине. Выйдя на улицу, он почувствовал, что от хорошего настроения ничего не осталось. Подняв ворот, он направился к метро, обдумывая завтрашний день. Заказ с двумя батонами колбасы, звонок в Уренгой, литр водки на праздники (надо было спросить у случайных спутников по дежурству, где они брали «Особую», но теперь уже поздно), забрать Аннушку из садика, потому что жена идет к гинекологу — дура, даже тут у нее что-то не ладится, — в общем, взять у Германа Парменыча отгул на полдня за сегодняшний выход.

Вокруг уже был вагон метро, и беременная баба в упор сверлила глазами из-под низко опущенного платка его лысину; он все глядел в газету, пока сволочи не похлопали по плечу, тогда пришлось встать и уступить, но был уже

перегон перед его станцией. Он подошел к дверям и поглядел на свое усталое морщинистое лицо в стекле, за которым неслись переплетенные электрические змеи. Вдруг лицо исчезло, и на его месте появилась черная пустота с далекими огнями: туннель кончился, и поезд взлетел на мост над замерзшей рекой. Стала видна слава советскому человеку на крыше высокого дома, освещенная скрещенными голубыми лучами.

Через минуту поезд опять нырнул в туннель, и в стекле возникли жестикулирующие алкаши, девушка со спицами, довязывающая что-то синее под схемой метрополитена, школьник с бледным лицом, мечтающий над фотографиями из учебника истории, полковник в папаше, непобедимо сжимающий чемодан с номерным замком, и еще были видны выведенные чьим-то пальцем с той стороны стекла печатные буквы «ДА». Потом впереди появилась длинная и пустая улица, занесенная снегом. Что-то кололо ногу. Он достал из кармана неизвестно как там оказавшуюся булавку с зеленой горошиной на конце, кинул ее в сугроб и поднял глаза. Небо в просвете между домами было высоким и чистым, и он очень удивился, различив среди мелкой звездной икры совок Большой Медведицы — почему-то он был уверен, что тот виден только летом.

Теперь, когда ее легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре, и на моих коленях лежит тяжелый, как силикатный кирпич, том Бунина, я иногда отрываю взгляд от страницы и смотрю на стену, где висит ее случайно сохранившийся снимок.

Она была намного моложе меня; судьба свела нас случайно, и я не считал, что ее привязанность ко мне вызвана моими достоинствами; скорее, я был для нее, если воспользоваться термином из физиологии, просто раздражителем, вызывавшим рефлексы и реакции, которые остались бы неизменными, будь на моем месте физик-фундаменталист в академической ермолке, продажный депутат или любой другой, готовый оценить ее смуглую южную прелесть и смягчить ей тяжесть существования вдали от древней родины, в голодной северной стране, где она по недоразумению родилась. Когда она прятала голову у меня на груди, я медленно проводил пальцами по ее шее и представлял себе другую ладонь на том же нежном изгибе — тонкопалую и бледную, с маленьким черепом на кольце, или непристойно волосатую, в синих якорях и датах, так же медленно сползающую вниз, — и чувствовал, что эта перемена совсем не затронула бы ее души. Я никогда не называл ее полным именем — слово «Вероника» для меня было ботаническим термином и вызывало в памяти удушливо пахнущие белые цветы с оставшейся далеко в детстве южной клумбы. Я обходился последним слогом, что было ей безразлично; чутья к музыке речи у нее не было совсем, а о своей тезке-богине, безголовой и крылатой, она даже не знала.

Мои друзья невзлюбили ее сразу. Возможно, они догадывались, что великодушные, с которым они — пусть даже на несколько минут — принимали ее в свой круг, оставалось просто незамеченным. Но требовать от Ники иного было бы так же глупо, как ожидать от идущего по асфальту пешехода чувства признательности к когда-то проложившим дорогу рабочим; для нее окружающие были чем-то вроде говорящих шкафов, которые по непостижимым причинам появлялись рядом с ней и по таким же непостижимым причинам исчезали. Ника не интересовалась чужими чувствами, но инстинктивно угадывала отношение к себе — и, когда ко мне приходили, она чаще всего вставала и шла на кухню. Внешне мои знакомые не были с ней грубы, но не скрывали пренебрежения, когда ее не было рядом; никто из них, разумеется, не считал ее ровней.

— Что ж твоя Ника на меня и глядеть не хочет? — спрашивал меня один из них с усмешечкой.

Ему не приходило в голову, что именно так оно и есть; со странной наивностью он полагал, что в глубине Никиной души ему отведена целая галерея.

— Ты совершенно не умеешь их дрессировать, — говорил другой в приступе пьяной задушевности, — у меня она шелковой была бы через неделю.

Я знал, что он отлично разбирается в предмете, потому что жена дрессирует его уже четвертый год, но меньше всего в жизни мне хотелось стать чьим-то воспитателем.

Не то чтобы Ника была равнодушна к удобствам — она с патологическим постоянством оказывалась в том самом кресле, куда мне хотелось сесть, — но предметы существовали для нее, только пока она ими пользовалась, а потом исчезали. Наверное, поэтому у нее не было практически ничего своего; я иногда думал, что именно такой тип и пытались вывести коммунисты древности, не имея понятия, как будет выглядеть результат их усилий. С чужими чувствами она не считалась, но не из-за скверного склада характера, а оттого, что часто не догадывалась о существовании этих чувств. Когда она случайно разбила старинную сахарницу кузнецовского фарфора, стоявшую на шкафу, и я через час после этого неожиданно для себя дал ей поше-

чину, Ника просто не поняла, за что ее ударили, — она выскочила вон и, когда я пришел извиняться, молча отвернулась к стене. Для Ники сахарница была просто усеченным конусом из блестящего материала, набитым бу-мажками; для меня — чем-то вроде копилки, где храни-лись собранные за всю жизнь доказательства реальности бытия: страничка из давно не существующей записной книжки с телефоном, по которому я так и не позвонил; билет в «Иллюзион» с неоторванным контролем; малень-кая фотография и несколько незаполненных аптечных ре-цептов. Мне было стыдно перед Никой, а извиняться было глупо; я не знал, что делать, и оттого говорил вити-евато и путано:

— Ника, не сердись. Хлам имеет над человеком стран-ную власть. Выкинуть какие-нибудь треснувшие очки озна-чает признать, что целый мир, увиденный сквозь них, на-всегда остался за спиной, или, наоборот и то же самое, оказался впереди, в царстве надвигающегося небытия... Ника, если б ты меня понимала... Обломки прошлого ста-новятся подобием якорей, привязывающих душу к уже не существующему, из чего видно, что нет и того, что обыч-но понимают под душой, потому что...

Я из-под ладони глянул на нее и увидел, как она зева-ет. Бог знает, о чем она думала, но мои слова не прони-кали в ее маленькую красивую голову — с таким же успе-хом я мог бы говорить с диваном, на котором она сидела.

В тот вечер я был с Никой особенно нежен, и все же меня не покидало чувство, что мои руки, скользящие по ее телу, не многим отличаются для нее от веток, которые касаются ее боков во время наших совместных прогулок по лесу — тогда мы еще ходили на прогулки вдвоем.

Мы были рядом каждый день, но у меня хватило трез-вости понять, что по-настоящему мы не станем близки ни-когда. Она даже не догадывалась, что в тот самый мо-мент, когда она прижимается ко мне своим по-кошачьи гибким телом, я могу находиться в совсем другом месте, полностью забыв о ее присутствии. В сущности, она была очень пошла, и ее запросы были чисто физиологически-ми — набить брюхо, выспаться и получить необходимое

для хорошего пищеварения количество ласки. Она часами дремала у телевизора, почти не глядя на экран, помногу ела — кстати, предпочитала жирную пищу — и очень любила спать; ни разу я не помню ее с книгой. Но природное изящество и юность придавали всем ее проявлениям какую-то иллюзорную одухотворенность; в ее животном — если вдуматься — бытии был отблеск высшей гармонии, естественное дыхание того, за чем безнадежно гонится искусство, и мне начинало казаться, что по-настоящему красива и осмысленна именно ее простая судьба, а все, на чем я основываю собственную жизнь, — просто выдумки, да еще и чужие. Одно время я мечтал узнать, что она обо мне думает, но добиваться от нее ответа было бесполезно, а дневника, который я мог бы украдкой прочесть, она не вела.

И вдруг я заметил, что меня по-настоящему интересует ее мир. У нее была привычка подолгу просиживать у окна, глядя вниз; однажды я остановился за ее спиной, положил ладонь ей на затылок — она чуть вздрогнула, но не отстранилась — и попытался угадать, на что она смотрит и чем для нее является то, что она видит.

Перед нами был обычный московский двор — песочница с парой ковыряющихся детей, турник, на котором выбивали ковры, каркас чума, сваренный из красных металлических труб, бревенчатая избушка для детей, помойки, вороны и мачта фонаря. Больше всего меня угнетал этот красный каркас — наверно потому, что когда-то в детстве, в серый зимний день, моя душа хрустнула под тяжестью огромного гэдээровского альбома, посвященного давно исчезнувшей культуре охотников за мамонтами. Это была удивительно устойчивая цивилизация, существовавшая, совершенно не изменяясь, несколько тысяч лет где-то в Сибири — люди жили в небольших, обтянутых мамонтовыми шкурами полукруглых домиках, каркас которых точь-в-точь повторял геометрию нынешних красных сооружений на детских площадках, только выполнялся не из железных труб, а из связанных бивней мамонта. В альбоме жизнь охотников — это романтическое слово, кстати, совершенно не подходит к немытым ублюдкам, раз в

месяц заманивавшим большое доверчивое животное в яму с колом на дне, — была изображена очень подробно, и я с удивлением узнал многие мелкие бытовые детали, пейзажи и лица; тут же я сделал первое в своей жизни логическое умозаключение, что художник, без всякого сомнения, побывал в советском плену. С тех пор эти красные решетчатые полусферы, возвышающиеся почти в каждом дворе, стали казаться мне эхом породившей нас культуры; другим ее эхом были маленькие стада фарфоровых мамонтов, из тьмы тысячелетий бредущие в будущее по миллионам советских буфетов. Есть у нас и другие предки, думал я, вот, например, трипольцы — не от слова «Триполи», а от «Триполье», — которые четыре, что ли, тысячи лет назад занимались земледелием и скотоводством, а в свободное время вырезали из камня маленьких голых баб с очень толстым задом, — этих баб, «Венер», как их сейчас называют, осталось очень много — видно, они были в красном углу каждого дома. Кроме этого, про трипольцев известно, что их бревенчатые колхозы имели очень строгую планировку с широкой главной улицей, а дома в поселках были совершенно одинаковы. На детской площадке, которую разглядывали мы с Никой, от этой культуры остался бревенчатый домик, строго ориентированный по сторонам света, где уже час сидела вялая девочка в резиновых сапогах — сама она была не видна, виднелись только покачивающиеся нежно-голубые голенища.

Господи, думал я, обнимая Нику, а сколько я мог бы сказать, к примеру, о песочнице? А о помойке? А о фонаре? Но все это будет моим миром, от которого я порядочно устал и из которого мне некуда выбраться, потому что умственные построения, как мухи, облепят изображение любого предмета на сетчатке моих глаз. А Ника была совершенно свободна от унизительной необходимости соотносить пламя над мусорным баком с московским пожаром 1737 года или связывать полуотрыжку-полукарканье сытой универсамовской вороны с древнеримской приметой, упомянутой в «Юлиане Отступнике». Но что же тогда такое ее душа?

Мой кратковременный интерес к ее внутренней жизни, в которую я не мог проникнуть, несмотря на то что сама

Ника полностью была в моей власти, объяснялся, видимо, моим стремлением измениться, избавиться от постоянно грохочущих в голове мыслей, успевших накатать колею, из которой они уже не выходили. В сущности, со мной уже давно не происходило ничего нового, и я надеялся, находясь рядом с Никой, увидеть какие-то незнакомые способы чувствовать и жить. Когда я сознался себе, что, глядя в окно, она видит попросту то, что там находится, и что ее рассудок совершенно не склонен к путешествиям по прошлому и будущему, а довольствуется настоящим, я уже понимал, что имею дело не с реально существующей Никой, а с набором собственных мыслей; что передо мной, как это всегда было и будет, оказались мои представления, принявшие ее форму, а сама Ника, сидящая в полуметре от меня, недоступна, как вершина Спасской башни. И я снова ощутил на своих плечах невесомый, но невыносимый груз одиночества.

— Видишь ли, Ника, — сказал я, отходя в сторону, — мне совершенно наплевать, зачем ты глядишь во двор и что ты там видишь.

Она посмотрела на меня и опять повернулась к окну — видно, она успела привыкнуть к моим выходкам. Кроме того — хоть она никогда не призналась бы в этом, — ей было совершенно наплевать на все, что я говорю.

Из одной крайности я бросился в другую. Убедившись, что загадочность ее зеленоватых глаз — явление чисто оптическое, я решил, что знаю про нее все, и моя привязанность разбавилась легким презрением, которого я почти не скрывал, считая, что она его не заметит. Но вскоре я почувствовал, что она тяготится замкнутостью нашей жизни, становится нервной и обидчивой.

Была весна, а я почти все время сидел дома, и ей приходилось проводить время рядом, а за окном уже зеленела трава и сквозь серую пленку похожих на туман облаков, затянувших все небо, мерцало размытое, вдвое больше обычного, солнце. Я не помню, когда она первый раз пошла гулять без меня, но помню свои чувства по этому поводу — я отпустил ее без особого волнения, отбросив вялую мысль о том, что надо бы пойти вместе.

Не то чтобы я стал тяготиться ее обществом — просто я постепенно начал относиться к ней так же, как она с самого начала относилась ко мне — как к табурету, кактусу на подоконнике или круглому облаку за окном. Обычно, чтобы сохранить у себя иллюзию прежней заботы, я провожал ее до двери на лестничную клетку, бормотал ей вслед что-то неразборчиво-напутственное и шел назад; она никогда не спускалась в лифте, а неслышными быстрыми шагами сбегала по лестнице вниз — я думаю, что в этом не присутствовало ни тени спортивного кокетства; она действительно была так юна и полна сил, что ей легче было три минуты мчаться по ступеням, почти их не касаясь, чем тратить это же время на ожидание жужжащего гробоподобного ящика, залитого тревожным желтым светом, воняющего мочой и славящего группу «Depeche Mode». (Кстати сказать, Ника была на редкость равнодушна и к этой группе, и к року вообще — единственное, что на моей памяти вызвало у нее интерес, — это то место на «Animals», где сквозь облака знакомого дыма военной трехтонкой катит к линии фронта далекий синтезатор, и задумчиво лают еще не прикормленные Борисом Гребенщиковым электрические псы.)

Меня интересовало, куда она ходит — хоть и не настолько, чтобы я стал за ней шпионить, но в достаточной степени, чтобы заставить меня выходить на балкон с биноклем в руках через несколько минут после ее ухода; перед самым собой я никогда не делал вид, что то, чем я занят, порядочно. Ее простые маршруты шли по иссеченной дорожками аллее, мимо скамеек, ларька с напитками и спирального подъема в стол заказов; потом она поворачивала за угол высокой зеленой шестнадцатизатяжки — туда, где за долгим пыльным пустырем начинался лес. Дальше я терял ее, и — Господи! — как же мне было жаль, что я не мог на несколько секунд стать ею и увидеть по-новому все то, что уже стало для меня незаметным. Уже потом я понял, что мне хотелось просто перестать быть собой, то есть перестать быть; тоска по новому — это одна из самых обычных форм, которые приобретает в нашей стране суицидальный комплекс.

Есть такая английская пословица — «У каждого в шка-

фу спрятан свой скелет». Что-то мешает правильно, в общем, мыслящим англичанам понять окончательную истину. Ужаснее всего то, что этот скелет «свой» не в смысле имущественного права или необходимости его прятать, а в смысле «свой собственный», и шкаф здесь — эвфемизм тела, из которого этот скелет когда-нибудь выпадет по той причине, что шкаф исчезнет. Мне никогда не приходило в голову, что в том шкафу, который я называл Никой, тоже есть скелет; я ни разу не представлял ее возможной смерти. Все в ней было противоположно смыслу этого слова; она была сгущенной жизнью, как бывает сгущенное молоко (однажды, ледяным зимним вечером, она совершенно голой вышла на покрытый снегом балкон, и вдруг на перила опустился голубь — и Ника присела, словно боясь его спугнуть, и замерла; прошла минута; я, любуясь ее смуглой спиной, вдруг с изумлением понял, что она не чувствует холода или просто забыла о нем). Поэтому ее смерть не произвела на меня особого впечатления. Она просто не попала в связанную с чувствами часть сознания и не стала для меня эмоциональным фактом; возможно, это было своеобразной психической реакцией на то, что причиной всему оказался мой поступок. Я не убивал ее, понятно, своей рукой, но это я толкнул невидимую вагонетку судьбы, которая настигла ее через много дней; это я был виновен в том, что началась длинная цепь событий, последним из которых стала ее гибель. Патриот со слюнявой пастью и заросшим шерстью покатым лбом — последнее, что она увидела в жизни, — стал конкретным воплощением ее смерти, вот и все. Глупо искать виноватого; каждый приговор сам находит подходящего палача, и каждый из нас — соучастник массы убийств; в мире все переплетено, и причинно-следственные связи невозможны. Кто знает, не обрекаем ли мы на голод детей Занзибара, уступая место в метро какой-нибудь злобной старухе? Область нашего предвидения и ответственности слишком узка, и все причины в конечном счете уходят в неизвестность, к сотворению мира.

Был мартовский день, но погода стояла самая что ни на есть ленинская: за окном висел ноябрьский чернобуш-

латный туман, сквозь который еле просвечивал ржавый зигхайль подъемного крана; на близкой стройке районной авроркой побухивал агрегат для забивания свай. Когда свая уходила в землю и грохот стихал, в тумане рождались пьяные голоса и мат, причем особо выделялся один высокий вибрирующий тенор. Потом что-то начинало позвякивать — это волокли новую рельсу. И удары раздавались опять.

Когда стемнело, стало немного легче; я сел в кресло напротив растянувшейся на диване Ники и стал листать Гайто Газданова. У меня была привычка читать вслух, и то, что она меня не слушала, никогда меня не задевало. Единственное, что я позволял себе, — это чуть выделять некоторые места интонацией: «Ее нельзя было назвать скрытной; но длительное знакомство или тесная душевная близость были необходимы, чтобы узнать, как до сих пор проходила ее жизнь, что она любит, чего она не любит, что ее интересует, что ей кажется ценным в людях, с которыми она сталкивается. Мне не приходилось слышать от нее высказываний, которые бы ее лично характеризовали, хотя я говорил с ней на самые разные темы; она обычно молча слушала. За много недель я узнал о ней чуть больше, чем в первые дни. Вместе с тем у нее не было никаких причин скрывать от меня что бы то ни было, это было просто следствие ее природной сдержанности, которая не могла не казаться мне странной. Когда я ее спрашивал о чем-нибудь, она не хотела отвечать, и я этому неизменно удивлялся...»

Я неизменно удивлялся другому — почти все книги, почти все стихи были посвящены, если разобраться, Нике — как бы ее ни звали и какой бы облик она ни принимала; чем умнее и тоньше был художник, тем неразрешимее и мистичнее становилась ее загадка; лучшие силы лучших душ уходили на штурм этой безмолвной зеленоглазой непостижимости, и все расшибалось о невидимую или просто несуществующую — а значит, действительно непреодолимую — преграду; даже от блестящего Владимира Набокова, успевшего в последний момент заслониться лирическим героем, остались только два печальных глаза да фаллос длиной в фут (последнее я объяснял тем, что свой

знаменитый роман он создавал вдаль от Родины). «И медленно, пройдя меж пьяными, всегда без спутников, одна, — бормотал я сквозь дрему, раздумывая над тайной этого несущегося сквозь века молчания, в котором отразилось столько непохожих сердец, — был греческий диван мохнатый да в вольной росписи стена...» Я заснул над книгой, а проснувшись, увидел, что Ники в комнате нет.

Я уже давно замечал, что по ночам она куда-то ненадолго уходит. Я думал, что ей нужен небольшой моцион перед сном или несколько минут общения с такими же никами, по вечерам собиравшимися в круге света перед подъездом, где всегда играл неизвестно чей магнитофон. Кажется, у нее была подруга по имени Маша — рыжая и шустрая; пару раз я видел их вместе. Никаких возражений против этого у меня не было, и я даже оставлял дверь открытой, чтобы она не будила меня своей возней в темном коридоре и видела, что я в курсе ее ночных прогулок. Единственным чувством, которое я испытывал, была моя обычная зависть по поводу того, что от меня опять ускользают какие-то грани мира, — но мне никогда не приходило в голову отправиться вместе с ней; я понимал, до какой степени я буду неуместен в ее компании. Мне вряд ли показалось бы интересным ее общество, но все-таки было чуть-чуть обидно, что у нее есть свой круг, куда мне закрыт доступ. Когда я проснулся с книгой на коленях и увидел, что я в комнате один, мне вдруг захотелось ненадолго спуститься вниз и выкурить сигарету на лавке перед подъездом; я решил, что если и увижу Нику, то никак не покажу нашей связи. Спускаясь в лифте, я даже представил себе, как она увидит меня, вздрогнет, но, заметив мою индифферентность, повернется к Маше — отчего-то я считал, что они будут сидеть на лавке рядом — и продолжит тихий, понятный только им разговор.

Перед домом никого не было, и мне вдруг стало ясно, почему я был уверен, что встречу ее. Прямо у лавки стоял спортивный «мерседес» коричневого цвета — иногда я замечал его на соседних улицах, иногда перед своим подъездом; то, что это одна и та же машина, было ясно по запоминающемуся номеру — какому-то «ХРЯ» или «ХАМ». Со второго этажа доносилась тихая музыка, кусты чуть качались

от ветра, и снега вокруг уже совсем не было; скоро лето, подумал я. Но все же было еще холодно.

Когда я вернулся в дом, на меня неодобрительно подняла глаза похожая на сухую розу старуха, сидевшая на посту у двери, — уже пора было запирать подъезд. Поднимаясь в лифте, я думал о пенсионерах из бывшего актива, несущих в подъезде последнюю живую веточку захиревшей общенародной вахты — по их трагической сосредоточенности было видно, что далеко в будущее они ее не заташат, а передать совсем некому. На лестничной клетке я последний раз затянулся, открыл дверь на лестницу, чтобы бросить окурок в ведро, услышал какие-то странные звуки на площадке пролетом ниже, наклонился над перилами и увидел Нику.

Человек с более изощренной психикой решил бы, возможно, что она выбрала именно это место — в двух шагах от собственной квартиры, — чтобы получить удовольствие особого рода, наслаждение от надругательства над семейным очагом. Мне это в голову не пришло — я знал, что для Ники это было бы слишком сложно, но то, что я увидел, вызвало у меня приступ инстинктивного отвращения. Два бешено работающих слившихся тела в дрожащем свете неисправной лампы показались мне живой швейной машиной, а взвизгивания, которые трудно было принять за звуки человеческого голоса, — скрипом несмазанных шестеренок. Не знаю, сколько я смотрел на все это, секунду или несколько минут. Вдруг я увидел Никины глаза, и моя рука сама подняла с помойного ведра ржавую крышку, которая через мгновение с грохотом врезалась в стену и свалилась ей на голову.

Видимо, я их сильно испугал. Они кинулись вниз, и я успел узнать того, кто был с Никой. Он жил где-то в нашем доме, и я несколько раз встречал его на лестнице, когда отключали лифт, — у него были невыразительные глаза, пошлые бесцветные усы и вид, полный собственного достоинства. Один раз я видел, как он, не теряя этого вида, роется в мусорном ведре; я проходил мимо, он поднимал глаза и некоторое время внимательно глядел на меня; когда я спустился на несколько ступеней и он убедился, что я не составляю ему конкуренции, за моей спиной опять

раздалось шуршание картофельных очисток, в которых он что-то искал. Я давно догадывался — Нике нравятся именно такие, как он, животные в полном смысле слова, и ее всегда будет тянуть к ним, на кого бы она сама ни походила в лунном или каком-нибудь там еще свете.

Собственно, сама по себе она ни на кого не похожа, подумал я, открывая дверь в квартиру, ведь, если я гляжу на нее и она кажется мне по-своему совершенным произведением искусства, дело здесь не в ней, а во мне, которому это кажется. Вся красота, которую я вижу, заключена в моем сердце, потому что именно там находится камертон, с невыразимой нотой которого я сравниваю все остальное. Я постоянно принимаю самого себя за себя самого, думая, что имею дело с чем-то внешним, а мир вокруг — всего лишь система зеркал разной кривизны. Мы странно устроены, размышлял я, мы видим только то, что собираемся увидеть — причем в мельчайших деталях, вплоть до лиц и положений, — на месте того, что нам показывают на самом деле, как Гумберт, принимающий жирный социал-демократический локоть в окне соседнего дома за колено замершей нимфетки.

Ника не пришла домой ночью, а рано утром, заперев дверь на все замки, я уехал из города на две недели. Когда я вернулся, меня встретила розоволосая старушка с вахты и, поглядывая на трех других старух, полукругом сидевших возле ее стола на принесенных из квартир стульях, громко сообщила, что несколько раз приходила Ника, но не могла попасть в квартиру, а последние несколько дней ее не было видно. Старухи с любопытством глядели на меня, и я быстро прошел мимо; все-таки какое-то замечание о моем моральном облике догнало меня у лифта. Я чувствовал беспокойство, потому что совершенно не представлял, где ее искать. Но я был уверен, что она вернется; у меня было много дел, и до самого вечера я ни разу не вспомнил о ней, а вечером позвонил телефон, и старушка с вахты, явно решившая принять участие в моей жизни, сообщила, что ее зовут Татьяна Григорьевна и что она только что видела Нику внизу.

Асфальт перед домом на глазах темнел — моросил мелкий дождь. У подъезда несколько девочек с ритмичными

криками прыгали через резинку, натянутую на уровне их шей, — каким-то чудом они ухитрялись перекидывать через нее ноги. Ветер пронес над моей головой рваный пластиковый пакет. Ники нигде не было. Я повернул за угол и пошел в сторону леса, еще не видного за домами. Куда именно я иду, я твердо не знал, но был уверен, что встречу Нику. Когда я дошел до последнего дома перед пустырем, дождь почти кончился; я повернул за угол. Она стояла перед коричневым «мерседесом» с хамским номером, припаркованным с пижонской лихостью — одно колесо было на тротуаре. Передняя дверь была открыта, а за стеклом курил похожий на молодого Сталина человек в красивом полосатом пиджаке.

— Ника! Привет, — сказал я, останавливаясь.

Она поглядела на меня, но словно не узнала. Я наклонился вперед и уперся ладонями в колени. Мне часто говорили, что такие, как она, не прощают обид, но я не принимал этих слов всерьез — наверно, потому, что раньше она прощала мне все обиды. Человек в «мерседесе» брезгливо повернул ко мне лицо и чуть нахмурился.

— Ника, прости меня, а? — стараясь не обращать на него внимания, прошептал я и протянул к ней руки, с тоской чувствуя, до чего я похож на молодого Чернышевского, по нужде заскочившего в петербургский подъезд и с жестом братства поднимающегося с корточек навстречу влетевшей с мороза девушке; меня несколько утешало, что такое сравнение вряд ли придет в голову Нике или уже оскалившему золотые клыки грузину за ветровым стеклом. Она опустила голову, словно раздумывая, и вдруг по какой-то неопределимой мелочи я понял, что она сейчас шагнет ко мне, шагнет от этого ворованного «мерседеса», водитель которого сверлил во мне дыру своими подобранными под цвет капота глазами, и через несколько минут я на руках пронесу ее мимо старух в своем подъезде; мысленно я уже давал себе слово никуда не отпускать ее одну. Она должна была шагнуть ко мне, это было так же ясно, как то, что накрапывал дождь, но Ника вдруг отшатнулась в сторону, а сзади донесся перепуганный детский крик:

— Стой! Кому говорю, стоять!

Я оглянулся и увидел огромную овчарку, молча несущую

щуюся к нам по газону; ее хозяин, мальчишка в кепке с огромным козырьком, размахивая ошейником, орал:

— Патриот! Назад! К ноге!

Отлично помню эту растянувшуюся секунду — черное тело, несущееся низко над травой, фигурку с поднятой рукой, которая словно собралась огреть кого-то плетью, нескольких остановившихся прохожих, глядящих в нашу сторону; помню и мелькнувшую у меня в этот момент мысль, что даже дети в американских кепках говорят у нас на погранично-лагерном жаргоне. Сзади резко взвизгнули тормоза и закричала какая-то женщина; ища и не находя глазами Нику, я уже знал, что произошло. Машина — это была «лада» кооперативного пошиба с яркими наклейками на заднем стекле — опять набирала скорость; видимо, водитель испугался, хотя виноват он не был. Когда я подбежал, машина уже скрылась за поворотом; краем глаза я заметил бегущую назад к хозяину собаку. Вокруг непонятно откуда возникло несколько прохожих, с жадным вниманием глядящих на ненатурально яркую кровь на мокром асфальте.

— Вот сволочь, — сказал за моей спиной голос с грузинским акцентом. — Дальше поехал.

— Убивать таких надо, — сообщил другой, женский. — Скупили все, понимаешь... Да, да, что вы на меня так... У, да вы, я вижу, тоже...

Толпа сзади росла; в разговор вступили еще несколько голосов, но я перестал их слышать. Дождь пошел снова, и по лужам поплыли пузыри, подобные нашим мыслям, надеждам и судьбам; летевший со стороны леса ветер доносил первые летние запахи, полные невыразимой свежести и словно обещающие что-то такое, чего еще не было никогда. Я не чувствовал горя и был странно спокоен. Но, глядя на ее бессильно откинутый темный хвост, на ее тело, даже после смерти не потерявшее своей таинственной сиамской красоты, я знал, что, как бы ни изменилась моя жизнь, каким бы ни было мое завтра и что бы ни пришло на смену тому, что я люблю и ненавижу, я уже никогда не буду стоять у своего окна, держа на руках другую кошку.

РЕКОНСТРУКТОР

(Об исследованиях П. Стецюка)

Да, это верно: струи уходящей реки — они непрерывны, но не те же они, не прежние воды... Восемьдесят лет, прошедшие со дня окончания второй европейской войны, сделали ее, как это бывает с любой из войн, чем-то отстраненным: историческим эпизодом, архивной справкой, потенциальным набором желтых фотографий, вываливающихся на пол при перестановке буфета, детским криком «халт!», доносящимся в невыносимо жаркий июльский полдень со двора, абрисом тяжелого танка, смутно угадываемым в косых боевых контурах мусорного контейнера, набором белых полос на выжженном небе, фонтанчиками пыли, несущимися за протекторами грузовика, набитого трехтомниками Пушкина, четырехмерной пошлостью детского рисунка, безымянной вспышкой салюта и, наконец, «гравюрой полустертой».

Настало время (если оно настало), когда ненужная правда прорывает прогнившую ткань умолчаний и слухов и ложится под наши безразличные взгляды — как всегда, слишком поздно... «Лучше поздно, чем никогда» — этому сомнительному императиву мы и обязаны появлением книги П. Стецюка «Память огненных лет». Разумеется, «поздно» — это то же самое, что «никогда». Но «никогда» — это далеко не то же самое, что «поздно».

Короче говоря, если читатель с помощью какого-нибудь подобного выверта убедит себя взяться за рецензируемую книгу, ему обеспечены три часа скуки — возможно, несколько иного рода, чем ежедневный позор его жизни. Пять минут ухмылок при разглядывании фотографий («Мы-то живы!») и полное забвение всего прочитанного к началу очередного «Клуба кинопосвящений» или радио-

сводки с Малоарабского фронта. Читать эту книгу не стоит, как не стоит вообще читать книг; эту книгу не стоит читать в особенности, потому что мертвы герои, мертвы современники и, наконец, мертва тема...

Здесь впервые появляется нечто, способное вызвать интерес. Приглядевшись, можно заметить, что эта тема мертва несколько интригующе. Так мертвы, к примеру, члены экипажа космической станции «Звездочка», сорок шестой год разлагающиеся в синем небе над нашими головами. Так мертв вампир, пытающийся пролезть безлунной ночью в слуховое окошко Моссовета. Другими словами, в ее мертвости ощущается неведомое движение, чья-то окаменелая воля, — и это пугает.

Поэтому, несмотря на очевидную ненужность проделанной Стецюком работы, несмотря на пошлость его концепций и невыносимый привкус общепитовской похлебки, сваренной в одном из небольших украинских городов, — привкус, который останется во рту даже у самого благожелательного читателя, — прочесть эту книгу все-таки стоит. За фактами, за всей этой правдой иногда заметно что-то вроде тяжелых шагов, безжизненных перемещений и эволюций истории, которая здесь, на периферии взгляда, предстает в своем настоящем виде: бабы в платке, бессмысленно несущей плоское брюхо над ровным вечерним полем, топчущей цветы и идущей никуда.

Давно известно, что нет никаких книг — есть только история их написания. Получив доступ к рассекреченным архивам, Стецюк кинулся не к видеозаписям знаменитых икорных оргий в Министерстве культуры; когда все остальные исследователи, высунув языки, всматривались в танцы нагих функционеров, он разбирал секретнейшие отчеты минского радиозавода.

Почему в 1928 году была засекречена — и не просто засекречена, а получила литеру «А-прим» — техническая документация на изготовление стальной трубки длиной в метр и диаметром чуть меньше сантиметра? Почему после изготовления этой трубки дирекция, рабочие и весь остальной персонал завода были расстреляны, а сам завод взорван? Только идиот может задаться сейчас такими вопроса-

ми. Но именно здесь Стецюк набрел на открытие, приведшее к появлению его книги.

В минских бумагах была ссылка на архивные документы группы «У-17-Б». В каталоге они не значились. В секретном каталоге тоже. Но Стецюку удалось выяснить, что архив «У-17-Б» в 1951 году был вывезен в город Николаев и уничтожен; те, кто занимался его ликвидацией, расстреляны; те, кто расстреливал, — тоже, и так около восьмидесяти раз до некоего полковника Савина, который лично убил двух предпоследних расстрельщиков в тамбуре ленинградской электрички в мае 1960 года.

Стецюку повезло: ему удалось найти правнука полковника Савина, живущего на одной из подмосковных маковых плантаций в древней даче, помнящей еще первых космонавтов. Дальше — одно из тех совпадений, которые бывают только в плохих романах и в жизни: на чердаке дачи был найден дневник полковника Савина, частично разодранный на самокрутки во время третьей гражданской, частично сгнивший, но давший импульс дальнейшим поискам.

Среди интимных излияний полковника-особиста (Бог с ними — все эти куры, трясогузки да и сам полковник уже давно мертвы) неожиданно появляются злорадные нотки — полковник знает нечто такое, что переполняет его самодовольством мелкой сошки, разнюхавшей государственную тайну. Стецюк узнает, в чем дело: архив «У-17-Б» не уничтожен. Чрезмерная секретность операции привела к провалу. Возникла, как это часто бывает, бюрократическая путаница, и первая группа — та, которая должна была сжечь архив, — оказалась расстрелянной раньше, чем успела это сделать; во время расстрела убиваемые кричали, что архив ещё цел, но те, кто расстреливал их, предпочли выполнить свое задание и уже после сообщить об услышанном по инстанции. Однако сообщать не пришлось: они тоже были убиты. Голоса умирающих передавали убийцам эту тайну под грохот пистолетных и автоматных выстрелов несколько лет, по цепочке, как некую эзотерическую истину; до полковника Савина, разрядившего свой «макаров» в животы двух непримечательных граждан в кепках в электричке под Петродворцом, дошла уже, в сущности, легенда.

Это было последнее задание полковника, он был обижен скудной пенсией и предпочел молчать, чиня свою «Волгу», молчать, бегая за своими курами, — молчать до смерти. В 1961 году он утонул...

Из дневника Стецюк узнал, что грузовик с архивом, по словам двух последних мертвецов, так и остался в Николаеве по адресу: тупик Победы, 18. Стецюк выезжает в Николаев; грузовик стоит на месте — военный номер и мумифицированный труп богатыря шофера обеспечили сохранность машины во дворе, полном клумб, старушек и ползающих детей, в течение без малого ста лет. (Впоследствии, правда, выяснилось, что еще в 1995 году грузовик был принят за памятник шоферам-фронтовикам, перекрашен и окружен бронзовой цепью.)

В кузове, в герметичных ящиках, был найден совершенно целый архив «У-17-Б». Перевезя ящики в Москву и ознакомившись с их содержимым, Стецюк узнал такие вещи, которые потрясли его прикованное к прошлому воображение. Кстати сказать, выяснилась загадка стальной трубки с минского радиозавода, так волновавшая нашего исследователя.

Здесь мы предоставим слово самому Стецюку — в погоне за эффектом он выпаливает все, что кажется ему сенсационным, в нескольких абзацах.

«Многое известно про Сталина-политика (речь идет об Иосифе Андреевиче Сталине (1894 — 1953), правителе России. — *Примеч. ред.*). Но почти ничего не известно о Сталине-человеке. Достоверно можно сказать только одно — Сталин не выносил пистолетного грохота. (Многочисленные ссылки на источники и архивы нами опущены. — *Примеч. ред.*) Он не терпел шума и в 1926 году поручил группе конструкторов разработать оружие, которым он мог бы пользоваться совершенно бесшумно, не нарушая тишины подземных коридоров власти. Специально для него была разработана духовая трубка, которая стреляла отравленными иглами. Он никогда не выпускал ее из рук. Многие авторы мемуаров, видевшие настоящего Сталина, вспоминают об этом. Например: «Все время обсуждения Сталин мягко ходил по ковру, сжимая в руке трубку...»

(Маршал вооруженных сил Жуков.) Сотни подобных цитат рассыпаны по десяткам книг. Сейчас неопровержимо установлено, что Сталин никогда не курил. Речь идет именно об этой духовой трубке.

Но ведь известно, спросит удивленный читатель (никто ничего не спросит. — *Примеч. ред.*), множество фотографий Сталина, где он изображен с дымящейся курительной трубкой в руках?

Здесь и скрывается удивительный факт — выяснено, что тот Сталин, который заснят на фотографиях или в хронике, с трубкой в руках, — не настоящий.

Это не более чем подставное лицо, читавшее речь, появлявшееся на трибунах, — так сказать, ширма.

Настоящий Сталин, долгие годы державший в руках рычаги управления страной (так и видишь эти рычаги — черные, с пластмассовыми круглыми набалдашниками. — *Примеч. ред.*), никогда не показывался на людях. Он никогда не покидал подземелья. Больше того — я сказал «Сталин», а вернее было бы сказать: «Сталины», потому что речь идет о нескольких людях, которых на поверхности представлял рыжий усач с меланхолическим взглядом...»

Первем цитату. В книге Стецюка разобраны, причем подробно, биографии всех этих — их было семеро, а некоторое время трое одновременно — людей. Вот их имена: Николай Паклин (Сталин с 1924 по 1930), Михаил Сысоев (Сталин с 1930 по 1932), Сероб Налбандян (Сталин с 1932 по 1935), Тарас Шумейко, Андрей Белый, Семен Неплаха (Сталин с 1935 по 1947), Никита Хрущев (Сталин с 1947 по 1953).

Собственно, эти биографии малоинтересны и не заслуживали бы внимания, если бы не мрачная эстетика каменных штолен, стальных отравленных игл, удавок и страстей, пробивающаяся сквозь преподавательский говорок П. Стецюка. Взять хотя бы историю Семена Неплахи.

К 1935 году внешний Сталин и остальные правители — тоже двойники — получали указания уже от полностью автономного подземного комплекса, где находились настоящие Сталин, Берия (маршал внутренней службы) и другие. Роль двойников не сводилась только к имитации влас-

ти. Подобно живым шахматным фигурам, они повторяли наверху все перипетии борьбы за власть на двухсотметровой глубине. Идеально защищенный, гарантированный от проникновения заговорщиков, снабженный спецвахтами, где у посетителей отбирали все виды оружия, подземный мир оказался странным образом уязвимым. Семен Неплаха, сторож московского зоопарка, судимый ранее за кражи, при расчистке вольеры со слонами неожиданно провалился в замаскированную вентиляционную шахту. Придя в себя, он обнаруживает, что находится в прорубленном в скальных породах коридоре, пол которого покрыт ковровой дорожкой, а стены — проводами разных цветов. Все вокруг освещено яркими лампами, воздух стерилен и сух. Из-за угла навстречу Семену выходит только что закончивший совешание Сталин (Сероб Налбандян, Сталин с 1932 по 1935). Увидев сторожа, он роняет трубку на ковер. Семен скорее от испуга, чем по злобе убивает Сталина-Налбандяна лопатой, которой за несколько минут до этого разравнивал песок. Подняв трубку и сняв с шеи мертвого Сталина мешочек с отравленными иглами, он оказывается единственным вооруженным человеком в подземном городке. Тщательно охраняемая власть оказывается узурпированной за пять минут; все остальные члены правящей группы подчиняются. Новый Сталин поднимается на поверхность только один раз — чтобы позвать вниз собутыльников — Белого и Шумейко (последний — контуженный артиллерист, ветеран первой европейской войны; именно этим объясняется известная сентенция внешнего Сталина по поводу артиллерии). Шахту заваливают, и начинаются многолетняя пьянка, слушание патефона, драки; трубка переходит из рук в руки; приказания, отдаваемые наверх, часто невняты — отсюда репрессии и индустриализация.

История Никиты Хрущева не менее интересна и заставляет вспомнить лучшие страницы «Графа Монте-Кристо». Придя к власти под землей, он приказал уничтожить внешнего Сталина и заменил его двойником под своим настоящим именем. Тщеславие погубило его — двойник оказался умнее бывшего повара-кладоискателя. Подземный центр власти в 1954 году был уничтожен, и власть перешла к двойнику, который и унес с собой в могилу тайну того,

зачем в июне 1954 года сотни армейских бетономешалок нагнетали бетон в глубоко пробитые в тротуарах шурфы и в решетчатые вентиляционные башенки.

Интересно, пожалуй, взглянуть на бледные лица подземных правителей с фотоснимков из архива «У-17-Б». Интересно представить пустоты, образовавшиеся в бетоне от их истлевших тел. Интересно увидеть сквозь многометровую толщу земли и цемента желтые кости пальцев, сжимающих бесполезную и страшную трубку; но, заканчивая обзор книги, мне хотелось бы сказать о другом.

Полковник Савин был утоплен в 1961 году, когда подземного городка уже не существовало. Те, кто утопил его, были убиты, убившие их тоже умерли насильственной смертью... Читатель уже догадался, что могут значить автоматные очереди, доносящиеся из леса, или вспышки лазеров вечером над рекой — история продолжается, хоть никто не помнит уже первопричины.

Здесь появляется возможность для метафизических спекуляций — быть может, некий бог, демиург, замурован в космическом эквиваленте бетона; то, что у него вместо пальцев, сжимает то, что служило ему вместо духовой трубки, а созданный им когда-то мир по-прежнему вращает свои планеты вокруг звезд, движущихся по бесконечным спиралям внутри бледных и невообразимых галактик.

ВСТРОЕННЫЙ НАПОМИНАТЕЛЬ

— Вибрационализм, — сказал Никсим Сколповский, обращаясь к нескольким пожилым женщинам, по виду — работницам фабрики «Буревестник», непонятно как оказавшимся на авангардной выставке, — это направление в искусстве, исходящее из того, что мы живем в колеблющемся мире и сами являемся совокупностью колебаний.

Женщины испуганно притихли. Никсим поправил непрозрачные очки с узкими прорезями и продолжил:

— Но простое отражение этой концепции в артефакте еще не приведет к появлению произведения вибрационалистического искусства. Чистая фиксация идей неминуемо отбросит нас на исхоженный пустырь концептуализма. С другой стороны, возможность вибрационалистической интерпретации любого художественного объекта приводит к тому, что границы вибрационализма оказываются размытыми и как бы несуществующими. Поэтому задача художника-вибрационалиста — проскочить между Сциллой концептуализма и Харибдой теоретизирования постфактум.

Женщины сделали по крохотному шажку друг к другу, и стало казаться, что их чуть меньше, чем на самом деле. Никсим вынул из нагрудного кармана расшитой серебряными вестниками робы маленький штангенциркуль, чуть раздвинул его губки и поглядел сквозь щель на тускло-розовый свет лампы смерти.

— Дифракция, — объяснил он женщинам, пряча инструмент. — Одно из явлений, лежащих в основе вибрационализма. И свет, и тень, и штангенциркуль являются колебаниями, но относятся к разным частотным областям. Дифракция — то есть огибание светом препятствий — с точки зрения чистого вибрационализма равнозначна интер-

ференции, как иногда называют наложение колебаний друг на друга. Вибрационализм разгромил догмы так называемой физики, по которым складываться могут только колебания одной частоты. Человек, например, — результат сложения самых грубых, медленных колебаний, дающих физическое тело (Никсим провел выкрашенным в красный цвет пальцем по своему животу), с более тонкими и быстрыми, составляющими то, что раньше называлось душой. Самые тонкие из доступных людям вибраций как раз и являются идеей вибрационализма, поэтому неудивительно, что он как направление человеческой мысли появился только сейчас и доступен немногим.

Женщины, и так не особо высокого роста, казались теперь гораздо ниже; какая-то горечь появилась в складках у их губ.

— Но что же является задачей вибрационалистического искусства? Какой художественный принцип должен лежать в его основе? Объясняю. То, что человек — продукт наложения и взаимопроникновения вибраций самых различных частот, незаметно именно потому, что спектр этих колебаний крайне широк. Но если выделить две узкие полосы вибраций, относящихся к разным частотным областям, и наложить их друг на друга, мы получим — как в случае со штангенциркулем и светом — необычайный результат. Полоска света между сведенными почти вплотную губками кажется гораздо шире, чем на самом деле. Но это физический эффект. А задачей вибрационализма является поиск подобных эстетических и магических эффектов путем экспериментального наложения друг на друга колебаний разных частот.

Женщины, до этого изредка оглядывавшиеся на входную дверь, теперь словно с чем-то смирились и уже не отрывали взгляда от стека-указки, которым Никсим похлопывал себя по ноге.

— Пример вибрационалистического произведения искусства — перед вами!

Никсим стремительно повернулся, задев тяжелой саблей какую-то картонную коробку с фиолетовыми кругами на гранях, и указал стеком на стоящую у стены грубую человекоподобную фигуру, собранную из множества случай-

ных предметов, стянутых тонкими проволочками — все проволочки, сплетаясь, сходились к голове, где среди загадочных стеклянных шариков виднелись небольшой электромотор и узкий диск пилы.

— Это одноразовый вибрационалистический манекен с дистанционным ликвидатором и встроенным напоминателем о смерти. Здесь, в соответствии с принципами вибрационализма, соединена узкая полоса низкочастотных вибраций абсолютного — то есть металлический корпус — и полоса вибраций той частоты, которая относится уже к идеальному миру, — радиуправляемая конечность бытия. Сама по себе конечность бытия является очень широким поддиапазоном смысловых вибраций, и, чтобы сузить ее до четкой линии, подобной по ширине полосе частот, составляющей каркас, она уменьшена до размеров управляемости по радио. Если вы вдумаетесь в это, то поймете всю глубину использованной символики. Кроме радиуправляемого ликвидатора, манекен снабжен встроенным напоминателем о смерти — звоночком, который включится одновременно с началом работы электропилы. Напоминание о приближающемся распаде тому, кто не в состоянии этого осознать — то есть вибрационалистическому манекену, — и является источником морально-эстетического эффекта.

Женщины были почти не видны, и об их существовании напоминала только тихая песня по радио. Звякая коньками о кафельный пол, Никсим подошел к одному из стоявших вдоль стены лиловых сундуков, вытащил из него маленький зеленый ящичек со сделанной из вилки антенной и нажал кнопку.

В голове у манекена зажужжало — завертелся диск пилы, и тонкие проволочки стали рваться одна за другой. Почти одновременно тонко и жалобно запел звонок, напомнив всем звук забытого в песках будильника, добросовестно сработавшего в срок, хоть хозяин его уже далеко и неизвестно, жив ли, а единственные безразличные слушатели — муравьиные львы да их маленькие коричневые клиенты. В зале повеяло тоской.

Все больше проволочек разрывалось под зубьями стального диска, и конечности манекена, мелко дрожа, ослабевали и подгибались. Вот отпала левая кисть, за ней —

выполненное в виде ладони уха; потом из сердечной сумки вывалился мешочек с сухими растениями, увлекая за собой сделанный из длинной цепи кишечник; покатались по полу гнилые дыни легких, и, наконец, с октябрьским утренним грохотом рухнул тяжелый каркас. Звонко стих; умолк и мотор, на ось которого намоталось толстое проводное веретено.

— Sic! — сказал Никсим, нагибаясь к полу, чтобы разглядеть своих слушательниц. — Встроенный напоминатель предупредил о надвигающейся смерти, но мог ли манекен услышать его звон? А если и мог, то понял ли он его значение? Над этим и предлагает задуматься вибрационализм.

На полу что-то мелко зашевелилось и пискнуло. Никсим вынул из-за пазухи кипарисовую метелку и замел все, что там оставалось, на маленький серебряный совочек. Затем поднялся, подошел к столу, взял валявшийся среди разбросанных манифестов пустой конверт и ссыпал туда то, что было на совке. Кинув конверт в сундук, он скрестил руки на груди и вздохнул. Ни одного интересного посетителя сегодня не было. К тому же с самого утра — а если точно, с девяти пятнадцати — ужасно болел дырявый коренной зуб, отчего противно звенело в голове и было совершенно невозможно думать о вибрационализме.

ДЕНЬ БУЛЬДОЗЕРИСТА

Что они делают здесь,
Эти люди?

С тревогой на лицах
Тяжелым ломом
Все бьют и бьют.

Исикава Такубоку

1

Иван Померанцев упер локти в холодный сырой бетон подоконника с тремя или четырьмя изгибающимися линиями склейки (Валерка, когда жену пугал, ударил утюгом), сдул со стекла ожиревшую черную муху и выглянул в залитый последним солнцем осенний двор. Было тепло, и снизу поднимался слабый запах масляной краски, исходящий от жестяной крыши пристройки, покрашенной несколько лет назад и начинавшей вонять, как только чуть пригревало солнце. Еще пахло мазутом и шами — тоже совсем несильно. Слышно было, как вдали орут дети и ржут лошади, но казалось, что это не природные звуки, а прокручиваемая где-то магнитофонная запись — наверно, потому казалось, что ничего одушевленного вокруг не было, кроме неподвижного голубя на подоконнике через несколько окон. Улица была какой-то безжизненной, словно никто тут не селился и даже не ходил никогда, и единственным оправданием и смыслом ее существования был выцветший стенд наглядной агитации, аллегорически, в виде двух мускулистых фигур, изображавший народ и партию в состоянии единства.

В коридоре продребезжал звонок. Иван вздрогнул, отложил уже размятую «пегасину» — сигарета была сырой, твердой и напоминала маленькое сувенирное полено — и пошел открывать. Идти было долго: он жил в большой коммуналке, переделанной из секции общежития, и от кухни до входа было метров двадцать коридора, устланного резиновыми ковриками и заставленного детскими кедами да грубой обувью взрослых. За дверью бухтел тихий мужской голос и время от времени коротко откликалась женщина.

— Кто? — спросил Иван бытовым тоном. Он уже понял кто — но ведь не открывать же сразу.

— К Ивану Ильичу! — отозвался мужчина.

Иван открыл. На лестничной клетке стояла так называемая пятерка профбюро, состоявшая у них в цехе из двух всего человек, потому что эти двое — Осьмаков и Алтынина (она была сейчас в марлевом костюмчике и держала в руках, далеко отнеся от туловища, пахнувший селедкой сверток) — совмещали должности.

— Иван! Ванька! — заулыбался с порога Осьмаков, входя и протягивая Ивану две подрагивающие мягкие ладони. — Ну ты как сам-то? Болит? Ноет?

— Ничего не болит, — смутясь, ответил Иван. — Идем в комнату, что ли.

От Алтыниной еще сильнее, чем селедкой, пахло духами; Иван, когда шли по коридору, специально чуть отстал, чтоб не чувствовать.

— Вот так, значит, Ванюша, — грустно и мудро сказал Осьмаков, сев у стола, — все выяснили. То, что произошло, признано несчастным случаем. Это, дорогой ты мой человек, дефект сварки был. На носовом кольце. И с имени твоего теперь снято всякое недоверие.

Осьмаков вдруг потряс головой и огляделся по сторонам, словно чтобы определить, где он, — определил и тихонько вздохнул.

— У ней ведь корпус из урана, у бомбы, — продолжал он, — а кольцо-то стальное. Надо спецэлектродом приваривать. А они, во втором цеху, простым приварили. Передовики майские. Вот оно и отлетело, кольцо-то. Ты хоть помнишь, как все было?

Иван прикрыл глаза. Воспоминание было какое-то тусклое, формальное, словно он не вспоминал, а в лицах представлял себе рассказанную кем-то историю. Он видел себя со стороны: вот он нажимает тугую кнопку, которая останавливает конвейер, кнопка срабатывает с большой задержкой, и шербающую черную ленту приходится отгонять назад. Вот он цепляет крюком подъемника за кольцо отбракованную бомбу с жирной меловой галкой на боку (криво приварен стабилизатор, и вообще какая-то косая), включает подъемник, и бомба, тяжело покачнувшись,

отрывается от ленты конвейера и ползет вверх; цепь до упора наматывается на барабан и срабатывает концевик.

«Уже четвертая за сегодня, — думает Иван, — так, глядишь, и премия маем гаркнет».

Он нажимает другую кнопку — включается электромотор, и подъемник начинает медленно ползти вдоль двутавра, приваренного к потолочным балкам. Вдруг что-то заедает, и бомба застревает на месте. Так иногда бывает — вмятина на двутавре, кажется. Иван заходит под бомбу и начинает качать ее за стабилизатор — так она набирает инерцию, чтобы колесо подъемника перекатилось через вмятину на рельсе, — как вдруг бомба странным образом поддается, а в следующую секунду Иван понимает, что держит ее в правой руке над своей головой за заусенчатую жезь стабилизатора. Дальше в памяти — окно больничной палаты: шест с бельевой веревкой да половина дерева...

— Вань, — прозвучал осьмаковский голос, — ты чего?

— Порядок, — помотал Иван головой. — Вспоминаю вот.

— Ну и что? Помнишь?

— Частично.

— Самое главное, — сказала Алтынина, — что вы, Иван Ильич, из-под бомбы выскочить все-таки успели. Она рядом упала. А...

— А по почкам тебе баллон с дейтеридом лития звезданул, — перебил Осьмаков, — сжатым воздухом выкинуло, когда корпус треснул. Хорошо хоть, баллон не грохнул — там триста атмосфер давление.

Иван сидел молча, слушая то Осьмакова, то большую черную муху, которая через равные промежутки времени билась в окно. «Верно, гости растревожили, — думал он, — раньше тихо сидела... Чего ж они хотят-то?»

Скоро с Осьмаковым произошло обычное рефлекторное переключение, которое вызвал у него простой акт сидения за столом в течение некоторого срока: его глаза подобрали, голос стал еще человечней, а слова стали налезать одно на другое — чем дальше, тем заметней.

— Ты, Вань, — говорил он, маленькими кругами двигая по клеенке невидимый стакан, — и есть самый насто-

ящий герой трудового подвига. Не хотел тебе говорить, да скажу: про тебя «Уран-Баторская правда» будет статью печатать, уже даже корреспондент приезжал, показывал заготовку. Там, короче, написано все как было, только завод наш назван уран-баторской консервной фабрикой, а вместо бомбы на тебя столитровая бочка с помидорами падает, но зато ты потом еще успеваешь подползти к конвейеру и его выключить. Ну и фамилия у тебя другая, понятно... Мы советовались насчет того, какая красивее будет — у тебя она какая-то мертвая, реакционная, что ли... Май его знает. И имя неяркое. Придумали: Константин Победоносцев. Это Васька предложил, из «Красного полураспада»... Умный, май твоему урожаю...

Иван вспомнил — так называлась заводская многотиражка, которую ему пару раз приходилось видеть. Ее было тяжело читать, потому что все там называлось иначе, чем на самом деле: линия сборки водородных бомб, где работал Иван, упоминалась как «цех плюшевой игрушки средней мягкости», так что оставалось только гадать, что такое, например, «цех синтетических елок» или «отдел электрических кукол»; но когда «Красный полураспад» писал об освоении выпуска новой куклы «Марина» с семью сменными платьицами, которой предполагается оснастить детские уголки на прогулочных теплоходах, Иван представлял себе черно-желтую границу с обложки «Шакала» и злорадно думал: «Что, выпелюги майские, схавали в своих небоскребах?» Правда, уже полгода «Красный полураспад» распространялся по списку — как было объяснено в редакционной статье, «в связи с тем значением, которое придается производству мягкой игрушки», — и Иван даже не сразу сообразил, что речь идет о заводской многотиражке.

Осьмаков как-то незаметно перескочил на другую тему.

— В общем, жужло баба, — тихо говорил он, глядя на что-то невидимое в метре от своего лица, — трудяга... Я ей кричу: какого же ты мая, мать твою, забор разбираешь...

— Это, Иван Ильич, — перебила Алтынина, — вообще первый случай, когда про наш завод городская газета напишет. И еще, может быть, с телевидения приедут.

Мы уже место нашли, где снять можно. И совком не против.

— Чем? — не понял Иван.

— Совком, — отчетливо повторила Алтынина. — Товарищ Копченков сейчас занят — здание детям передает. Но сам лично звонил.

— Шуму-то сколько, Галина Николаевна.

— Надо ж на чем-то детей воспитывать. А то от них одни поджоги со взрывами. Вчера на Санделя опять мусорный бак взорвали. По песочницам бродят...

Осьмаков вдруг издал булькающий звук и повалился головой на стол. Началась суета — Иван побежал на кухню за тряпкой, Алтынина захлопотала вокруг Осьмакова, приводя его в чувство и объясняя, как он сюда попал и где находится. Когда Иван принес тряпку, Осьмаков выглядел уже совершенно трезвым и мрачно позволял Алтыниной оттирать ему лацкан пиджака носовым платком. Гости сразу же стали собираться — встали, Алтынина взяла со стола пахнущий селедкой сверток (Иван решил почему-то, что тот предназначался для него) и стала его переупаковывать — заворачивать в свежую газету, потому что бумага уже пропиталась коричневым рассолом и грозила вот-вот разорваться. Осьмаков с фальшивым интересом уставился в настенный календарь с изображением низенькой голой женщины у заснеженного «запорожца». Наконец селедка была упакована и гости попрощались — Иван так и проводил их до двери с тряпкой в руке и с этой же тряпкой вернулся в комнату, кинул ее на пол и сел на диванчик.

Некоторую странноватую вялость своего состояния он объяснял тем, что из-за ушиба почек не пил уже целых две недели: одну неделю в больнице, а вторую — дома. Но всерьез смущало его то, что никак не удавалось вспомнить свою жизнь до несчастного случая. Хоть он более или менее помнил ее фактическую сторону, воспоминания не были по-настоящему живыми. Например, он помнил, как они с Валеркой пили после смены «Алабашлы» и Валерка на отрывке произнес «слава труду» в тот момент, когда Иван подносил бутылку к губам, — в результате полный рот портвейна пришлось выплюнуть на

кафельный пол, так было смешно. А сейчас Иван вспоминал самого себя смеющимся, вспоминал короткую борьбу с мышцами собственной гортани за отдающий марсианской нефтью глоток, вспоминал хохочущую рожу Валерки, но совершенно не мог припомнить самого ощущения радости и даже не понимал, как это он мог с таким удовольствием пить в пахнущем мочой закутке за ржавым щитом пятого реактора.

То же относилось и к комнате. Вот, например, этот календарь с «запорожцем» — Иван совершенно не мог представить себе состояния, в котором могло появиться желание повесить этот глянцевый лист на стену. А он висел. Точно так же непонятно было происхождение большого количества пустых, зеленого стекла бутылок, стоявших на полу перед шкафом, — то есть ясно, сам Иван с Валеркой их и выпили, да еще не все здесь остались — много повывлетало в окно. Непонятно было другое — почему весь этот портвейн оказался выпитым, да еще в обществе Валерки. Словом, Иван помнил все недавние события, но не помнил себя самого посреди этих событий, и вместо гармонической личности коммуниста или хотя бы спасающейся христианской души внутри было что-то странное — словно хлопала под осенним ветром пустая оконная рама.

— Марат, — убеждал за стеной женский голос, — будешь писать в окно, тебя в сандалята не примут. Послушай маму...

2

С утра весь город узнавал, что дают в винном. Бесплезно было бы пытаться понять как — об этом не сообщали по радио или телевизору, но все же каким-то странным образом это становилось известно, и даже малыши, обдумывая планы на вечер, вполне могли думать что-нибудь вроде: «Ага... сегодня в винном портвейн по два девяносто... папа будет после восьми. А водка уже кончается. Значит — до одиннадцати...» Но они не задавались вопросом, откуда это узнали, — точно так же, как не

спрашивали себя, откуда они знают, что сегодня стоит солнечная погода или, наоборот, хлещет проливной дождь. Винных магазинов в городе было, конечно, не один и не два, но продавали в них всегда одно и то же; даже пиво кончалось одновременно и в подвале на улице Спинного Мозга, и в бакалее на Сухоточном проезде, на противоположном конце Уран-Батора, так что жители любого района думали обобщенно: «винный» — о какой бы конкретной точке ни шла речь.

Вот и Иван, прикинув, что сегодня в винном коньяк по тринадцать пятьдесят, а с черного хода — еще и болгарский сушняк по рупь семьдесят плюс полтинник сверху, решил, что Валерка, сосед и кореш, наверняка возьмет сушняка, а потом еще задержится в подсобке поболтать с грузчиками, — и, подойдя к винному, наткнулся прямо на него. Валерка тоже не удивился, увидев Ивана, словно знал, что тот возникнет в прямоугольнике света между рядами темно-синих ящиков, на фоне уже повешенной на заборе гирлянды тряпичных гвоздик.

— Пойдем, — сказал Валерка, перекинул позвякивающую сумку в другую руку, подхватил Ивана под локоть и потащил его вниз по Спинномозговой, кивая друзьям и огибая пронзительно пахнувшие лужи рвоты.

Дошли до обычного места — дворика с качелями и песочницей. Сели: Валерка, как всегда, на качели, а Иван — на дощатый борт песочницы. Из песка торчали несколько полузанесенных бутылок, узкий язык газеты, подрагивающий на ветру, и несколько сухих веток. Эта песочница очень высоко ценилась у бутылочных старушек — она давала великолепные урожаи, почти такие же, как избушки на детской площадке в парке имени Мундинделя, и старухи часто дрались за контроль над ней, сшибаясь прямо на Спинномозговой, астматически хрипя и душа друг друга пустыми сетками; из какого-то странного такта они всегда сражались молча, и единственным звуковым оформлением их побоищ — часто групповых — было торопливое дыхание и редкий звон медалей.

— Пить будешь? — спросил Валерка, скусив пластмассовую пробку и выплюнув ее в пыль.

— Не могу, — ответил Иван. — Ты же знаешь. Почки у меня.

— У меня тоже не листья, — ответил Валерка, — а я пью. Ты на всю жизнь, что ли, дураком стал?

— До праздника потерплю, — ответил Иван.

— На тебя смотреть уже тошно. Как будто ты... — Валерка сморщился в поисках определения, — как будто ты нить жизни потерял.

Кисло пахло сушняком — Валерка задрал голову вверх, опрокинул бутылку над разинутым ртом и принял в себя ходящую из стороны в сторону из-за каких-то гидродинамических эффектов струю.

— Вот, — сказал он, — птиц сразу слышу. И ветер. Тихие такие звуки.

— Тебе б стихи писать, — сказал Иван.

— А я, может, и пишу, — ответил Валерка, — ты откуда знаешь, зная отрядное?

— Может, пишешь, — равнодушно согласился Иван. Он с некоторым удивлением заметил, что дворик, где они сидят, состоит не только из песочницы и качелей, а еще и из небольшой огороженной клумбы, заросшей крапивой, из длинного желтого дома, пыльного асфальта и идущего зигзагом бетонного забора. Вдали, там, где забор упирался в дом, на помойке копошились дети, иногда подолгу задумчиво замиравшие на одном месте и сливавшиеся с мусором, отчего невозможно было точно определить, сколько их. «В центре дети воспитанные и уродов мало, — подумал Иван, глядя на их возню, — а отъехать к окраине, так и на качели залазят, и в песочнице роются, и ножиком могут... И какие страшные бывают...»

Дети словно почувствовали давление Ивановой мысли: одна из фигурок, до этого совершенно незаметная, поднялась на тонкие ножки, походила немного вокруг мятой желтой бочки, лежавшей чуть в стороне от остального мусора, и нерешительно двинулась по направлению к взрослым. Это оказался мальчик лет десяти, в шортах и курточке с капюшоном.

— Мужики, — спросил он, подойдя поближе, — как у вас со спичками?

Валерка, занятый второй бутылкой, в которой отчего-то оказалась тугая пробка, не заметил, как ребенок приблизился, а обернувшись на его голос, очень разозлился.

— Ты! — сказал он. — Вас в школе не учили, что детям у качелей и песочниц делать нечего?

Мальчик подумал.

— Учили, — сказал он.

— Так чего ж ты? А если б мы, взрослые, стали бы к вам на помойки лазать?

— В сущности, — сказал мальчик, — ничего бы не изменилось.

— Ты откуда такой бойкий? — с недобрым интересом спросил Валерка. — Да ты знаешь, что у меня сын такой же?

Валерка чуть преувеличивал — его сын, Марат, был с тремя ногами и недоразвитый — третья нога была от радиации, а недоразвитость — от отцовского пьянства. И еще он был младше.

— Да у вас, может, и спичек нет? — спросил мальчик. — А я говорю тут с вами.

— Были бы — не дал, — ответил Валерка.

— Ну и успехов в труде, — сказал мальчик, повернулся и побрел к помойке. Оттуда ему махали.

— Я тебя сейчас догоню, — заорал Валерка, забыв даже на секунду о своей бутылке, — и объясню, какие слова можно говорить, а какие — нет... Наглый какой, труд твоей матери...

— Да плюнь, — сказал Иван, — что, сам, что ли, таким не был? Давай поговорим лучше... Со мной, знаешь, что-то странное творится. Как будто с ума схожу. Вроде все про себя помню, но так, словно не про себя, а про кого-то другого... Понимаешь?

— А чего тут не понять? — спросил Валерка. — Ты сколько уже не пьешь?

— Две недели, — ответил Иван. — Сегодня как раз.

— Так чего же ты хочешь. Это у тебя черная горячка начинается.

— Нет, — сказал Иван, — не может такого быть. Мне главврач сказал, что она раньше чем через полгода не бывает.

— Ты их слушай больше. Может, они думают, что ты через неделю первой отметишь, и утешают — чтоб не мучился зря.

— Все равно, — сказал Иван, — не в этом дело. Я, представляешь, детства не помню. То есть помню, конечно, — могу в анкете написать, где родился, кто родители, какую школу кончил, но это все как-то не настоящему, что ли... Понимаешь, для себя ничего вспомнить не могу — для души. Закрываю глаза — и чернота одна или груша желтая, если лампочка отпечатается...

По двору торопливо пробежали дети с помойки и скрылись за углом. Последним бежал мальчик, искавший спички.

— Ну ты загнул, брат, — сказал Валерка. (Пока Иван говорил, он добил третью бутылку.) — Да кто ж его помнит, детство-то? Я тоже только слова одни помню. Так что можешь считать, с тобой все в порядке. Вот когда картинки всякие вспоминать начнешь — это и будет черная горячка. И потом, какого мая его помнить-то, детство? Чего в нем хорошего? Как раз и...

В углу двора, среди металлолома, багрово сверкнуло и оглушительно грохнуло — словно по ушам хлопнули чьи-то огромные ладоши. Вверху провизжали осколки, и кусок желтой жести вонзился в борт песочницы в нескольких сантиметрах от ноги Ивана.

— Вот оно, детство твое, — придя в себя от неожиданности, сказал Валерка. — Пошли. Я тут больше пить не смогу — какую вонь подняли...

Иван встал и пошел за Валеркой. Все-таки ему не удалось выразить того, что он хотел сказать, — все, что он произносил вслух, оказывалось путанным и полоумным, и Валерка был совершенно прав в своем раздражении. «Выпить бы», — почесал Иван в затылке. Что-то подсказывало ему: стоит выпить, даже совсем немного, бутылки две сухого, — и все пройдет. «А что пройдет?» — подумал Иван. Действительно, непонятно было, что должно пройти. У Ивана, скорее, было чувство, что что-то уже прошло и теперь именно этого, прошедшего, и не хватает. «Ладно. А что прошло?» Это было совсем неяс-

но, и, как Иван ни старался, единственное, что он мог сказать себе, — что прошло то состояние, в котором этих вопросов не возникало. Самое главное, что он даже не помнил, существовало ли в его памяти до несчастного случая какое-нибудь другое, отличное от нынешнего, воспоминание о прошлом — или и тогда все ограничивалось бесцветными анкетными формулами.

Вышли на Спинномозговую. Валерка оглядел багровые кирпичные стены и развешанные к празднику красные шестерни на фасадах.

— Ну, куда теперь? — спросил он.

Иван пожал плечами. Ему было все равно.

— А пошли к совкому, — сказал Валерка. — Прямо на площади и выпьем. Может, там кто из наших будет...

До площади Санделя, где находился совком, идти надо было вниз по Спинномозговой. Иван задумался, а от задумчивости незаметно перешел к тихому внутреннему оцепенению, так что на площади оказался как-то незаметно для себя. На фасаде серого параллелепипеда совкома уже были вывешены три профиля — Санделя, Мундинделя и Бабаясина, а напротив, над приземистой совкомовской баней, развернута кумачовая лента со словами: «Да здравствует дело Мундинделя и Бабаясина!»

— Слышь, Валер, — сказал Иван, — а почему тут Мундиндель с волосами? Он же лысый был. И про Санделя ничего не пишут — что оно, хуже, что ли? Раньше же вроде писали.

— Откуда я знаю! — отозвался Валерка. — Ты еще спроси, почему трава зеленая.

Высланное рубчатыми бетонными плитами, протяженное пустое пространство перед совкомом больше всего напоминало бы военный аэродром, если бы не огромный памятник прямо напротив здания — трехметровый усатый Бабаясин, занесший высоко над головой легендарную саблю, и худенькие крохотные Сандель и Мундиндель, словно подпирающие его с двух сторон и почти прекрасные в своем романтическом порыве. Со стороны памятника светило солнце, и своим контуром он напоминал воткнутые кем-то в бетон огромные толстые вилы. В тени памятника на вынесенных из совкома белых табуретах си-

дели несколько человек; перед ними, прямо на бетоне, была расстелена газета, на которой зелено блестели бутылки и краснели помидоры.

— Пошли к этим, что ли, — сказал Валерка.

По гноящимся воспаленным глазам в сидящих у памятника легко было узнать рабочих с «Трикотажницы», пригородной фабрики химического оружия. Двое из них кивнули Валерке — весь город знал его как виртуоза-матерщинника (даже кличка у него была — «Валерка-диалектик»), а ребята с «Трикотажницы» очень гордились своими традициями краснословия.

— Пить кто будет, мужики? — спросил Валерка.

— Не, — после некоторой паузы ответил один из химиков, — мы секретаря ждем. Уже тяпнули, хватит пока.

— А... Ну и день, прямо не верится — даже на маяву на пьют...

Валерка сел на бетон и оперся спиной о низкую ограду памятника. По поверхности серой плиты покатилося полиэтиленовое колесико пробки. Иван сел рядом, так же подоткнув под зад край ватника, и зажмурил глаза. На душе у него по-прежнему было беспричинно грустно — зато и спокойно, и даже мелькнуло на секунду в какой-то словно бы щели воспоминание — странного вида красная кепка и еще пластмассовая поверхность стола, на которой...

— Валерка! — тихо позвал кто-то из химиков. — Валерка!

— Чего? — перестав булькать, спросил Валерка.

— Как там у вас, на Самоварно-Матрешечном? Выполнит план ваш коллектив?

Иван чуть вздрогнул. Это был откровенный вызов и оскорбление. Но, сообразив, что химики вовсе не собираются затевать разборку, а просто хотят посостязаться с мастером языка, которому не обидно и проиграть, он успокоился. Валерка тоже понял, в чем дело, — давно привык.

— Выполняем помаленьку, — лениво ответил он. — А у вас как трудовая вахта? Какие новые почины к майским праздникам?

— Думаем пока, — ответил химик. — Хотим у вас в

трудовом коллективе побывать, с передовиками посоветоваться. Главное ведь — мирное небо над головой, верно?

— Верно, — ответил Валерка. — Приходите, посоветуйтесь. Хотя ведь у вас и своих ветеранов немало, вон Доска почета-то какая — в пять Стахановых твоего обмена опытом в отдельно взятой стране...

Кто-то тихо крикнул.

— Точно, есть у нас ветераны, — не сдавался химик, — да ведь у вас традиция соревнования глубже укоренилась, вон вымпелов-то сколько насобирали, ударники майские, в Рот-Фронт вам слабое звено и надстройку в базис!

«Хорошо, — отметил Иван, — а то уж больно он от нервов по-газетному начал...»

— Лучше бы о материальных стимулах думали, пять признаков твоей матери, чем чужие вымпела считать, в горн вам десять галстуков и количеством в качество, — дробной скороговоркой ответил Валерка, — тогда и хвалились бы встречным планом, чтоб вам каждому по труду через совет дружины и гипсового Павлика!

Иван вдруг подумал, что сегодняшняя беседа с мальчиком у качелей все же как-то повлияла на Валерку, хоть он ни словом не обмолвился об этом, — что-то горькое прорывалось в его речи.

Химик несколько секунд молчал, собираясь с мыслями, а потом уже как-то примирительно сказал:

— Хоть бы ты заткнулся, мать твою в город-сад под телегу.

— Ну так и отмиришь от меня на три мая через Людвига Фейербаха и Клару Цеткин, — равнодушно ответил Валерка. Победа, как чувствовал Иван, не принесла ему особой радости. Это был не его уровень.

— Дай выпить, а? — пробормотал смущенный химик.

Иван открыл глаза и увидел, как тот принимает протянутую Валеркой бутылку. Химик оказался совсем молодым парнем, но, судя по цвету лица и фиолетовым нарывам на шее, поработал уже и с «Черемухой», и с «Колхозным ландышем», а может, и с «Ветерком». Все молчали; Иван хотел было что-то сказать для сердечности, но

передумал и уставился на черный кончик тени от сабли Бабаясина, незаметно для глаза ползущий по бетону.

— А ты ничего маюги травишь, — сказал через некоторое время Валерка, — только расслабляться нужно. И не испытывать ненависти.

Парень посинел от удовольствия.

— А вы чего тут маетесь? — спросил кто-то из химиков. — Ждете кого-то?

— Так, — ответил Иван, — нить жизни ищем.

— Ну и чего, нашли? — раздался сзади звучный голос.

Иван обернулся и увидел секретаря совкома Копченова, зашедшего, видно, со стороны памятника, чтобы послушать живой народный разговор. Копченова Иван видел пару раз на заводе — это был небольшой плотный человек, совершенно неопределенного вида, обычно носивший дешевый синий костюм с большими лацканами, желтую рубашку и фиолетовый галстук. Раньше он работал в каком-то банке, где украл уйму денег, за что его частенько поругивали в печати.

— Послушал я вас, ребята, — сказал Копченов, потирая руки, — и подумал: ну до чего ж у нас народ талантливый... Как это ты, Валерий, диалектику с повседневной жизнью увязал: ну хоть сейчас в газету. Будем тебя в следующем году в народные соловьи выдвигать... А вы, ребята, чего?

— Записались, — ответил кто-то из химиков.

— Выслушаю, — сказал Копченов, — выслушаю. Ты, Иван, тоже не уходи — кое-что тебе вручить должен. Пошли...

Первое, что бросалось в глаза внутри совкома, — это огромное количество детей. Они были всюду: ползали по широкой мраморной лестнице, покрытой красной ковровой дорожкой, висели на бархатных шторах, паясничали перед широким, в полстены, зеркалом, жгли в дальнем углу холла что-то вонючее, мучили под лестницей кошку — и непереносимо, отвратительно галдели. Пока поднимались по лестнице, Ивану два раза пришлось переступать через синюшных, стянутых пеленками младенцев, которые передвигались, извиваясь всем телом, как черви. Пахло внутри совкома мочой и гречневой кашей.

— Вот так, — обернувшись, сказал Копченев. — Отдали детям.

Поднялись на пятый этаж. В коридорном тупике в глубоких креслах неподвижно сидели пять-шесть ребят в круглых авиационных шлемах с прозрачными запотевшими забралами.

— Это кто? — любопытствовал Валерка.

— Это-то? Юные космонавты. Подсекция Дворца пионеров. У нас тут теперь Дворец пионеров, а внизу — еще детский сад и ясли.

— А зачем они в шлемах?

— Чтоб ацетон дольше не испарялся. За каждую бутылку деремся.

Наконец дошли до кабинета Копченева. Кабинет оказался совсем маленьким и скудно обставленным. Почти весь его объем занимал длинный стол для заседаний, из-под которого Копченев за ухо вытащил и пинком выпроводил в коридор слюнявого малыша. Иван заметил, что штора на окне как-то подозрительно шевелится — видно, за ней тоже прятались дети, — но решил не вмешиваться.

— Садитесь, — сказал Копченев и показал на стол.

Иван с Валеркой сели под портретом матери Санделя, пронзительно глядящей в комнату из-под белого чепца, а остальные присели к столу.

— Вот, значит, — сказал химик, который пытался состязаться с Валеркой, — хотим, значит, на хозрасчет переходить. И на самоокупаемость. Коллектив прислал.

— Хозрасчет, — сказал Копченев, — дело хорошее. Вы как, по какой модели собираетесь?

— А май его знает, — ответил, подумав, химик. — Ты и расскажи. Мы, думаешь, понимаем? Вот, допустим, сколько фосгена к хлорциану добавлять надо, чтоб «Колхозный ландыш» получился, это я знаю, а про модели эти — откуда? Вся жизнь в цеху прошла.

— Верно, — сказал Копченев. — Ох, верно. И правильно сделали, ребята, что сюда пришли. Куда ж вам, как не сюда...

Он встал из-за стола и заходил взад-вперед по узкому проходу вдоль стола, одной рукой держа себя сзади под пиджаком за брючный ремень, а другой — с оттопырен-

ным большим пальцем — тыкая вперед, словно для незримого рукопожатия, сильно наклоняя при этом туловище вперед. Иван вспомнил виденную когда-то дээспэшную брошюру, называвшуюся «Партай-чи», где был описан целый комплекс движений, благодаря которым человек даже самых острых умственных способностей мог настроить себя на безошибочное проведение линии партии. Упражнение, которое выполнял Копченков, было оттуда.

— Да... — сказал он, вдруг остановившись.

Иван поглядел на него и поразился — глаза Копченкова изменились и из прежних хитро прищуренных щелочек превратились в два оловянных кружка. Теперь он как-то по-другому дышал, и его голос стал на октаву ниже.

— Чего сказать-то вам, — медленно произнес он и вдруг с каким-то горьким пониманием затряс головой. — Вижу! Все ведь вижу, что думаете, газет почитавши! Верно, долго нам вдали. Долго. Но только прошло это время. Все теперь знаем — и как шашель порошная нам супорос закунявила, и как лубяная сутемень нам уд кондыбила. Почему знаем? Да потому, что правду нам сказали. Теперь так спрошу — должны мы о детях и внуках думать? Вот ты, Валерий, соловей наш, скажи.

— Вроде должны, — сказал Валерка. — Конечно.

— Понятно. Так вот прикинь: они подрастут, дети наши, а к тому времени и новая правда поспеет. Так как мы, хотим, чтоб им эту новую правду сказали, как нам нынче?

— Хотим, чего спрашивать-то, — зашумели за столом. — Ты дело говори!

— А дело самое простое. Руководство-то сейчас приглядывается: как народ работает? Будем плохо работать, так кто ж нам правду скажет? Да уж и из благодарности простой надо бы. А не икру чужую считать и дачи. Вот это и есть настоящий хозрасчет.

Копченков о чем-то на секунду задумался и подобрел лицом.

— А вообще, — сказал он, — если сказать, черт возьми, по-человечески — до чего же хочется жить!

Видно, он нажал на какую-то кнопку — тотчас после его слов в кабинет ввалилась толпа пионеров и плотно-

плотно обступила Валерку, Ивана и химиков. Пионеры были в отглаженных белых рубашках с галстуками и пахли леденцами и крахмалом, отчего у Ивана в прокуренной груди поднялась и опала волна ностальгии по собственному детству, а точнее даже — по выветрившейся памяти.

— В музей славы их, — сказал Копченев.

— Пошли, — скомандовал один из пионеров, и красногалстучный поток в две секунды смыл и Ивана с Валеркой, и химиков с пола копченевского кабинета.

Дальнейшее Иван помнил весьма смутно. От музея славы у него остались только обрывки воспоминаний — сначала их всех подвели к совсем маленькой стеклянной витрине, за которой хранились первые документы народной власти в Уран-Баторе (тогда называвшемся как-то по-другому) — «Декрет о земле», «Декрет о небе» и исторический «Приказ №1»:

«С первого числа мая месяца сего года под страхом смертной казни запрещается въезд и выезд из города.

Комиссары:

Сандель, Мундиндель, Бабаясин».

Дальше почему-то шел стенд «Жизнь народов нашей страны до революции», где к обтянутой холстом доске были проволокой прикручены подкова, желтая лошадиная челюсть и сморщенный лапоть. Рядом, в освещенном стеклянном шкафу, висели крошечные дамские браунинги Санделя и Мундинделя, а под ними — зазубренная сабля Бабаясина, показавшаяся не такой уж и большой. Всюду были фотографии каких-то усатых рож, и все время что-то говорил голос пионера-экскурсовода, объяснявший, кажется, какую-то непонятную разницу. Потом голос приобрел глубокие и мягкие бархатные обертоны и начал говорить о смерти — описывать различные ее виды, начиная с утопления. Неожиданно Иван понял...

3

— Я тебе покажу, шенок, как надо при матери разговаривать! Я тебе дам «майский жук»!

Это кричал где-то за стеной Валерка, и еще долетал детский плач.

— Маратик, потерпи, — говорил другой голос, женский. — Потерпи, милый, папа ведь...

Иван повернулся на спину и уставился на чуть золотящийся под потолком крендель люстры. Это была Валеркина комната, и он почему-то лежал на его кровати в брюках и пиджаке. Но главным было не это, а тот сон, который только что перестал ему сниться.

В этом сне он попал в какое-то странное место — в какую-то мрачноватую комнату со стрельчатыми окнами, бывшую когда-то, видимо, церковным помещением, а сейчас полную старых ободранных лыж с размокшими ботинками, от которых шел сырой тюремный дух. В узкой щели окна был виден кусочек серого неба и изредка мелькали поднимающиеся вверх клубы пара. Сам Иван сидел на крохотной скамеечке, а перед ним, на огромной куче старых ватников, спал старик с широкой бородой на груди — так выглядел Копченев, которого в этом сне отчего-то звали Иваном Ильичом. Иван попытался встать — и понял, что не может сделать этого, потому что ноги его нового тезки лежат у него на плечах. И еще Иван понял, что умирает и это связано не столько даже с ушибленной почкой, сколько с лежащими у него на плечах ногами. А наступить смерть должна была тогда, когда Копченев проснется.

Иван попытался осторожно снять со своих плеч копченевские ноги, и Копченев начал просыпаться — зашевелился, замычал, даже чуть приподнял руку. Иван в испуге притих. Старик захрапел опять, но спал он уже беспокойно, вертел во сне головой и мог, как казалось, проснуться в любую минуту. Иван очень не хотел умирать — в его жизни было что-то, ради чего имело смысл терпеть и кислую вонь этой комнаты, и копченевские ноги на плечах, и даже тяжелую мысль, словно висящую в воздухе вместе с запахом размокшей кожи, — о том, что ничего, кроме этой комнаты, в мире просто нет.

«Должен быть какой-то способ, — подумал Иван, — выбраться. Обязательно должен быть». И тут он заметил, что на ногах у Копченева лыжи — их концы только чуть-чуть не доставали до пола. Тогда Иван вытащил из-под себя скамеечку и стал осторожно сгибаться, прижимаясь

к полу. Концы лыж уперлись в пол, и Иван почувствовал, что может вылезти из-под копченовских ног. И как только он выбрался из-под них и сделал два шага в сторону, так сразу же перестала болеть ушибленная почка. А потом Иван понял, что он вообще никакой не Иван, но эта мысль его совершенно не опечалила. Теперь он твердо знал, что нужно делать. В стене напротив стрельчатого окна была маленькая дверца. Иван на цыпочках дошел до нее, открыл, протиснулся в тесную черноту и стал на ощупь продвигаться вперед. Его руки тесно проšliсь по каким-то пыльным рамам, стульям, велосипедному рулю — и нащупали новую дверь впереди. Иван перевел дух и толкнул ее.

Снаружи был жаркий солнечный день. Иван стоял в маленьком дворе, по которому расхаживали куры и петухи. Двор был обнесен корявым, но прочным забором, за которым были видны поднимающиеся вверх оранжевые каменистые склоны с торчащими кое-где синими домиками. Иван подошел к забору, схватился за его край и поднял над ним голову. Совсем недалеко, метрах в трехстах, был берег моря. И там ослепительно сверкал на солнце тонкий белый силуэт... Больше Иван ничего не запомнил.

— Оклемался? — спросил Валерка, входя в комнату.

— Вроде, — вставая, ответил Иван. — А что со мной было?

— Переутомился маек. Нас в музей повели, на четвертый этаж, а потом Копченов спустился, стал говорить, как ты тонущего ребенка от смерти спас, и хотел тебе от имени совкома альбом преподнести. Вот тут-то ты и грохнулся. Тебя сюда на совкомовской телеге привезли, прямо как короля. А альбом вот он.

Валерка протянул Ивану пудовую книжищу в глянцевой обложке. Иван с трудом удержал ее в руках. «Моя Албания» — было крупными буквами написано на обложке.

— Чего это?

— Картины, — ответил Валерка. — Да ты погляди, там интересные есть. Я тоже сначала думал, что одно гэмка, а посмотрел — ничего.

Иван открыл альбом и попал на большую, в разворот,

репродукцию. Она изображала большое полено и лежащего на нем вниз животом голого толстого человека.

— «В поисках внутреннего Буратино», — прочел Иван название. — Непонятно только, где он Буратино ищет — в бревне или в себе.

— По-моему, — ответил Валерка, — однамайственно.

Иван перевернул страницу и вдруг чуть не выронил альбом из рук. Он увидел — и сразу узнал — огороженный дворик с петухами и курами, забор, за которым по оранжевым горным склонам взбегали вверх синие домики с белыми андреевскими крестами на ставнях. В центре двора на растрескавшейся лавке сидел человек в сером военном френче с закатанными рукавами и играл на небольшом аккордеоне, открытый футляр от которого лежал рядом.

— «Ожидание белой подводной лодки», — прочел Иван, подхватил альбом и отправился в свою комнату, даже не поглядев на Валерку.

Ключ от замка он хранил не как все, под половиком, а в кармане висящего на гвозде ватника. Иван понял, почему он проснулся у Валерки, — видимо, те, кто привез его домой, не смогли отпереть дверь.

Все в его комнате было по-прежнему: на скатерти — пятно от селедки; громоздился маленький бутылочный кремль у двери шкафа, и, изо всех сил стараясь казаться обнаженной, улыбалась фотографу голая баба у «запорожца» на календаре. Иван повалился спать.

С той самой минуты, как он коснулся головой поролоновой подушки, ему снова начали сниться сны. Он стоял на какой-то невероятно высокой крыше и глядел вниз, на раскинувшийся далеко кругом ночной город, похожий на нагромождение гигантских кварцевых кристаллов, освещенный изнутри тысячами оттенков электрического света, и совершенно не боялся, что сейчас его схватят и куда-то поволокут (в Уран-Баторе самым высоким зданием был пятиэтажный совком, но и мечтать было нечего когда-нибудь поглядеть на город с его крыши). Потом он оказался внизу, на широкой светлой улице, полной веселых и беззаботных людей, и даже не сразу сообразил, что дело происходит ночью, а светло вокруг от фонарей и

витрин. В следующий момент он уже неся по висящей на тонких опорах дороге в тихо ревущей машине, и перед ним на приборной доске загорались синие, красные, оранжевые цифры и линии. Потом он оказался за столиком в ресторане — вокруг сидели несколько человек в военной форме, которых он отлично знал, а на столе, между неправдоподобными стаканами и бутылками, лежало несколько пачек «Винстона».

— А-а-а, — завыл Иван, просыпаясь, — а-а-а-а...

Странный сон рассыпался и исчез — когда Иван открыл глаза, вокруг была знакомая комната и за черным окном привычно тренькала гитара. У него осталось неясное воспоминание об испытанном потрясении, а в чем было дело, он не помнил совершенно. Но оставаться в кровати было страшно. Он встал и нервно заходил по крашеным доскам пола. Надо было чем-то себя занять.

«А не убраться ли в комнате? — подумал он. — Такое свинство, просто страшно делается... свинство... свинство... — повторил он несколько раз про себя, чувствуя, как от этого слова внутри что-то начинает подниматься, — свинство...»

Странное ощущение постепенно прошло.

Оглядевшись, он решил начать с бутылок. «Чего-то такое странное было, — вспомнил он, раскрывая окно и выглядывая вниз, в заваленный мусором двор, — насчет аккордеона...»

Во дворе было пусто — только в его дальнем конце, там, где были качели и песочница, дрожали сигаретные огоньки. Дети давно разошлись по домам, и можно было выкидывать мусор прямо вниз, на помойку, не боясь кого-нибудь изувечить. Иван швырнул несколько бутылок в окно, прошла примерно секунда, и тут снизу долетел немыслимый по своей пронзительности кошачий вой, которому немедленно ответило радостное улюлюканье со стороны качелей и песочницы.

— Давай, тудячь, в партком твою Коллонтай! — закричал оттуда пьяный голос Валерки, и захохотали какие-то бабы. — Всем котам первомай сделаем в три цэка со свистом!

— Со свистом, — повторил Иван, — свинство... со свистом... винстон...

Он вдруг отшатнулся от окна и схватился руками за голову — ему показалось, что его плашмя ударили доской по лицу.

— Господи! — прошептал он. — То есть oh God! Да как я забыть-то мог?

Он кинулся к шкафу, раскидал оставшиеся бутылки — они покатались по полу, несколько разбилось — и распахнул косые дверцы. Внутри стоял ободранный футляр от аккордеона. Иван вытащил его из шкафа, перенес на кровать, шелкнул замками, откинул крышку и положил ладони на шероховатую панель передатчика. Одна его ладонь поползла вправо, перешла в другое отделение и нащупала холодную рукоять пистолета; другая нашла пакет с деньгами и картами.

— Господи, — еще раз прошипел он, — а ведь все позабыл, все-все. Не долбани эта штука по спине, так ведь и сейчас с ними пил бы... И завтра...

Он встал и еще раз прошелся по комнате, вороша волосы ладонью. Потом сел на место, пододвинул к себе раскрытый футляр и включил передатчик, который словно раскрыл на него два разноцветных глаза — зеленый и желтоватый.

4

На следующее утро Ивана разбудила музыка. Проснувшись, он первым делом ощутил ужас от мысли, что все позабыл. Вскочив на ноги, он метнулся было к шкафу — и выдохнул, убедившись, что все помнит. Оказалась лишней сделанная карандашом на обоях контрольная надпись: «С САМОГО УТРА — ПЕРВЫМ ДЕЛОМ СЫГРАТЬ НА АККОРДЕОНЕ». Стало даже чуть смешно и стыдно своего вчерашнего страха.

Иван повернулся на спину, заложил руки за голову и уставился в потолок. Со стороны окна долетела еще одна волна неопределенно-духовой музыки, похожей на запах еды. К ней примешались густые и жирные голоса солис-

тов, добавлявшие в мелодию что-то вроде наваара. «Почему музыка-то?» — подумал Иван и вспомнил: сегодня праздник. День бульдозериста. Демонстрации, пирожки с капустой и все такое прочее — может, и легче будет уходить из города в пьяной суете, по дороге на вокзал спев со всеми что-нибудь на прощание у памятника Бабаясину.

В дверь постучали.

— Иван! — крикнул Валерка из-за двери. — Встал, что ли?

Иван что-то громко промычал, постаравшись не вложить в это никакого смысла.

— Договорились, — отозвался Валерка и пробухал сапожищами по коридору. «На демонстрацию пошел», — понял Иван, повернулся к стене и задумался, глядя на крохотные пупырчатые выступы на обоях.

Через некоторое время во дворе стихли веселые, праздничные звуки построения и переключки — стало совсем тихо, если не считать иногда залетающих в окно музыкальных волн. Иван поднялся с кровати, по военной привычке тщательно и быстро ее убрал и стал собираться. Надев праздничный ватник с белой нитрокрасочной надписью «Levi's» и дерматиновый колпачок «Adidas», он тщательно оглядел себя в зеркале. Все вроде бы было нормально, но на всякий случай Иван выпустил из-под шапочки-колпачка длинный льняной чуб и приклеил к подбородку синтетическую семечную лузгу, вынутую из аккордеонного футляра. «Теперь — в самый раз», — подумал он, подхватил футляр и оглядел на прощание комнату. Шкаф, женщина с «запорожцем», кровать, стол, пустые бутылки. Прощание оказалось несложным.

Внизу, у выхода на улицу, стоял Валерка. Прислонясь к стене, он курил; как и на Иване, на нем был праздничный ватник, только «Wrangler». Иван не ожидал его здесь встретить — даже вздрогнул.

— Чего, — добродушно спросил Валерка, — проспался?

— Ну, — ответил Иван. — А ты разве с колонной не ушел?

— Ты даешь, мир твоему миру. Сам же орал через дверь, чтоб я подождал. Совсем, что ли, плохой?

— Ладно, май с ним, — неопределенно сказал Иван. — Куда пойдем-то теперь?

— Куда-куда. К Петру. Посидим с нашими.

— Это ж через центр мирюжить, — сказал Иван, — мимо совкома.

— Пройдем, не впервой.

Иван вслед за Валеркой поплелся по пустой и унылой улице. Никого вокруг видно не было — только откуда-то издалека доносилась духовая музыка, к которой теперь добавились острые и особенно неприятные удары тарелок, раньше отфильтровывавшиеся окном. Улица перетекла в другую; другая в третью; музыка становилась все громче и наконец полностью вытеснила из ушей Ивана шарканье его и Валеркиных сапог об асфальт. После очередного угла стал виден затянутый красным помост, на котором стоял певец с неправдоподобно румяным лицом; он делал руками движения от груди к толпе и, несмотря на широко открытый рот, ухитрялся как-то удивленно улыбаться тому, что вот так запросто дарит свое искусство народу. Одновременно с тем, как он стал виден, долетели слова песни:

Стра-на моя! ·Сво-бод-ная!
Как бом-ба во-до-род-ная!

Тут певца скрыл новый угол, и музыка опять превратилась в мутное месиво из духовых и баритона. Впереди стал виден хвост идущей к центру города колонны, и Валерка с Иваном прибавили шагу, чтобы пристроиться. Мимо проплыли хмурый Осьмаков с застиранным воротником плаща и улыбающаяся Алтынина с приколотым бантом. Они стояли в стороне от потока людей, в боковой улочке, возле лошадей, впряженных в огромный передвижной стенд наглядной агитации в виде бульдозера.

Вскоре вышли на площадь перед совкомом. Памятник Санделю, Мундинделю и Бабаясину был украшен тяжелыми от дождя бумажными орхидеями, а на острие высоко вознесенной над головой бронзового Бабаясина сабли был насажен подшипник с крючками на внешнем кольце; от этих крючков вниз тянулись праздничные красные лен-

ты. Их сжимали в своих левых кистях человек двадцать членов городского актива — все они были в одинаковых коричневых плащах из клеенки и блестящих от капель шляпах и ходили по кругу, снова и снова огибая памятник, так что сверху, будь оттуда кому посмотреть, увиделось бы что-то вроде красно-коричневой зубчатой шестерни, медленно вращающейся в самом центре площади. Остальные живые шестерни, образованные взявшимися за руки людьми, приводились в движение главной, а зубчатую передачу символизировало крепкое праздничное рукопожатие.

Иван и Валерка переминались с ноги на ногу, ожидая, когда их колонна вытянется в длинную петлю, чтобы пронестись мимо центральной шестерни. Ждать пришлось долго — руководство с утра здорово устало и крутилось теперь значительно медленнее.

— Валер, — спросил Иван, — а чего в этот раз все как-то по-другому?

— Радио, что ли, не слушал? Коробку передач усовершенствовали. Новая модель бульдозера теперь будет.

Валерка с опасением потер пальцем белые буквы на ватнике — не расплываются ли. Такие случаи бывали. Наконец народу впереди осталось совсем мало, и Иван с Валеркой, взявшись за руки и сцепившись с соседями, прошмыгнули между двух ментов и понеслись к центру площади.

Рукопожатие прошло как-то незаметно, если не считать того, что Иван не догадался перекинуть футляр из правой руки в левую — из-за этого он чуть замешкался перед памятником, но все же успел. Руку он пожал редактору «Красного полураспада» полковнику Кожеурову, а Валерке достался мокрый черный протез совкомовского завкультурой, который, по примете, приносил несчастье. От этого Валерка расстроился, и, когда площадь Санделя осталась позади, а народ вокруг опять споро собрался в колонну, он обернулся назад и погрозил кулаком уплывающему серому фасаду с огромными красными словами МИР, ТРУД, МАЙ.

Ватник Ивана сильно пропитался водой и отяжелел. Но идти до Петра оставалось недолго. Милиции вокруг

становилось все меньше, а пьяных все больше, но казалось, что происходит просто внешнее изменение некоего присутствия, общее количество которого остается прежним. Наконец вокруг оказались крытые толем парники проспекта Бабаясина, и Иван с Валеркой, доплыв вместе с толпой до знакомого дома, вышли из колонны и пошли наперерез движению, не обращая внимания на свист и маюги распорядителя. Быстро добрались до знакомого подъезда и поднялись на третий этаж; уже на лестничной клетке возле двери в общежитие, где проживал Петр, запахло спиртным, и Валерка, совершенно забыв зловещую встречу на площади, оживился и пихнул Ивана в плечо. Иван как-то неестественно улыбнулся. Общежитие сотрясала музыка.

Петр открыл дверь и высунул в проем свою небольшую голову — как всегда, показалось, что он стоит с той стороны дверей на скамеечке.

— Привет, — без выражения сказал он.

— Ну и гремит, — заходя в коридор, сказал Валерка, — кто это так трудячит?

— «Ласковый май», — ответил Петр, уходя по коридору.

Петрова комната отличалась от Ивановой расположением кровати и шкафа, количеством бутылок на полу и календарем на стене — здесь голая баба (другая), улыбаясь, протягивала в комнату стакан мандаринового сока — ее выкрашенные зеленым лаком ногти показались Ивану упавшими в стакан и потонувшими в нем мухами.

Иван сел на кровать, взял с тумбочки журнал и открыл наугад — на него глянул какой-то старый мушкетер в берете. Между Валеркой и Петром завязался односложный разговор, из которого Иван выцеживал вполуха только редкое Валеркино красное словцо.

«В коммунизме есть здоровое, верное и вполне согласное с христианством понимание жизни каждого человека, — писал мушкетер, — как служения сверхличной цели, как служения не себе, а великому целому».

Эти слова как-то очень гладко проскользнули в голову, настолько гладко, что совершенно неясен остался их смысл. Иван начал вдумываться в них, и вдруг в комнате

стало темнее, и сразу стих разговор за столом. Иван поднял глаза. Мимо окна проплывал огромный снаряд наглядной агитации — плоский фанерный бульдозер алого цвета, со старательно прорисованными зубьями открытого мотора. Поражали в нем и величина, и то, что весь он был выполнен из цельного куска фанеры, специально для этой цели выпущенного местной фабрикой. Но было и какое-то странное несоответствие, которое Иван заметил еще на демонстрации, когда проходил мимо стоящего в боковой улочке снаряда и вглядывался в зеленые магнетиновые колеса, на которых тот стоял, — это, кажется, было шасси тяжелого бомбардировщика ТУ-720. Тогда он не понял, в чем дело, а сейчас — наверно, из-за того, что в окне была видна только верхняя часть агитационной громадины, — догадался: кабина бульдозера была абсолютно пустой. Не было даже нарисованных стекол — вместо них зияли две пропиленные квадратные дыры, в которых серело разбухшее мокрое небо.

Бульдозер проплыл мимо, и Иван, кивая головой набегающим мыслям, погрузился в журнал, дожидаясь, когда все напьются до такой степени, что можно будет незаметно уйти. Статья увлекла его.

...— Какого молота ты там высерпить хочешь?

Иван поднял глаза. Валерка и Петр напряженно глядели на него. Тут он вдруг понял, что уже минут пять в комнате стоит полная тишина, и отложил журнал.

— Да тут интересно очень, — сказал он, на всякий случай поднося руку к карману, где лежал пистолет. — Философ Бердяев.

— И чего же? — странно улыбаясь, спросил Петр. — Чего пишет?

— Есть у него одна мысль ничего. О том, что психический мир коммуниста резко делится на царство света и царство тьмы — лагеря Ормузда и Аримана. Это, в общем, манихейский дуализм, пользующийся монистической до...

Удара табуреткой в лицо Иван даже не почувствовал — догадался, что получил именно табуреткой, когда увидел с пола, как Петр с этим инструментом в руке делает к нему медленный шаг. Сзади Петра так же медленно пы-

тался остановить Валерка — и успел. Иван потряс головой и вытащил из кармана пистолет. В следующий момент в него попала табуретка, метко пущенная Петром, пистолет отлетел в угол, тихонько хлопнул, и на потолке появилась заметная выщербина. На пол посыпалась штукатурка.

— Под блатного косит, ударник, — сказал растерявшемуся Валерке Петр, нагибаясь за пистолетом. — Я полтора года сидел, музыку эту знаю. Сейчас, — повернулся он к Ивану, — будет тебе эпифеномен дегуманизации. Аккордеоном по трудильнику.

Он потянулся к футляру.

Вот так, — сказал Иван.

Вот так, — сказал Иван. **5** Вот так, — сказал Иван. Вот так, — сказал Иван.

— Смотри на какую зарплату, — говорил Иван, прижимая к углу рта скомканный носовой платок, — и смотря какую машину. Зря вы думаете, что у вас тут царство тьмы, а у нас — царство света. У нас тоже... Негры всякие бездомные... СПИД разносят...

Ничего, кроме каких-то обрывков из телепередачи с мрачным названием «Камера смотрит в мир», Ивану не вспоминалось, но этого было достаточно. Валерка с Петром слушали открыв рты — и Ивану даже не хотелось вставать из-за стола. Но было уже пора.

— Ты им скажи там, — говорил Валерка, пока Иван надевал ватник, — что мы люди незлые. Тоже хотим, чтоб над головой всегда было мирное небо. Хотим спокойно себе трудиться, растить детей... Ладно?

— Ладно, — отвечал Иван, пряча пистолет в футляр с рацией и аккуратно защелкивая никелированные замки, — обязательно скажу.

— И еще скажи, — говорил Петр, идя с ним по коридору с одинаковыми резиновыми половиками перед каждой дверью, — что наш главный секрет — не в бомбах и самолетах, а в нас самих.

— Скажу, — обещал Иван, — это я понял.

— Возьми журнал, — сказал Петр в дверях, — в дороге считаешь.

Иван взял. Потом обнялся на прощание с Петром и притихшим Валеркой и, не оборачиваясь, вышел на лестницу. За ним шелкнула дверь. Он спустился вниз, оказался на темной улице и глубоко вдохнул воздух, пахнувший мазутом и сырыми досками. В небе ало сверкнуло — Иван шарахнулся было к подъезду («Неужто?» — мелькнула мысль), но сообразил, что это салют.

— Ур-а-а-а! — нестройно закричали на улице. — Ур-а-а-а!

— Ура-а-а! — закричал Иван.

В небе разорвалась новая пачка ракет, и все опять осветилось — желтые заборы, желтые трехэтажки, желтые полосы не то дыма, не то тумана в близком косматом небе. Издалека-издалека долетел печальный и протяжный механический вой — словно напоминало о себе что-то огромное и ржаво-масляное, требуя внимания от людей, а может быть — просто поздравляя их с праздником. Потом все стало зеленым.

Иван зашагал к вокзалу.

ТАРЗАНКА

1

Широкий бульвар и стоящие по сторонам от него дома напоминали нижнюю челюсть старого большевика, пришедшего на склоне лет к демократическим взглядам.

Самые старые здания были еще сталинских времен — они возвышались, подобно покрытым многолетней махорочной копотью зубам мудрости. При всей своей монументальности они казались мертвыми и хрупкими, словно нервы у них внутри были давно убиты мышьячными пломбами. Там, где постройки прошлых лет были разрушены, теперь торчали грубо сработанные протезы блочных восьмизэтажек. Словом, было мрачно.

Единственным веселым пятном на этом безрадостном фоне был построенный турками бизнес-центр, похожий своей пирамидальной формой и алым неоновым блеском на огромный золотой клык в капельках свежей крови. И, словно яркая стоматологическая лампа, поднятая специальной штангой так, чтобы весь ее свет падал в рот пациенту, в небе над городом горела полная луна.

— Кому верить, чему верить? — сказал Петр Петрович, обращаясь к своему молчаливому собеседнику. — Сам я простой человек, может быть, даже дурак. Доверчивый, наивный. Знаете, иной раз в газету смотрю и верю.

— Газету? — глуховатым голосом переспросил собеседник, поправляя закрывающий его голову темный капюшон.

— Да, газету, — сказал Петр Петрович. — Любую, не важно. Едешь в метро, а сбоку сидит кто-нибудь и читает — наклонишься чуть-чуть, залезешь глазами и уже веришь.

— Веришь?

— Да, веришь. Во что угодно. Может, кроме Бога. В Бога верить уже поздно. Если сейчас вдруг поверю, как-то нечестно будет. Всю жизнь не верил, а под пятый десяток взял и поверил. А зачем тогда жил? Вот и веришь вместо этого в гербалайф или разделение властей.

— А зачем? — спросил собеседник.

«Хмурый какой тип, — подумал Петр Петрович. — Не говорит, а каркает. Чего это я с ним откровенничаю? Ведь и не знаю его толком».

Некоторое время они шли вперед молча, один за другим, легко переставляя ноги и чуть касаясь стены руками.

— Ну как зачем, — сказал наконец Петр Петрович. — Это как в автобусе за что-нибудь держаться. Даже и не важно за что, лишь бы не упасть. Как это поэт сказал — «и мчатся дальше в ночь и неизвестность, с надеждой глядя в черный лаз окна...». Вот вы, наверно, идете, смотрите на меня и думаете — экий ты, брат, романтик в душе, хоть и не похож внешне... Ведь думаете, а?

Собеседник повернул за угол и исчез из виду.

Петр Петрович почувствовал себя прерванным на середине важной фразы и поспешил вслед за ним. Когда впереди опять появилась сутулая темная спина, он испытал облегчение и подумал ни с того ни с сего, что из-за окончательного капюшона его спутник похож на сгоревшую церковь.

— Экий ты, брат, романтик, — тихо пробормотала спина.

— Да никакой я не романтик, — горячо возразил Петр Петрович. — Я, можно сказать, полная противоположность. Чрезвычайно практичный человек. Все дела. Даже и не вспоминаешь почти, для чего живешь-то. Ведь не для этих дел, будь они все прокляты... Да... Не для них, а для...

— А для?..

— А для того, может, чтобы вот так вечером выйти на воздух и вдохнуть полной грудью, почувствовать, что и ты сам часть этого мироздания, былиночка, так сказать, на бетоне... Жалко только, что редко меня, как сейчас, пробирает, до сердца. Наверное, из-за этого вот...

Он поднял руку и указал на огромную луну, горящую в небе, а потом сообразил, что его собеседник идет впереди и не в состоянии увидеть его жеста. Но у того, видимо, имелось что-то вроде глаза на затылке, потому что он почти синхронно повторил движение Петра Петровича, так же вытянув руку вверх.

— В такие минуты мне интересно делается — чем же я занят все остальное время своей жизни? — спросил Петр Петрович. — Почему я так редко вижу все таким, как сейчас? Почему я постоянно выбираю одно и то же — сидеть в своей камере и глядеть в ее самый темный угол?

Последние произнесенные слова своей неожиданной точностью доставили Петру Петровичу какое-то горькое удовольствие, но тут он споткнулся, замахал руками, и тема разговора мгновенно вылетела у него из головы. Обезьяньим движением туловища удержав равновесие, он схватился рукой за стену, причем его другая рука чуть не пробила стекло оказавшегося рядом окна.

За этим окном была небольшая комната, освещенная красноватым ночником. Видимо, это была коммуналка — среди мебели стоял холодильник, а кровать была наполовину загорожена шкафом, так что видны были только голые и худые ноги спящего. Взгляд Петра Петровича упал на стену над ночником, увешанную множеством фотографий. Там были семейные снимки, были фотографии детей, взрослых, стариков, старух и собак; в самом центре этой экспозиции находился снимок институтского выпуска, где лица были помещены в белые овалы, отчего все вместе походило на коробку разрезанных пополам яиц, — за ту секунду, пока Петр Петрович глядел в комнату, из каждого овала ему успел улыбнуться пожелтевший от времени человек. Все эти фотографии казались очень старыми, и от всех них веяло так основательно прожитой жизнью, что Петр Петрович на миг ощутил тошноту, быстро отвернулся и пошел вперед.

— Да, — сказал он через несколько шагов, — да. Знаю, что вы сейчас скажете, так что лучше молчите. Вот именно. Жизненный опыт. Мы просто теряем способность видеть вокруг что-нибудь другое, кроме пыльных фотографий прошлого, развешанных в пространстве.

И вот мы глядим на них, глядим, а потом думаем — почему это мир вокруг нас стал такой помойкой? А потом, когда луна выйдет, вдруг понимаешь, что мир тут совсем ни при чем, а просто сам ты стал таким и даже не понял, когда и зачем...

Наступила тишина. Увиденное в комнате — особенно эти лица-желтки — произвело на Петра Петровича очень тяжелое действие. Пользуясь тем, что в темноте его никто не видит, он растянул рот, высунул язык и выпучил глаза, так, что его лицо превратилось в подобие африканской маски — физическое ощущение от гримасы на несколько секунд отвлекло его внимание от овладевшей им тоски. Говорить сразу расхотелось — больше того, вся многочасовая беседа вдруг словно озарилась тусклым красным светом коммунального ночника, показавшись глупой и ненужной. Петр Петрович поглядел на собеседника и подумал, что тот совсем не умен и слишком молод.

— Даже не понимаю, о чем это мы с вами сейчас говорим, — сказал он преувеличенно вежливым тоном.

Собеседник не отозвался.

— Может, помолчим немного? — предложил Петр Петрович.

— Помолчим, — пробормотал собеседник.

2

Чем дальше уходили Петр Петрович и его спутник, тем красивее и таинственнее становился мир вокруг. Говорить действительно не возникало особой необходимости. Под ногами сверкала лунным серебром узкая дорога; все время меняющая цвет стена пачкала то правое, то левое плечо, а проплывающие мимо окна были темны совсем как в стихотворении, которое процитировал Петр Петрович. Иногда приходилось подниматься вверх, иногда, наоборот, спускаться вниз, а иногда они по какому-то молчаливому уговору вдруг останавливались и надолго замирали, вглядываясь во что-нибудь прекрасное.

Особенно красивы были далекие огни. Несколько раз они останавливались поглядеть на них, и каждый раз

смотрели долго — минут десять или больше. Петр Петрович думал что-то смутное, почти невыразимое в словах. Огни, казалось, не имели особого отношения к людям и были частью природы — то ли особой стадией в развитии гнилых пеньков, то ли ушедшими на пенсию звездами. Кроме того, ночь была действительно темна, и красные и желтые точки на горизонте как бы обозначали габариты окружающего мира — если бы не они, было бы непонятно, где происходит жизнь и происходит ли она вообще.

Каждый раз из задумчивости его выводили тихие шаги спутника. Когда тот трогался в путь, Петр Петрович тоже приходил в себя и спешил следом. Вскоре фотографии из оставшегося позади окна окончательно забылись, на душе вновь стало легко и празднично, а молчание начало тяготить.

«И, между прочим, — подумал Петр Петрович, — я ведь даже не знаю, как его зовут. Спросить надо».

Он выждал несколько секунд и очень вежливо сказал:

— Хе-хе, а я что подумал. Мы вот с вами идем, идем, говорим, говорим, а даже и не познакомились вроде?

Собеседник промолчал.

— А вообще, — примирительно сказал Петр Петрович, когда прошло достаточно времени и стало ясно, что ответа не будет, — это, наверно, и правильно. Что в имени тебе моем, хе-хе... Оно лишь звук пустой... Ведь если знаешь человека и если он тебя знает, то ни о чем с ним толком не поговоришь. Все будешь размышлять: а что он о тебе подумает? А что он потом про тебя скажет? А так, когда не знаешь, с кем разговариваешь, то и сказать можешь все что хочешь, потому что тормозов нет. Мы вот с вами сколько уже беседуем — часа два? Да? Видите, и почти все время я говорю. Обычно-то я человек молчаливый, а сейчас прорвало будто. Вам я, может, кажусь не очень умным и все такое, зато вот сам себя слушаю все это время — особенно там, где статуи эти были, помните? Когда я о любви говорил... Да, слушаю себя и удивляюсь. Неужели это я сам столько всего о жизни понимаю и думаю?

Петр Петрович поднял лицо к звездам и глубоко вздох-

нул; на его лице, подобно тени от невидимого крыла, промелькнула неземная улыбка. Вдруг он заметил слева от себя еле уловимое движение, вздрогнул и остановился.

— Эй! — перейдя на шепот, позвал он собеседника. — Стойте! И тихо! Спугнете. Кажется, кошка... Точно. Вон она где. Видите?

Капюшон повернулся влево, но Петр Петрович, как ни старался, опять не увидел лица своего спутника. Кажется, тот глядел куда-то не туда.

— Да вон же! — отчаянно зашептал Петр Петрович. — Видите, бутылка лежит? Левее, в полуметре. Еще хвостом шевелит. Ну что, по счету три? Вы справа, я слева. Как в прошлый раз.

Собеседник холодно пожал плечами, а потом неохотно кивнул.

— Раз, два, три! — отсчитал Петр Петрович и перекинул ногу через невысокий жестяной перекат, слабо светящийся лунным светом.

Его спутник мгновенно последовал за ним, и они рванулись вперед.

Бог знает в какой раз за эту ночь Петр Петрович ощутил счастье. Он бежал под ночным небом, и его ничего не мучило; все проблемы, которые делали его жизнь невыносимой день или два назад, вдруг исчезли, и при всем желании он не мог вспомнить ни одной из них. По черной поверхности под его ногами неслись сразу три тени — одну, густую и короткую, рождала луна, а две другие, несимметричные и жидкие, возникали от каких-то других источников света — вероятно, окон.

Забирая влево, Петр Петрович видел, как его спутник под тем же углом забирает вправо, а когда кошка оказалась примерно между ними, он повернул к ней и прибавил скорость. Тотчас такой же маневр выполнила и фигура в темном капюшоне — она сделала это настолько синхронно, что Петра Петровича кольнуло какое-то смутное подозрение.

Но пока было не до этого. Кошка по-прежнему сидела на месте, и это было странно, потому что обычно они не подпускали к себе так близко. Прошлая, например — та, за которой они гнались минут сорок назад, сразу после

статуй, — не подпустила их и на десять метров. Почувствовав какой-то подвох, Петр Петрович с бега перешел на шаг, а потом и вовсе остановился, не дойдя до нее несколько шагов. Его спутник повторил все его движения и затормозил одновременно с ним, остановившись метрах в трех напротив.

То, что Петр Петрович издалека принял за кошку, оказалось на самом деле серым полиэтиленовым пакетом, одна из ручек которого была порвана и качалась на ветру — именно она и показалась ему хвостом.

Собеседник стоял лицом к Петру Петровичу, но самого этого лица видно по-прежнему не было — луна била в глаза, и он оставался все тем же темным остроконечным силуэтом. Петр Петрович наклонился (спутник нагнулся одновременно с ним, так, что они чуть не стукнулись головами) и потянул пакет за угол (спутник потянул его за другой). Пакет развернулся, из него вывалилось что-то мягкое и шлепнулось на рубероид. Это была мертвая полуразложившаяся кошка.

— Фу, дрянь, — сказал Петр Петрович и отвернулся. — Можно было бы и догадаться.

— Можно было, — эхом отозвался собеседник.

— Пошли отсюда, — сказал Петр Петрович и побрел к жестяной кайме на краю рубероидного поля.

3

Уже несколько минут они шли молча. По-прежнему впереди Петра Петровича покачивалась темная спина, но теперь он вовсе не был уверен, что это на самом деле спина, а не грудь. Чтобы собраться с мыслями, он полуприкрыл глаза и опустил взгляд вниз. Теперь видна была только серебряная дорожка под ногами — ее вид успокаивал и даже немного гипнотизировал, и постепенно в сознании разлилась какая-то не совсем трезвая ясность, а мысли понеслись одна за другой безо всякого усилия с его стороны — или, скорее, это была та же мысль о шедшем впереди, которая постоянно приходила в голову на смену самой себе.

«Почему он все время повторяет мои движения? — размышлял Петр Петрович. — И во всем, что он мне говорит, всегда слышится эхо моей прошлой фразы. Он, надо сказать, ведет себя совсем как отражение. А ведь вокруг столько окон! Может быть, это просто оптический эффект, а я немного не в себе от волнения, и мне кажется, что нас двое? Ведь сколько всего, во что когда-то верили люди, объясняется оптическими эффектами! Да почти все!»

Эта мысль неожиданно придала Петру Петровичу уверенной бодрости. «Действительно, — подумал он, — лунные блики, отражение одного окна в другом и возбуждающий запах цветов — а нельзя забывать, что сейчас июль, — способны создать такой эффект. А то, что он говорит, — это просто эхо, тихое-тихое эхо... Ну конечно! Ведь он всегда повторяет слова, которые я только что сказал!»

Петр Петрович вскинул глаза на мерно покачивающуюся впереди спину. «Кроме того, я ведь много раз читал, — подумал он, — что, если кто-то ставит тебя в тупик или чем-нибудь смущает, всегда есть вероятность, что это не другой человек, а собственное отражение или тень. Дело в том, что, когда сохраняешь неподвижность или выполняешь какие-нибудь однообразные монотонные действия, лишенные особого смысла — например, идешь или думаешь, — отражение может притворяться самостоятельным существом. Оно может начать двигаться немного не в такт — все равно будет незаметно. Оно может начать делать то, чего ты сам не делаешь — если, конечно, это что-то несущественное. Наконец, оно может сильно обнаглеть, поверить в то, что оно действительно существует, а после этого обратиться против тебя... Насколько я помню, есть только один способ проверить, отражение это или нет — нужно сделать какое-нибудь резкое и очень однозначное движение, такое, чтобы отражению пришлось явственно повторить его. Потому что оно все-таки остается отражением и должно подчиняться законам природы, во всяком случае некоторым... Вот что, надо попробовать увлечь его разговором, а потом выкинуть что-нибудь неожиданное, резкое и посмотреть, что будет.

А говорить можно о чем угодно, главное — не задумываться».

Откашлявшись, он сказал:

— А это и хорошо, что вы такой немногословный. Это ведь тоже искусство — слушать. Заставить другого раскрыться, заговорить... А еще вот говорят, что молчуны — самые надежные друзья на свете. Знаете, о чем я сейчас думаю?

Петр Петрович подождал вопроса, но не дождался и продолжил:

— А о том, почему я летнюю ночь так люблю. Ну, понятно — темно, тихо. Красиво. Но главное все же не в этом. Иногда мне кажется, что есть часть души, которая все время спит и только летней ночью на несколько секунд просыпается, чтобы выглянуть наружу и что-то такое вспомнить, как оно было — давно и не здесь... Синева... Звезды... Тайна...

4

Вскоре идти стало заметно труднее.

Причина была в том, что после очередного поворота за угол они оказались на темной стороне, где луну закрывала крыша дома напротив. Сразу после этого Петром Петровичем овладели тоска и неуверенность. Он продолжал говорить, хоть произносить слова ему стало мучительно и противно. Видимо, что-то похожее происходило и с собеседником, потому что он перестал поддерживать разговор даже короткими ответами — иногда только что-то неразборчиво бормотал.

Их шаги стали мельче и осторожнее. Время от времени шедший впереди собеседник даже останавливался, чтобы наметить, куда двигаться дальше, — решение всегда принимал он, и Петру Петровичу не оставалось ничего, кроме как идти следом.

Впереди на стене появился прямоугольник густого лунного света, падающий из просвета между домами напротив. В очередной раз подняв взгляд от потускневшей серебряной дорожки под ногами, Петр Петрович увидел в

этом прямоугольнике толстую кишку электрического кабеля, свисающую вдоль стены. Мгновенно в его голове созрел план, который показался ему чрезвычайно естественным и даже не лишенным остроумия.

«Ага, — подумал он, — можно сделать так. Можно схватиться за эту штуку и как следует оттолкнуться ногами от стены. И если он действительно отражение или тень, то ему придется проявиться. То есть ему придется сделать то же самое, только без этой штуки и в другую сторону... А еще лучше — точно! как я это сразу не догадался! — еще лучше взять и врезаться в него с размаху. И если он отражение или еще какая-нибудь сволочь, то...»

Петр Петрович не сформулировал, что тогда произойдет, но стало совершенно ясно, что таким способом можно будет или подтвердить, или развеять мучающее его подозрение. «Главное — только неожиданно, — думал он, — врасплох застать!»

— Впрочем, — сказал он, плавно меняя тему ушедшего куда-то далеко разговора, — водные лыжи водными лыжами, но самое удивительное, что даже в городе можно стать ближе к первозданному миру, надо только чуть-чуть отойти от суеты. Мы, конечно, вряд ли это сумеем — слишком уж мы окостенели. Но дети, уверяю вас, делают это каждый день.

Петр Петрович сделал паузу, чтобы дать собеседнику возможность что-нибудь сказать, но тот опять промолчал, и Петр Петрович продолжил:

— Я говорю об их играх. Конечно, часто они безобразны и жестоки; иногда может даже создаться ощущение, что они возникли из-за той грязной нищеты, в которой нынешним детям приходится расти. Но мне почему-то кажется, что дело тут совершенно не в нищете. Не в том, что они не могут купить себе всяких там мотоциклов или скейтов. Вот, например, есть у них в ходу такая штука — тарзанка. Доводилось слышать?

— Доводилось, — буркнул собеседник.

— Это канат, который привязывают к дереву, к какой-нибудь толстой ветке, чем выше, тем лучше, — продолжал Петр Петрович, взглядывая в прямоугольник лунного света и прикидывая, что идти до него осталось

не больше минуты. — Особенно если дерево стоит где-нибудь у обрыва. Главное, чтобы обрыв был крутой. Еще лучше у воды, тогда нырять можно. А тарзанкой он называется из-за Тарзана, это фильм такой был, где этот Тарзан все время на лианах качался. Пользоваться этой штукой очень просто — берешься за канат, толкаешься ногами и описываешь длинную-длинную кривую, а если хочешь, разжимаешь руки и летишь со всего размаха в воду. Я, честно вам сказать, на тарзанке такой никогда не катался, но очень хорошо представляю себе эту секунду, когда, после ошеломляющего удара о поверхность, медленно погружаешься в мерцающую тишину, в прохладный покой... Ах, если бы только знать, куда эти мальчишки улетают на своих лианах...

Собеседник вступил в залитое лунной пространство. Вслед за ним границу лунного света переступил и Петр Петрович.

— А знаете, почему представляю? — продолжал он, озабоченно измеряя взглядом расстояние до кабеля. — Очень просто. Помнится, как-то в детстве я с вышки в бассейн прыгнул. Ушибся, конечно, животом о воду, но что-то такое важное в этот момент понял — такое, что потом, когда вынырнул, все твердил: «Не забыть, не забыть». А как на берег вылез, так только это «не забыть» и помнил...

В эту секунду Петр Петрович поравнялся с кабелем. Остановившись, он подергал за него рукой и убедился, что тот держится прочно.

— Да и сейчас иногда, — сказал он, изготавливаясь к прыжку, причем его голос стал задумчивым и тихим, — хочется взять и оторвать ноги от земли. Глупо, конечно, инфантильно, а все кажется, что опять что-то такое поймешь или вспомнишь... Эх, была не была, с вашего позволения...

С этими словами Петр Петрович сделал несколько быстрых шагов, сильно оттолкнулся ногами и взмыл в теплый ночной воздух.

Его полет (если это можно было назвать полетом) продолжался совсем недолго. Метра на два отдалившись от стены и совершив поворот вокруг своей оси,

он по дуге понесся вперед и врезался в стену прямо перед своим спутником. Тот испуганно отшатнулся, а Петр Петрович потерял равновесие и вынужден был схватить его за плечо, после чего, конечно, стало ясно, что перед ним никакого не отражение и не тень. Все это получилось очень неловко, с пыхтением. От неожиданности собеседник повел себя довольно нервно — стряхнув со своего плеча руку Петра Петровича, он отпрыгнул назад, сдернул с головы капюшон и резко выкрикнул:

— Чего это вы тут устраиваете?

— Извините, ради Бога, — сказал Петр Петрович, чувствуя, что становится пунцовым, и радуясь, что вокруг так темно, — честное слово, не хотел. Я...

— Вы мне что говорили? — перебил собеседник. — Что все будет тихо, что вы не буйный, что вам просто поговорить не с кем. Говорили?

— Да, — пролепетал Петр Петрович и схватился за голову, — говорил. Действительно, как я забыл-то... А мне такие глупые мысли в голову полезли — что вы вроде как и не вы, а просто мое отражение в стеклах или тень. Смешно, да?

— По-моему, не смешно, — сказал собеседник. — Теперь-то вы хоть вспомнили, кто я?

— Да, — сказал Петр Петрович и сделал какое-то странное движение головой — не то поклонился, не то вытянул ее в плечи.

— Слава Богу. И что же вы, решили на меня прыгнуть, чтобы проверить, отражение я или нет? А про тарзанку болтали, чтобы голову мне заморочить?

— Что вы, нет! — воскликнул Петр Петрович, оторвав одну руку от электрического шланга и приложив ее к груди. — То есть сначала я, может, действительно хотел вас отвлечь, но только сначала. А как заговорил, так сразу стал о том, что меня всю жизнь мучило. Как на духу...

— Странные какие-то вещи вы говорите, — сказал собеседник. — Я начинаю даже опасаться за ваш рассудок. Подумайте — идти два часа рядом, разговаривать и при этом всерьез думать, что напротив вас ваше отражение.

Ну разве может такое происходить с нормальным человеком?

Петр Петрович задумался.

— Н-нет, — сказал он, — не может. Действительно, со стороны это дико выглядит. Говорящее отражение, которое к тебе спиной идет... Тарзанка какая-то... Но, знаете, изнутри все это было так логично, что, если бы я вам пересказал ход своих размышлений, вы бы не удивлялись.

Он поднял глаза. Луна над крышей напротив ушла за длинную тучу с рваными краями. Отчего-то это показалось ему недобрым знаком.

— Да, — заговорил он опять, — если проанализировать подсознательную мотивацию моих действий, то я, видимо, просто хотел на секунду восторжество...

— Насчет отражения, — перебил собеседник, повысив голос, — это я бы еще мог принять, ладно. Но куда более странным мне кажется то, что вы наплели про тарзанку. Насчет того, чтобы ноги оторвать от земли и что-то такое понять. А чего вы, собственно, понять-то хотите?

Петр Петрович поднял взгляд, глянул в глаза собеседнику и сразу же перевел взгляд на его бритую голову.

— Ну как что, — сказал он. — Даже неудобно банальности говорить. Истину.

— Какую истину? — спросил тот, опять накидывая капюшон. — Про себя, про других, про мир? Истин полно.

Петр Петрович задумался.

— Видимо, про себя, — сказал он. — Или лучше так: про жизнь. Про себя и про жизнь. Конечно.

— Так вам что, сказать? — спросил собеседник.

— Ну скажите, если знаете, — с внезапной враждебностью ответил Петр Петрович.

— А вы не боитесь, что эта истина окажется для вас котом в мешке? — спросил собеседник таким же враждебным тоном и кивнул головой куда-то назад.

«Намекает, — подумал Петр Петрович, — издевается. На психику давит. Только не на такого напал. Да и что это за садизм такой? Ну дернул его за плечо, так ведь извинился потом».

— Нет, — сказал он, распрямляя плечи и вперивая взгляд прямо в глаза собеседнику, — не боюсь. Валяйте.

— Ну хорошо. Вам что-нибудь говорит слово «лунатик»?

— Лунатик? Это что, который ночью не спит, а по карнизам разгуливает? Ну знаю... О Господи!

5

Неожиданное пробуждение было больше всего похоже на тот самый прыжок в холодную воду, о котором Петр Петрович пытался рассказать своему безжалостному спутнику — и не только потому, что стало заметно, как вокруг холодно. Петр Петрович посмотрел себе под ноги и увидел, что тонкая дорожка серебристого цвета, по которой он так долго шагал, была на самом деле довольно тонким жестяным карнизом, изрядно выгнувшимся под тяжестью его тела.

Под карнизом была пустота, а за этой пустотой, метрах в тридцати внизу, горели удвоенные лужами фонари, подрагивали от ветра черные кроны деревьев, серел асфальт, и все это, как с ужасом осознал Петр Петрович, было абсолютно и окончательно реальным — то есть не оставалось никакой возможности как-нибудь проигнорировать или обойти тот факт, что он, в нижнем белье и босиком, стоит на огромной высоте над ночным городом, чудом удерживаясь от падения вниз. А удерживался он действительно чудом — его ладоням было совершенно не за что ухватиться, если не считать крошечных неровностей бетонной стены, и стоило ему чуть-чуть отклониться от ее сырой и холодной поверхности, как неумолимая сила тяжести увлекла бы его вниз. Недалеко от него, правда, висел электрический кабель — но, чтобы дотянуться до него, надо было сделать несколько шагов по карнизу, а об этом нечего было и думать. Скосив глаза, он увидел внизу далекую автостоянку, сигаретные пачки машин и крошечный пяточок пустого асфальта, словно специально оставленный кем-то для него.

Главным же свидетельством того, что открывшийся

ему кошмар окончателен, был запах догорающей где-то неподалеку помойки — запах, который сразу снимал все вопросы и как бы содержал в себе самодостаточное доказательство окончательной реальности того мира, где такие запахи возможны.

Шквал страха затопил душу Петра Петровича, за долю секунды вымыв оттуда все остальное. Пустота за спиной засасывала, и он распластался по стене, совсем как предвыборная листовка малоизвестной партии, не имеющей абсолютно никаких шансов на победу.

— Ну как? — спросил собеседник.

Петр Петрович осторожно — чтобы второй раз не увидеть пропасть под ногами — глянул на него.

— Прекратите, — тихо, но очень настойчиво попросил он, — пожалуйста, прекратите! Я ведь упаду!

Собеседник хмыкнул.

— Как же я могу это прекратить? Это ведь не со мной происходит, а с вами.

Петр Петрович понял, что собеседник прав, но в следующую секунду он понял еще одну вещь, и это мгновенно наполнило его негодованием.

— Да ведь это подло, — волнуясь, закричал он, — это ведь каждому человеку можно такую гадость объяснить, что он лунатик и над пустотой стоит, просто ее не видит! На карнизе... Ведь только что... А тут вот...

— Верно, — кивнул собеседник. — Даже и сами не представляете, до чего вы это верно подметили.

— Так зачем вы со мной такое сделали?

— Слушайте, вас не поймешь. То у вас одно на уме, то другое. Сами ведь только что размышляли, куда можно залететь на тарзанке. Даже растрогали меня, честное слово. Опять же, истину хотели услышать. Это, кстати, еще и не самая последняя.

— Так что же мне теперь делать?

— Вам? А ничего не надо, — сказал собеседник, и вдруг стало заметно, что он особенно ни за что не держится и даже стоит как-то немного под углом. — Все обрывается.

— Вы что, издеваетесь? — прошипел Петр Петрович.

— Да нет.

— Вы подлец, — бессильно сказал Петр Петрович. — Убийца. Вы меня убили. Я упаду сейчас.

— Ну вот, началось, — сказал собеседник, — оскорбления, ненависть. Еще, того гляди, опять на меня прыгнете или плевать начнете, как некоторые делают. Пои-ду я.

Он повернулся и неспешно побрел вперед.

— Эй! — крикнул Петр Петрович. — Эй! Подождите! Пожалуйста!

Но собеседник не остановился — только слабенько помахал на прощание бледной ладонью, торчащей из рукава не то рясы, не то темного длинного плаща. Через несколько шагов он завернул за угол и исчез из виду. Петр Петрович опять закрыл глаза и прислонился влажным лбом к стене.

6

«Ну вот, — подумал он, — все. Теперь-то уж точно все. Теперь конец. Всю жизнь думал — как это будет? А оказывается, вот так. Покачнусь сейчас, замахаю руками, и... Спокойно, Петя, спокойно... Интересно, кричать буду?.. Петя, Петя, спокойно... Не думай об этом. О чем угодно другом, только не об этом. Пожалуйста. Главное — покой сохранять, любой ценой. Паника — смерть. Вспомни что-нибудь приятное... А что тут вспомнишь? Вот сегодня, например, что было приятного? Ну разве разговор этот возле статуи, когда я этому бритому про любовь объяснял... Господи, опять про него вспомнил. Какой же я идиот. Мало было просто идти себе, глядеть по сторонам и жизни радоваться. Нет, заинтересовался, кто это — тень или отражение. Вот и получил. А потому, что читать надо меньше всякой чуши. Так, а кто он, собственно, такой? Вот черт, ведь только что помнил. Или нет, или не помнил, а он сам сказал... Откуда же он взялся?»

Петр Петрович на секунду приоткрыл глаза и увидел, что стена рядом с его лицом осветилась и пожелтела —

луна снова вышла из-за туч. Почему-то от этого на душе стало чуть легче.

«Так, — стал он думать дальше, — где я его встретил-то? До статуй, это точно. Когда статуи появились, он уже рядом был. И за первой кошкой мы тоже еще до статуй бежали. Да, точно — он еще сначала не соглашался никак. А потом меня пробрало — про природу ему стал говорить, про красоту... Ведь чувствовал, что не надо говорить, что при себе надо все держать, если не хочешь, чтобы в душу тебе плюнули... Как это в Евангелии — не мечите бисера вашего перед свиньями, ибо потопчут, что ли? Вот ведь жизнь какая. Даже если тебе пустяк какой понравился, вроде того, как луна статуи освещает, и то молчать надо. Все время молчать надо, потому что откроешь рот — пожалеешь... И ведь интересно, давно уже это понял, а до сих пор от своей доверчивости страдаю. Каждый раз жду, пока в душу плюнут... А этот тип — хам, хам, хам! Редкий. Еще и говорит — обойдется, мол. Покровительственно так... Да ну его к черту, в самом деле, уже битый час о нем думаю, а тут луна зайдет. Чести много».

Петр Петрович отвернулся от стены, поднял глаза вверх и слабо улыбнулся. Луна светила из круглой пушистой дыры в облаке и казалась из-за этого своим собственным отражением в несуществующей проруби. Город внизу был тих и покоен, а воздух полон еле уловимых запахов цветения Бог весть каких трав.

Где-то в далеком окне пиратским басом запел Стинг — пожалуй, слишком громко для ночного времени. Это была «Moon over Bourbon street» — песня, которую Петр Петрович помнил и любил со времен своей молодости. Забыв обо всем, он стал слушать, а в одном месте даже быстро заморгал, вспомнив что-то давно позабытое.

Постепенно обида и боль отпустили. Размолвка со случайным спутником с каждой секундой казалась все несущественней, пока наконец не сделалось даже непонятно, из-за чего это он так расстроился несколько минут назад. Когда голос Стинга стал слабеть, Петр Петрович оторвал руку от стены и напоследок несколько раз щелкнул пальцами в такт отчаянным английским словам:

And you'll never see my face
or hear the sound of my feet
while there's a moon over Bourbon street.

Наконец песня кончилась. Вздохнув, Петр Петрович помотал головой, чтобы собраться с мыслями. Пора было идти домой.

Он повернул назад, шагнул за угол и легко соскочил на пару метров вниз, туда, где идти было удобнее. Ночь была все так же загадочна и нежна, и прощаться с ней очень не хотелось, но завтра утром ждало много дел, и надо было хоть немного поспать. Он последний раз посмотрел по сторонам, потом кротко глянул вверх, улыбнулся и медленно побрел по мерцающей серебристой полосе, целуясь с ночным ветром и думая, что, в сущности, он совершенно счастливый человек.

Виктор Олегович

ПЕЛЕВИН

ЖЕЛТАЯ СТРЕЛА

Редактор

Е.Д.Шубина

Художественный редактор

Т.Н.Костерина

Технолог

М.С.Белоусова

Оператор компьютерной верстки

И.В.Соколова

Зав. корректорской

А.Ю.Минаева

Зам. зав. корректорской

Н.Ш.Таласбаева

Корректоры

В.А.Жечков, С.Ф.Лисовский

Издательская лицензия № 101053

от 4 апреля 1997 года.

Подписано в печать 21.11.97.

Формат 60 × 90/16.

Гарнитура Таймс.

Печать офсетная.

Объем 27 печ. л.

Тираж 15 000 экз.

Изд. № 569. Заказ 639.

Издательство «ВАГРИУС».

103064, Москва, ул. Казакова, 18.

Интернет/Home page — <http://www.vagrius.com>

Электронная почта (E-Mail) — vagrius@mail.sitek.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов

*в Государственном ордена Октябрьской Революции,
ордена Трудового Красного Знамени Московском предприятии*

«Первая Образцовая типография»

Государственного комитета Российской Федерации по печати

113054, Москва, Валуевская, 28.